

**ЗАРУБЕЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА
И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Т. В. БАЛАШОВА, Н. И. БАЛАШОВ, Ю. Н. ВЕРЧЕНКО,
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Д. В. ЗАТОНСКИЙ, А. А. КЛЫШКО,
Н. И. НИКУЛИН, В. Н. СЕДЫХ, П. М. ТОПЕР

Марк ТВЕН

«Дары Цивилизации»

Художественная публицистика

Перевод с английского



Москва «Прогресс» 1985

ББК 84.7США
Т26

Составитель, автор предисловия и комментариев

д. ф. н. *А. М. Зверев.*

Художник *В. И. Левинсон*

Редактор *А. Н. Панкова*

В работе над сборником приняли участие

к. ф. н. *П. В. Балдицын*, к. ист. н. *Л. Н. Еремин*

Твен М.

Т26 «Дары Цивилизации». Худож. публицистика. Пер.
с англ. / Предисл. А. М. Зверева. — М.: Прогресс,
1985. — 288 с, 0,25 л. ил. — (Зарубеж. худож. публи-
цистика и докум. проза).

В однотомник М. Твена (1835–1910) вошли эссе и памфлеты выдающегося американского писателя, одного из родоначальников реализма в литературе США. Написанные в живой, увлекательной манере, произведения эти имеют ярко сатирическое звучание: взгляды Твена на современное ему американское общество остаются удивительно злободневными и сегодня.

Т 4703000000-394 87-85
006(01)-85

ББК 84.7США
И(Амер)

© Состав, предисловие, комментарии, перевод на русский язык произведений, отмеченных в содержании*, художественное оформление издательство «Прогресс», 1985 г.

АТАКУЮЩИЙ СМЕХ

Творческая жизнь Марка Твена (1835–1910) началась в газете.

Каким-то чудом уцелел тот номер выходившего в родном Твену городке Ганнибале листка с пышным названием «Юнион», где Сэмюэл Клеменс напечатал самое первое свое произведение. Это очерк в несколько страничек из школьной тетради. Описывается пожар, приключившийся в подвале редакции, где издатель – родной брат Твена Орион Клеменс – хранил бумагу, а также дрова, оконока, бочонки с патокой и прочие приношения подписчиков: никому из них и в голову бы не пришло расплачиваться за газету деньгами, которые приберегали для аукциона рабов и для других важных дел, во всех иных случаях обходясь способами меновой торговли, как в незапамятные патриархальные времена.

Ганнибал середины прошлого века – мы прекрасно знаем этот город, он описан в знаменитых книгах о Томе и Гекке, – и впрямь вел жизнь, на вид почти идиллическую. События в ней были крайне редки. Можно представить себе, сколько пересудов вызвал тот пожар, вспыхнувший среди бела дня.

В очерке о нем рассказано живо и не без юмора. Автору не исполнилось еще и шестнадцати лет, он не особенно ладит с грамматикой и синтаксисом. Все его образование – несколько классов школы, как две капли воды похожей на ту, где Том Сойер рыцарственно подставлял под розги спину, чтобы защитить от наказания Бекки, а потом с помощью кошки, опущенной из чердачного люка, навеки опозорил своего обидчика-педагога. В ганнибальской школе на одной скамье сидели заспанный карапуз и двадцатилетний верзила, мучительно осваивающий азбуку. Здесь учили всем предметам одновременно, и для

какого-нибудь мистера Доббинса, на которого была возложена просветительская миссия, литературные тонкости оставались тайной за семью печатями.

Ребенком Сэм Клеменс мечтал о пароходах, бороздивших воды широкой Миссисипи и ее притоков, об «индейской территории» – необъятных пустынных землях, начинавшихся сразу за Ганнибалом, где делали последнюю остановку перед долгой и трудной дорогой караваны переселенцев, двигавшихся на Запад. В газете он оказался только волею обстоятельств: умер, оставив одни долги, отец, и пришлось браться за первую подвернувшуюся работу. В ту пору он, конечно, еще не знал, что эта работа сделается его судьбой. У Ориона был некоторый издательский опыт, младший брат занялся типографией и рассылкой, а свой очерк написал лишь по той причине, что нечем было заполнить полосу очередного выпуска.

Мы бы теперь назвали этот очерк документальной прозой. Здесь есть точное воссоздание факта, но, кроме протокольной достоверности, есть и определенное восприятие событий. Оно идет не столько от автора, сколько от главного действующего лица – местного щеголя Джима Вейлса, бравярующего своим аффектированным безразличием к опасности, когда под испуганные крики толпы он спускается по задымившимся ступеням в самое пекло, а затем, погасив огонь, держится так, словно ничего серьезного не произошло. За каждым словечком, за всей этой позой провинциального денди угадывается облик того «джентльмена-авантюриста», который оставался непременной принадлежностью американского общества, и особенно в глухомани, где времена пионеров еще напоминали о себе на каждом шагу.

Газета Ориона вскоре закрылась, пути братьев разошлись на много лет, чтобы снова пересечься уже к концу Гражданской войны в Неваде. Твен уехал в Новый Орлеан и связал свою судьбу с рекой: стал «лоцманским щенком», как именовали на пароходах взятых в обучение подростков. Потом он сам провел свой первый пароход. Он был убежден, что нашел свое призвание. Война заставила его поменять профессию, хотя Твен жалел об этом до конца жизни – наверное, напрасно. Ведь мы никогда не прочли бы о приключениях двух удивительных мальчиков из захолустного американского Санкт-Петербурга, о лондонском оборвыше Томе Кенти и принце Эдуарде VI, о коннектикутском янки, очутившемся при дворе короля Артура, если бы новой профессией лоцмана Клеменса не стало ремесло газетчика, подписывавшего свои фельетоны, репортажи и заметки псевдонимом Марк Твен.

* * *

Помните замечательный твеновский рассказ «Журналистика в Теннесси»? Там говорит о доверчивом простаке, которому

взбрело на ум отдохнуть и полечиться в благословенных южных краях, заодно обучаясь навыкам профессионального репортера. Но уж слишком горячие нравы предстали ему, когда он переступил порог помещения, где расположился «Боевой Клич округа Джонсон». Тут и объяснение шефа газеты с подписчиком, заканчивающееся смертельной раной и справкой об адресе гробовщика, и выданные в драке вихры, и развалившаяся от взрыва гранаты печка, и пули, упорно попадающие в невинного практиканта, хотя они предназначались для жуликоватого газетчика. И походя оброненное редактором замечание, которое на весах юмора, пожалуй, перевесит все эти леденящие кровь подробности: «Вам Здесь понравится, когда вы немножко привыкнете».

Словом, бездна смеха и сплошная фантазия.

Но так только кажется. Несомненно, рассказ Гвена можно изучать как образец гротеска: краски основательно сгущены. Но если это и вымысел, то очень схожий с реальностью.

В Неваде был случай, когда один крупный бакалейщик, пришедший в ярость от статьи, описывавшей его плутни, обманом залучил к себе автора и, выпоров его плеткой, пригрозил расстрелять на месте, если тот немедленно не объявит самого себя клеветником. Об этой истории все знали, и никто особенно не удивлялся. Так и принято было поступать с корреспондентами посмелее и позадиристее.

На Миссисипи, в городе Виксберг, существовала газета «Утренняя звезда». Ее издателя несколько раз избивали на улице и наконец прикончили выстрелом в упор. Четырех последующих редакторов убили на дуэлях. Пятый утопился, не дожидаясь, пока его линчуют тамошние патриоты, обидевшиеся на какую-то нелестную для Виксберга статью. Шестой сразил вызвавшего его дуэлянта наповал и уехал в Техас, но его разыскали и там, не успокоившись, пока он не отправился на тот свет.

В такой-то вот «творческой» атмосфере происходило становление журналиста Марка Гвена, когда, не желая принимать участия в Гражданской войне, он отправился вместе с братом в Вирджиния-Сити, столицу Невады, оставшейся в стороне от столкновения Севера и Юга. Редактор тамошней «Территориэл энтерпрайз» Джозеф Гудмэн объяснил своему новому сотруднику: в газете не должно быть никаких «насколько нам известно», «предполагается», «ходят слухи» и т. п. Должны быть только факты – или выдумки, – но скроенные так ловко, что читающим ни за что не догадаться, морочат их или говорят правду. Вся соль в том, как написана статья, – чем напористей, тем лучше. Уверенный тон и эффекты куда важнее, чем забота об истине.

Хорошо подпустить два-три красивых описания с неизбежными «розовыми закатами», «мерцающим лунным светом», «огненным дыханием раскаленной прерии» и прочими дежурными фразами в том же духе. Неплохо и разнообразить

материал несколькими мудреными словами вроде «трансплантации» или «гегемонии» — смысла их все равно никто не уловит, но они внушат почтение к образованности пишущего. А самое главное — не смущаться ни преувеличениями, ни заведомым враньем, ведь публика любит все занимательное и легко простит явные логические нелепости, лишь бы статью было интересно читать.

Нехитрыми тайнами такого искусства Твен овладел в мгновение ока. Он стал работать в «Энтерпрайз» с 1862 г., а год спустя впервые появился на ее полосе и его прославленный псевдоним. Поначалу он подписывался иначе: Джош. За этой подписью печатались заметки о жизни старателей, со всех концов Америки нахлынувших в Неваду, когда там началась «серебряная лихорадка».

Комплекты газеты сторели вскоре после отъезда Твена в Сан-Франциско в 1864 году, сохранились только разрозненные номера. Потребовалось немало усилий, чтобы отыскать в них твеновские корреспонденции. Это довольно типичная провинциальная журналистика того времени. Твен описывает заседания невадских законодателей и стычки аферистов из-за богатых рудой участков, спектакли заезжих актеров и воскресные проповеди, судебные процессы и драки в пивных и бильярдных. Когда необходимо — рекламирует безоблачное будущее Вирджиния-Сити и перспективы трестов, поддерживающих «Энтерпрайз» своими подачками. Когда представляется возможность — зло высмеивает местных олигархов и проходимцев, захвативших все ключевые посты.

Редактор Гудмэн, впрочем, умеет его придержать, если чувствует, что материал получился не в меру язвительным. Гудмэн в Неваде давно, он сам был старателем, потом наборщиком, а газету начал издавать, когда Вирджиния-Сити еще не успел обзавестись тюрьмой и арестантов на ночь отводили в кирпичное здание типографии, приковывая цепями к печатным станкам. Кое-кто из старых его знакомых, которых Гудмэн утром собственноручно сдавал шерифу, теперь ворочает миллионами. Не надо напоминать им о прошлом. Не надо слишком едких комментариев, слишком красноречивых свидетельств о том, какой властью располагают нувориши, отгрохавшие помпезные особняки по главной улице стремительно растущего города.

Твен подчиняется этому неписаному правилу. И не сказать, что он делает это скрепя сердце. У него острый взгляд и меткое перо, но пока он полон веры в прекрасный завтрашний день Невады, да и всей Америки. Его увлекает непритязательный, но красочный быт старательской столицы, ему нравится следить за этой лихорадочной гонкой, в которой кто-то выигрывает, а другие безнадежно увязают в долгах булочнику и мяснику. Дни напролет он бродит по петляющим улицам, на которых красуются вывески бесчисленных кабаков и увеселительных заведе-

ний. А вернувшись в редакцию, пишет очередной очерк о чьей-то сказочной удаче, о ловкой проделке строительных подрядчиков, опять оставивших в дураках ревнителей порядка и закона, о самоубийстве зарвавшегося карточного шулера, которого вывели на чистую воду, о пьяном разгуле головорезов из тех, кто, по невадскому выражению, «держал частное кладбище», регулярно пополняющееся трупами поверженных соперников...

Жизнь и в жестоких, и в смешных своих обликах запечатлена на страницах начинающего Твена без ретуши, но и без сколько-нибудь продуманного отношения к ее контрастам. Лишь постепенно начинает обозначаться та черта, которая выделит Твена среди собратьев по ремеслу уже и в ранние, невадские годы, – юмор. Не просто нанизывание острот, как правило, грубоватых и плоских, не просто страсть к вышучиванию недалеких читателей, ко всевозможным розыгрышам и мистификациям, а юмор как определенное мироощущение. То, без чего нет Твена, идет ли речь о солнечном, безмятежном «Томе Сойере» или о философской притче «Таинственный незнакомец», так и не напечатанной при жизни писателя.

Разумеется, нужны будут время и опыт, чтобы эта важнейшая особенность твеневского дарования выступила с той художественной убедительностью, которая уже более столетия покоряет читателей «Знаменитой скачущей лягушки из Калавераса», «Венеры Капитолийской» или рассказов о семействе Мак-Вильямсов.

Статьи для «Энтерпрайз» написаны литератором, обычно довольствующимся традиционными средствами скетча – излюбленного жанра американской периодики прошлого века. Иронии в них почти не чувствуется, зато фарс представлен во всех своих разновидностях. Нередко он близко соседствует с жестокостью. Твену ничего не стоит поведать душераздирающую повесть о неудачнике, вложившем деньги в калифорнийские акции, разоренном и в припадке отчаяния прирезавшем девятерых своих детей, жену и самого себя, а через день объявить, что ничего этого не было: он просто хотел сказать о преимуществах акций Невады. Коллега и приятель Твена де Квилл, весьма изобретательный по части подобных выдумок, был потрясен, прочтя в «Энтерпрайз» грустную историю о том, как его сбросила норовистая лошадь, так что ногу вогнало в тело чуть не до самого горла. Ведь буквально накануне он распрощался с редакцией, в покойном дилижансе отправившись погостить к родне.

Наивного дилетанта из «Журналистики в Теннесси» наставляли: писать надо «с перцем и без лишних слов». Прогулявшись по его рукописи, редактор густо уснастил ее «комплиментами» своим противникам, именуя их то безмозглыми прохвостами, то заплесневелыми мозгами. Если кто-то задевал Твена, он тоже умел ответить «с перцем». И нравы тогдашней американской

печати, ее методы, меру ее беспристрастности — все это он ценил по истинной стоимости, не строя для себя никаких иллюзий.

Но, отменно владея всем арсеналом, каким располагала журналистика его времени, Твен быстро перерос уровень, который не могли превзойти даже самые мастеровитые из его собратьев.

Удивляться тут, кажется, нечему, ибо все решает талант. С таким объяснением странно было бы спорить, и все же оно недостаточно. Ведь многое из того, что Твен освоил, работая для «Энтерпрайз», надолго останется характерной приметой его эссенстики, войдя и в художественную прозу. Конечно, несравненно более отточенными сделаются его приемы и несопоставимо более сложным содержание, выраженное с их помощью. Но разве не мистификацией вроде тех, которые так любили невадские газетчики, был, к примеру, один из лучших рассказов Твена «Человек, который совратил Гедлиберг»? Разве так уж сложно опознать в статьях и памфлетах зрелого Твена — «Великом говяжьем контракте», «Налогах и морали», «Возмутительном преследовании мальчика» — типичные, родовые черты злободневного фельетона, написанного так, как привыкли писать в той же «Энтерпрайз»? А там писали хлестко, умело используя маску простака, который знает куда больше, чем показывает. И не испытывали никакого благоговения перед логической стройностью, никакого страха перед резким гротескным нажимом.

А мастерство пародии, построенной на бесконечном обыгрывании какого-то одного штриха, пока не обесмысливается все пародируемое явление? А пристрастие к самым невозможным преувеличениям? Или осознанная несурезица, вторгающаяся в рассказ, когда требуется перебив, оживляющий читательское внимание, или откровенная клоунада непременно в тех случаях, когда как будто напрашивается предельная серьезность, — откуда, как не из опыта корреспондента невадских, а затем калифорнийских газет, пришло все это в искусство Марка Твена?

Его первые книги — и очерковые, и художественные — американцам казались смешными, но не глубокими. В Европе они были восприняты иначе. Для европейцев это была литература необычная и в высшей степени своеобразная по своей творческой сущности. Она давала повод обвинять автора в самонадеянном пренебрежении традициями культуры и ее ценностями, но достоверность и жизненность картины, создаваемой Твеном, сомнения не вызывала.

Такое восприятие было естественным и верным: со стороны отчетливее выделась специфика, казавшаяся нормой читателям недолговечных листков, издававшихся в любом мало-мальски себя уважающем заокеанском городишке. Проза, действительно самобытная реалистическая проза зарождалась в этих вот

листочках, никем не ценившихся всерьез. Много сделавший для молодого Твена Брет Гарт служил в типографии и свои первые произведения «написал» литерами из кассы шрифтов, потому что ему было скучно набирать засылаемые в номер статьи. Артимес Уорд, в те дни очень популярный, а ныне совсем забытый юморист, раньше других заметивший одаренность Твена, годами печатался на периферии, а книжку смог издать только после того, как прославился публичными чтениями, обнаружившими в нем превосходного комического актера.

Но даже таким значительным писателям, как Брет Гарт, не суждено было проложить в литературе новую дорогу. Они сумели передать своеобразную и прихотливую гамму красок американской жизни на заново осваиваемых территориях Дальнего Запада, подметили множество характерных для нее человеческих типов и завязывающихся социальных коллизий. Лучшим из них удалось создать и оригинальный повествовательный стиль, поминутно выдающий свое родство с мотивами и образами богатейшего фольклора переселенцев, начинавших обживать в пустынных западных краях. Оставался, кажется, всего шаг для того, чтобы превратить юмористику в настоящее искусство, газетный очерк – в подлинно широкую картину действительности.

Но этого шага никто из них не сумел сделать. Они словно боялись ощутить себя писателями, заранее уступив эту привилегию бостонским интеллектуалам – Эмерсону, Лонгфелло. Уорд и другой признанный юморист Петролеум Нэсби предпочли эстраду, поневоле прилаживаясь к невзыскательным вкусам обитателей какого-нибудь Вирджиния-Сити. А Брет Гарт, почувствовавший на своих плечах бремя славы, решил, что должен ей соответствовать, став «истинным художником», и в его произведениях немедленно появилась литературщина, вытеснившая неподдельную литературу.

Твен оказался единственным из всего этого поколения, кто нашел верный путь.

Напечатав в 1865 г. свою поистине знаменитую «Скачущую лягушку», он не изменил собственному дарованию и после того, как вся Америка заговорила о новом замечательном писателе Марке Твене. Он по-прежнему не выносил то, что в дни его молодости почиталось подлинной литературой – мелодраматизм, громохочущую риторику, тепличные страсти поставленных на котурны героев, – и по-прежнему черпал из неиссякаемой сокровищницы фольклорных небылиц и газетной юмористики, обычно представляющей собой их первую обработку. Но Твену уже мало было комедийного эффекта ради него самого. Он рано понял, что «нет такой крепости, которая не рухнула бы, когда ее атакует смех», и это перевернуло бытовавшее представление о юморе как об искусстве выдумывать абсурдные ситуации, которые заставляют читателя хохотать до слез. За несдержанным, самоочевидным гротеском у Твена

обозначился достоверно обрисованный и сатирически осмысленный мир американской жизни. Скетч, фельетон, юмореска по своей жанровой сущности остались под его пером теми же, какими были до Твена. Но только у него они превратились в явление искусства.

С Твеном в литературу вошли, став ее неотъемлемым достоянием, глубоко национальные художественные формы, выразившие круг понятий рядового американца с его демократическими взглядами, с его неизбежными историческими заблуждениями. Все значение этого события для американской культуры было понято лишь много позднее, уже в XX веке, который, по признанию Хемингуэя, в литературном отношении был обязан Твену больше, чем любому другому предшественнику. И только в наше столетие прояснилось то, что долго называли загадкой Твена, от безграничного оптимизма раннего периода творчества пришедшего к резко обличительной сатире и сумрачным пророчествам, которыми заполнены книги последних лет его жизни. Ведь, если вдуматься, вряд ли существенно иным мог быть итог исканий писателя, настолько тесно, как Твен, связанного с представлениями, надеждами, всем строем мышления народных масс Америки и глубоко разуверившегося в том, что их мечты о добре и справедливости для всех в самом деле исполнимы, если считаться с реальным порядком вещей в американском обществе.

Эссеистика Твена, может быть, даже отчетливее, чем его проза, позволяет увидеть весь этот непростой идейный процесс, увенчанный «Гайнственным знакомцем» и антиимпериалистическими памфлетами последних лет творчества.

* * *

Весной 1866 г. одна калифорнийская газета предложила Твену съездить на Гавайские острова – в то время они назывались Сандвичевыми – с условием, что каждую неделю он будет присылать зарисовки для юмористической страницы воскресного выпуска. Он с радостью согласился. В Сан-Франциско после переезда из Невады дела у него шли неважно. «Колл», куда он устроился, требовала от него только репортерских и судебных заметок, отказавшись поместить очерк, в котором Твен с возмущением описывал произвол полиции в отношении китайских иммигрантов, – это был набросок известного его рассказа «Друг Гольдсмита снова на чужбине». Твен поссорился с редактором и хлопнул дверью.

До того как поделиться гавайскими впечатлениями с читателями, он устроил своего рода авторский вечер, пообещав в афише роскошный фейерверк, оркестр и цирковые номера с хищниками (о том, что все это будет в другой раз и в другом месте, сообщалось самым мелким шрифтом). Выйдя на сцену, он начал с того, что предложил публике наглядно продемонстриро-

вать обычаи дикарей, живьем съев младенца, если кто-нибудь из дам пожертвует для этой цели своим чадом. Стены тряслись от хохота, пока он доставал из карманов и перекладывал с места на место какие-то замызганные листки, похожие на счета из прачечной. Махнув рукой, Твен сгреб их в кучу и принялся просто рассказывать обо всем, что увидел. И тут смех стал стихать. А ведь на сцене был все тот же безошибочно узнаваемый комический персонаж, который, кажется, решительно неспособен уразуметь, что буффонада хороша не по всякому случаю.

Твен беззаботно импровизировал одну нелепость за другой, сочинял легенды о свирепых каннибалах, которых даже столетием раньше не обнаружила открывшая архипелаг экспедиция капитана Кука, и демонстрировал завидный дар комедийного воображения, описывая, как туземцы поклоняются богу Акуле, хотя этот ритуал был давно искоренен христианскими миссионерами. А вслед за тем, как бы походя, Твен несколькими убийственными штрихами обрисовал деятельность американских сахарозаводчиков, коммерсантов, учредителей библейских обществ, банковских агентов, маклеров и всевозможных авантюристов, которые, слетевшись в Гонолулу, словно мухи на арбузную корку, совокупными усилиями быстро превращали острова в «рассадник цивилизации и других болезней».

В очерке о Сандвичевых островах, написанном после этих нашумевших в Сан-Франциско публичных выступлений, Твен избегал чрезмерной эксцентричности, однако и основной его повествовательный прием, и главная мысль, которую он стремился донести, остаются прежними. Перед нами все тот же с виду благодушный и доверчивый турист, который зачарован сказочной природой Гаваев и вроде бы понятия не имеет о том, что со времен Кука число аборигенов сократилось в восемь раз: «дары цивилизации» не прошли бесследно. И когда он с совершенно серьезной миной советует соотечественникам поскорее аннексировать Гавайи, где формально правил местный царек (американцы сместят его в 1893 г., спровоцировав волнения, которые отретепируют, как пьесу в театре, и высадив свои войска — испытанный метод, сохраняющийся до наших дней), сатирический эффект такого финала оказывается тем сильнее, что он ничуть не подчеркнут. В устах повествователя это рассуждение вполне органично, ведь простака должен принимать за аксиому, что прогресс есть благо беспримесное и безоговорочное.

Вот он и призывает к прогрессу, а Твен ненавязчиво разьяснит, в чем именно этот прогресс выразится. Туземцы наконец постигнут, как миллионами воровать казенные деньги и слыть уважаемым господином, овладеют искусством перекрашивать преступления в благодеяния и уразумеют, что можно, к примеру, предъявить покалеченному поездом судебный иск, поскольку он своей кровью перепачкал рельсы. На

Гавайях Твен, кажется, впервые с такой ясностью осознал, насколько не в ладу буржуазная цивилизация и то, что близкие ему по духу философы-просветители называли совершенствованием нравов.

Так завязалась – и потянулась через все его творчество – цепочка размышлений о дарах цивилизации: действительных, во всяком случае, признаваемых им подлинными, и мнимых, а иной раз и опасных. Маска простака, виртуозно имитируемая в стольких произведениях писателя, долгое время мешала всерьез отнестись к философским и идейным предпосылкам твеновского миропонимания. Многое здесь остается недостаточно проясненным и поныне, но теперь уже нелепой выглядела бы любая попытка представить Твена беспечным насмешником, которому ненавистно любое умствование. У него была вполне продуманная, хотя, может быть, и не совсем последовательная общественная и духовная позиция. Со временем она, разумеется, менялась, но не до такой степени, чтобы стерлись ее важнейшие особенности.

Понятие цивилизации, ее судеб и перспектив оказывается ключевым для того, чтобы разобраться и в исходных убеждениях Твена, и в его последующих противоречиях. Твен десятилетиями разделял со множеством своих сограждан веру в то, что именно Америка должна когда-нибудь явить пример страны, где естественные побуждения личности, стремящейся к счастью, будут органично сочетаться с нормами социального устройства, свидетельствующего о демократических принципах. На его взгляд – и в этом он был типичным американцем своей эпохи и, – демократия должна была основываться на естественных правах каждого и каждому предоставлять возможность полного осуществления таких прав. В историческом смысле подобный взгляд восходил к идеологии американской революции 1776 г. В философском – к той просветительской концепции человека, которая ясно отозвалась в целом ряде твеновских произведений, от «Тома Сойера» до жизнеописания Жанны д'Арк и «Простофили Вильсона».

Твен был слишком наблюдательным свидетелем и комментатором политической жизни своего времени, и от него, конечно, не укрылось резкое несоответствие дорогих ему идеалов и реальной повседневности Америки. Оно сделалось особенно очевидным после Гражданской войны, когда вопарился «позолоченный век» – так сам Твен охарактеризовал этот неслыханный разгул коррупции, эту повальную эпидемию стяжательства и бахвальства.

Он становился резким, даже беспощадным, когда в его поле зрения оказывались «герои», вознесшиеся на вершины социальной иерархии в годы деляческого ажиотажа, – какой-нибудь Вандербильт, или Фиск, или Гулд. Или продажные конгрессмены, которых Твен именовал не иначе как «единственными, кто преступен от рождения». Или демагоги из газетного мира,

«прекрасно разбирающиеся в политике и нуждающиеся всего в одном-двух тюремных сроках, чтобы сделаться по этой части совершенством».

Непросто было поверить, что «Открытое письмо коммодору Вандербильту» и «Том Сойер» написаны одним и тем же пером и примерно в одно и то же время. Даже юмор Твена в таких его фельетонах, как, например, «Плимутский камень и отцы-пилигримы», делался непривычно колючим, чуть ли не сардоническим. «Юмор? – скажет он одному из друзей. – Ну конечно, у меня юмор. И такой, что как раз подойдет для молитвы по усопшему. Никто даже не заметит, что ее тон не совсем уместен».

В том, что такой юмор постепенно вытеснил у Твена жизнерадостность и озорной комизм, пленявшие читателей его ранних произведений, нет ничего удивительного. Твен был человеком демократических убеждений, свято верившим в идеалы социальной справедливости и мечтавшим о стабильном правопорядке, который pomoжет постепенному совершенствованию общественных институтов. Всю жизнь ощущая свою идейную близость «веку разума» – просветительскому веку, он с непреложностью убеждался в том, что реальная американская действительность превратила в пустые фикции те понятия свободы, равенства и всеобщего счастья, которые для него обладали значением несомненных истин. И, на каждом шагу подмечая свидетельства этого надругательства над высокими идеалами, провозглашенными Декларацией независимости, Твен, которого в Америке все еще считали смешным и чуть ли не безобидным очеркистом нравов своей эпохи, превращался в непримиримого критика ее социальных норм, ее нравственных установлений. В нем, по верному замечанию одного из современников, пробуждался «разъяренный радикал». Великий юморист становился великим сатириком.

Читая эссеистику Твена, можно проследить, как происходил этот перелом, которому мировая литература обязана его памфлетами, созданными на рубеже веков.

Когда памфлеты стали появляться в печати, противники Твена упрекали его мнимым отступничеством от собственных взглядов, «непостоянством». Еще не была опубликована твеновская речь «Постоянство», произнесенная в 1884 г. в политическом клубе города Хартфорда. Эта небольшая речь, напечатанная в форме эссе лишь через тринадцать лет после смерти писателя, очень важна для Твена. Здесь ясно проявилось его отвращение ко всевозможным спекуляциям на принципе верности какой-то одной идее, пусть даже она не только ничтожна, но и служит отталкивающим целям. Здесь уничижительно охарактеризованы демагогические увертки тех, у кого всегда найдется оправдание насилью, чинимому над разумом и гуманностью во имя окаменевших догм буржуазного мышления. И здесь с редкой для Твена прямоотой сказано о подлинной моральной

обязанности, как он ее понимал, — о мужестве противодействия таким догмам, о свободе духа, которая и создает поступательное движение истории.

Все творчество Твена, и особенно в последние два десятилетия его жизни, было примером этого мужества, этой духовной свободы. Она-то и породила тяжелый конфликт писателя с американским обществом, где господствовало как раз то «постоянство», которое им было отвергнуто как несовместимое с действительным нравственным долгом.

Этот конфликт осложнялся противоречиями самого Твена — отчасти субъективными, в гораздо большей степени предопределенными самой эпохой, в которую он жил.

Тогда еще крепко держалась уверенность в том, что Америке уготован особый исторический путь. И Твен долгое время был далеко не свободен от таких представлений. Стоило ему очутиться вдали от берегов родной страны — а это бывало часто, — и в его суждениях о Европе начинали звучать высокочмерные ноты. Какие бы доказательства эфемерности американских самообманов ни предъявляла действительность, все это очень долго было не в состоянии поколебать уверенности Твена, что будущее принадлежит Новому, а не Старому Свету. И он, когда снисходительно, а когда и беспощадно, высмеивал могущественных и мелких монархов Европы, и аристократию, кичащуюся своей генеалогией, и претенциозность постояльцев прославленных европейских курортов, и толпы меломанов, отчаянно скачущих на байрейтских фестивалях, впрочем не забывая, что Вагнером надлежит восторгаться.

Таким его выпадам никто не откажет в остроумии, нередко в точности, хотя самонадеянного в них тоже немало. Но суть дела не в пресловутом бескультурье провинциала, которое не раз пытались приписать Твену европейские критики. Суть в том, что на Европу он смотрит глазами американца старой закваски, чьи иллюзии насчет безмерных преимуществ демократии, утвердившейся после 1776 г., если и пошатнулись, то далеко еще не развеялись. О конкретных политических обстоятельствах американской жизни Твен был осведомлен слишком хорошо, чтобы обманываться высокими фразами, не замечая горьких истин. Но и со всеми своими пороками — тогда ему еще казалось, что исцелимыми, — американская цивилизация для него оставалась несравненно выше отживших свой век социальных установлений монархической Европы.

И он ничуть не кривил душой, когда лишь к Европе относил имевшую для него программное значение мысль о том, что «любая общественная система, допускающая рабство, деспотизм, неравноправие, предрассудки, которые овладевают умами всех и каждого, нищету и грязь, становящиеся привычными условиями жизни, любая такая система не может быть названа цивилизацией в истинном значении слова».

Эта цитата взята из одной твеновской речи середины 80-х

годов. Начинается новый период творчества писателя, когда будут созданы шедевры его сатиры. Начинается перелом. Одним из его побудительных стимулов окажется расстрел рабочей демонстрации в Чикаго 1 мая 1887 г. и последовавший суд над «зачинщиками». Другим, еще более сильным, – испано-американская война 1898 г., резко повысившая колониальные аппетиты вандербильтов и гуддов. Но эти исторические толчки при всей своей важности все-таки не имели решающего значения. Новое качество, новый – не признающий никаких компромиссов – взгляд на Америку, который так поражает в произведениях последнего периода твеновского творчества, вызревал постепенно, по мере того как писателю становилось все яснее, что американское социальное уложение имеет ничуть не больше оснований называться «цивилизацией в истинном значении слова», чем обветшалые европейские порядки. «Почти всепоглощающее чувство ответственности, которое составляло сущность его характера» (Честертон), заставляло Твена убедиться, что и неравноправие, и предрассудки, и деспотизм, и рабство, пусть уже не юридическое, так промышленное, для его родины сделались вещами столь заурядными, будто в них нет ничего противоестественного.

Вера в исключительность американской цивилизации рухнула. Это был закономерный итог реальной истории. Твен был первым в Америке писателем, сумевшим его осознать. И первым, кто заговорил об этом еще на заре века, словно бы предчувствуя, что на его исходе еще актуальнее, еще острее будет ощущаться вся та ситуация банкротства иллюзий и ценностей, которую он открыл для американской литературы.

Теперь нам хорошо видна конечная точка эволюции Твена, но не всегда отчетливо – дорога, которая к ней вела. А между тем она была прихотливой. Всмотреться в ее изгибы, тем более что эссенстика предоставляет такую возможность, по-своему тоже поучительно. Ведь в XX веке многие западные писатели, в сущности, повторяют тот же путь.

В Хартфорде, городе солидных предпринимателей и банкиров, где прошла почти вся писательская жизнь Твена, его окружала атмосфера оптимизма относительно ближайших и отдаленных возможностей социального развития. Конечно, она не могла не наложить отпечатка на социальные воззрения Твена. Он с энтузиазмом следил за успехами промышленности и техники, помогал в делах своему тестю, видному шахтовладельцу, и высоко ценил примеры коммерческой честности и добропорядочности. Словом, суждения Сэмюэла Клеменса вряд ли представляли бы большой интерес, если бы они не принадлежали Марку Твену.

Известное противоречие между двумя этими лицами, соединившимися в одном человеке, не приходится сомневаться, существовало. Его незачем драматизировать, а тем более искать произвольные объяснения (вплоть до фрейдистских), чем так

охотно занимаются некоторые американские твенисты. Но если мы хотим видеть Твена живым, а не мумифицированным, игнорировать этот внутренний конфликт тоже нельзя. Он оставил свой след в твеновских произведениях.

Это заметит и читатель тома эссенстики. Не странно ли, что ярый антимонархист Твен пишет (правда, не публикует) такую статью, как «Убийство, потрясшее всех»? Ведь не кто иной, как Твен, познакомившись с описаниями царской тюрьмы и ссылки, сделанными известным знатоком России Джорджем Кеннаном, заметил: «Если подобное правительство нельзя обуздать иначе, как динамитом, то хвала динамиту». И в устах Твена это признание кажется вполне органичным.

Однако по-своему органичным был для него и страх перед политическим терроризмом. В наши дни он становится понятнее, по крайней мере этот мотив, довольно часто возникающий у Твена, для нас приобретает новое значение. Но если оставаться в контексте той исторической реальности, которая окружала Твена, такие его опасения многое скажут прежде всего о нем самом.

Он хотел устойчивого, надежно сбалансированного социального мира, не без оснований – теперь едва ли потребуется это доказывать – считая терроризм предвестием анархии и зародышем войны. А действительность раз за разом ставила его перед выбором: либо конформистское спокойствие перед лицом зла, либо противодействие ему всеми средствами, включая насилие. Сколько западных интеллектуалов в наш век останются на этой черте, не отваживаясь сделать решительный шаг. Твен его сделал. И мы знаем какой. «Я всегда на стороне революционеров, потому что еще не было революции, если ее не порождали невыносимые условия жизни и гнет, который невозможно терпеть», – заявил он в 1906 г., объясняя, почему поддержал приехавшего в США Горького, когда русского писателя травил вся бульварная пресса Нью-Йорка. К этому времени Твеном уже были написаны «Соединенные Линчующие Штаты» и «Человеку, Ходящему во Тьме».

Кого-то, быть может, удивят элегические оттенки, порой чувствующиеся на страницах твеновского репортажа о праздновании юбилея королевы Виктории в 1897 г. Ведь Твен никогда не идеализировал венценосцев. А истинная цена рассказам о трогательном единодушии англичан, обожающих престарелую даму, для него не являлась тайной. «Принц и нищий» был притчей о современности ничуть не меньше, чем сказкой на исторический сюжет, а описанный в нем Двор отбросов куда скорее напоминал гнетущие картины из репортажной книги Джека Лондона «Люди бездны», чем свидетельства хроник XVI столетия.

Своего шанса поиронизировать над пустой помпезностью церемониала и над британскими консервативными привычками Твен не упустил и в этой статье, как не упустил всякий раз,

когда являлась возможность сравнить формы цивилизации, укрепившиеся на противоположных берегах Атлантики. Однако здесь для Твена не это главное. На загроможденных толпой лондонских улицах он думает об уходящей эпохе, одним из символов которой стала английская первая леди. Умиленность, сентиментальное любование были бы для Твена глубоко фальшивой нотой, но вовсе не кажется фальшью тот привкус ностальгии, который различим в этой документальной новелле. Обращаясь ко времени викторианства, то же самое чувство впоследствии будут испытывать многие. Среди могил Форсайтов старшего поколения Сомс в романе-эпопее Голсуорси задумывается, но так и не постигает, отчего оказался «сдан внаем» тот век, тот образ жизни, когда хаос и распад еще не отменили «собственность, нравы и старые формы искусства». А современное поколение английских прозаиков испытывает в 60–70-е годы необыкновенно сильное увлечение культурой и всей атмосферой века Виктории, притягивавшего тем настойчивее, чем острее чувствовалась шаткость духовных да и жизненных опор в окружавшем их мире.

Твена тоже не раз посещали мрачные мысли о будущем. Традиции, идеалы, нравственные нормы, принципы отношений между людьми – весь привычный ему порядок вещей, сколько бы в нем ни скрывалось изъянов и уродств, исчезал у него на глазах, и это не могло не отозваться в его сознании болью. Ее почувствуют внимательные читатели и «Гека Финна» (1884), и «Янки при дворе короля Артура» (1889) и некоторых твеновских эссе.

Но странно даже вообразить, чтобы Твен, по примеру иных своих современников, уже и в ту пору шокированных приближающимися историческими потрясениями, поддался искусу декадентства. Ни его хартфордское окружение, ни стиль жизни состоятельного бизнесмена, чего потребовал брак с Оливией Ленгдон, ни громкая слава, ни сменившие ее нападки ревнителей «постоянства» – ничто не могло притупить у писателя ощущения своего кровного родства с народом и кровной причастности к его судьбам. Этот непоколебимый демократизм помог Твену преодолеть внутренние конфликты, сколь бы глубокими они ни были.

* * *

Стремительное «полевение» Твена к концу 80-х годов порой объясняют чисто внешними причинами, и главным образом – его банкротством на деловом поприще. Обстоятельства эти хорошо известны: наборная машина, в которую Твен вложил все свои средства, оказалась мертворожденным детищем, прогорело основанное им издательство и т. д. Наивно было бы полагать, будто все это не отразилось на самосознании Твена, вновь, как и в невадские свои годы, вынужденного постоянно

думать о деньгах и о долгах. Однако решающего значения эта перемена в судьбе, конечно, не имела.

Конфликт с той буржуазной средой, в которой протекала жизнь Твена, был неотвратим, он лишь принял под конец особенно острые, нередко драматические формы. Не секрет, что Твену приходилось прятать даже от самых близких своих людей наиболее «крамольные» рукописи, и не помышляя о том, чтобы опубликовать, к примеру, «Письмо ангела-хранителя», непосредственно задевавшее Ленгдонов, или большинство глав «Автобиографии». Многие пролежало под спудом еще десятки лет после смерти писателя, не все, что сохранилось в его архиве, увидело свет и по сей день.

Он задумал книгу в форме посланий, которые сочиняет, но не отправляет желчный и остроумный современник, внимательно следящий за событиями в мире. До нас дошли только фрагменты незавершенного произведения. И предисловие к нему. Вот как охарактеризован в предисловии автор этих писем никуда: «Он пишет, чтобы дать выход своей злости. Он похож на вулкан. Мало проку всего лишь воображать извержение. Нет, надо, чтобы кратер задымился и хоть немного лавы вышло на поверхность. Иначе не ощутить облегчения».

Трудно точнее сказать о настроениях самого Твена в его последние годы.

Вряд ли они могли быть иными. XX век начинался под знаком жестоких классовых битв и грабительских колониальных войн: англо-бурской, испано-американской. Было утоплено в крови боксерское восстание в Китае. Однозную славу нискал себе палач Африки Сесил Родс, которого Твен заклеил на страницах своей очерковой книги «По экватору». Американским штатом стали Гавайи, американской колонией — Филиппины, американским протекторатом — Куба.

Пожалуй, только сегодняшняя атмосфера в США может сравниться с той вакханалией разгулявшихся экспансионистских амбиций, которая поднялась, пока экспедиционный корпус генерала Фанстона жег филиппинские деревни, а миссионеры благословляли эти победы над язычниками.

С миссионерами у Твена были особые, давние счеты. Еще в юности он стал атеистом, и, как ни пыталась обратить его на путь истинный благочестивая Оливия Клеменс, взгляды Твена в этом отношении не менялись. Как сатирик, неустанно борющийся против церковного лицемерия, Твен сопоставим, пожалуй, только с Вольтером. А когда американские миссионерские общества начали по мере сил помогать колониальному разбою, твеновская антиклерикальная сатира приобрела четкие политические оттенки. Известно, что под конец жизни он работал над сатирическим обозрением своей эпохи, носившим в черновиках заглавие «Грандиозная международная процессия». Среди участников этой процессии фигурирует и Христианство — «монументальная особа в одеянии, перепачканном кровью... В

одной руке Христианство держит пращу, в другой Евангелие, раскрытое на странице, где проповедуется любовь к ближнему... На шее ожерелье из наручников и воровских отмычек».

Это обозрение осталось лежать в архиве Твена. Но другие твеновские произведения того же характера увидели свет. 31 декабря 1900 г. в «Нью-Йорк геральд» появилось «Послание девятнадцатого века двадцатому»: «Я передаю тебе почтенную матрону, именуемую Христианской Цивилизацией, которая вернулась, запятнанная кровью и потерявшая честь, из пиратских набегов... Душа ее полна низости, карманы набиты ворованным добром, на языке — ханжеская ложь. Дай ей мыло и полотенце, но спрячь зеркало».

Автором «Послания» был Твен. Лава вырвалась на поверхность. Читатели с чутьем и слухом понимали, что вулкан лишь начинает приходить в движение. Легко вообразить, какие руины оставило бы от бастионов лжи это извержение, достигни апогея.

Стараниями ближайшего окружения Твена апогей был предотвращен. Но и того, что писатель напечатал при жизни, с лихвой хватило, чтобы пролегал рубеж резкого размежевания между казенными американскими патриотами и воинствующим гуманистом Твеном. В его руках оружие памфлета сражало наповал.

В те дни сознание соотечественников Твена еще было порабощено бесчисленными предрассудками и дутыми амбициями. Незыблемой нормой почитались всеисилье богатства и бесправие угнетенных. Цивилизация для большинства тогдашних американцев оставалась фетишизированным понятием, и любые жертвы, если они приносились во имя насаждения цивилизации, уже как бы не подлежали моральному осуждению. Когда Твен опубликовал «Человеку, Ходящему во Тьме», на него градом посыпались обвинения в том, что он кощунственно отвергает цивилизацию и прогресс, глумится над святынями.

Его не поколебали такие упреки, и в ответе своим критикам-миссионерам он разъяснил избранную им позицию с исчерпывающей ясностью. Никакая цивилизация, сколько бы ни толковали о том, что она несет справедливость и равенство, не найдет у него оправдания, если ее дары навязываются при помощи насилия и закабаления. Важна не обертка, на которой написаны возвышенные слова. Важна суть, экспортируемая американским президентом, британским премьером, русским царем и немецким кайзером в страны, которым уготована роль колоний. Впрочем, суть уже начинают экспортировать без оберток, в открытом виде. Твену было сложно представить себе, какие чудовищные формы еще примет в XX веке подобный «экспорт», но в том, что народы, «ходящие во тьме», очень нескоро получат передышку от благодеяний, которыми их одаривает трест «Дары Цивилизации», он не сомневался. Сколько подтверждений его правоты предоставила последующая история!

Те, кто в рукописи прочли «Соединенные Линчующие Штаты», советовали Твену умерить гнев, доверившись прогрессу, который вскоре непременно покончит и с позорными расправами над чернокожими, и вообще с расизмом. Твен ничего не переменял в своем произведении, хотя и не решился отдать его в печать (полностью памфлет был опубликован лишь в 1923 г.). Он ограничился тем, что в одном из интервью выдвинул предложение ввести на Юге США закон, официально запрещающий линчевания на рождественской неделе, а в другом – восторгался быстроходной яхтой, утверждая, что ее «не обгонит даже толпа христиан, преследующая негра».

Прошло восемьдесят лет, и можно с достаточным основанием судить о том, каковы оказались плоды прогресса в расовом конфликте, по-прежнему остающемся одним из самых болезненных конфликтов американской жизни. Линчевания запрещены законом не только на рождество, но и круглогодично – так, правда, было уже во времена Твена. Утвердилась система, которую один современный негритянский писатель язвительно назвал «знаковым присутствием», – чтобы продемонстрировать благополучие в расовых отношениях, чернокожим американцам время от времени позволяют занимать видные должности, вплоть до правительственных. А сама проблема расового неравенства никуда не исчезла, более того – только обострилась с ходом десятилетий.

И только обострилась другая важнейшая проблема, над которой размышляет Твен в «Соединенных Линчующих Штатах», касаясь моральных критериев, всегда позволяющих «уклониться от добрых деяний, если они непопулярны». В 60-е годы, когда расовые антагонизмы были накалены до предела, буквально теми же словами характеризовали трусливую позицию «молчаливого большинства» активисты борьбы за подлинное гражданское равенство черной и белой Америки. При жизни Твена слово «конформизм» еще не стало одним из наиболее употребительных терминов американской социологии. Но ту болезнь нравственной апатии, которую оно обозначает, писатель распознал едва ли не раньше всех в США и с поистине удивительной прозорливостью предвидел ее опасный рост, ее тяжкие общественные последствия, наглядно продемонстрированные и во времена маккартизма, и в гораздо более близкое нам время.

«Моральный шлак», подменивший собой «моральное золото», – таким виделось Твену последних лет творчества истинное содержание буржуазной цивилизации. Он писал об этом в памфлете, «защищающем» генерала Фанстона, – быть может, самым смелом из всех, что были опубликованы им самим; и в любой твеновской рукописи, относящейся к завершающему периоду, встречаются те же самые мысли, как ни тяжки они были писателю, столь долго верившему в демократию, уважающую естественные права человека. Теперь от этой веры не

осталось и следа, а в записных книжках, тщательно ото всех скрывающихся, все чаще стали появляться умозаключения, которых никто не мог ожидать, пока на Твена смотрели лишь как на жизнерадостного и светлого художника: «Жалкая жизнь, бессмысленная вселенная, жестокий и низкий род человеческий». Такое опасно было доверять бумаге. Ведь Твену лучше других было известно, что «только мертвым позволено говорить правду».

К этому выводу он пришел давно, сам его и сформулировав в записной книжке 1904 г., и тем не менее он говорил правду — и о колониальных захватах, и о расизме, и о том, что Америка, собственно, давно уже готова к монархическому правлению, ибо олигархия сохраняет всю полноту власти, кто бы ни сидел в Белом доме, так что пора покончить с выборами и ввести процедуру наследования президентского кресла. Да и не комедия ли — причем совсем не веселая — выборы «представителей народа», дерущихся за свои посты, «чтобы распределить взятки»? В записных книжках Твена это мероприятие охарактеризовано исчерпывающе: «Избирательный бюллетень — единственный товар, которым можно торговать без патента».

Какие-то из этих радикальных его суждений, войдя в памфлеты, напечатанные прижизненно, стали достоянием гласности и произвели ошеломляющее впечатление на тогдашних читателей. Многие сделали известным только годы спустя, ничуть не потеряв актуальности оттого, что долго оставалось скрытым от публики. Устареть эти материалы не могли. Ведь в них, как, наверное, ни в каком другом литературном явлении рубежа веков, отразился главный процесс эпохи — нарождавшееся и крепнувшее убеждение, что буржуазные формы жизнеустройства несовместимы ни со справедливостью, ни с человечностью.

И когда об этом свидетельствовал Марк Твен, писатель, чье творчество служило как бы олицетворением XIX столетия со всеми его великими свершениями и со всеми прекрасными, но не осуществившимися надеждами, такое свидетельство приобретало значимость документа, обладающего огромным и непреходящим духовным содержанием.

В конечном счете это гораздо важнее, чем любые противоречия, которые дотошный взгляд обнаружит в твеновской сатире, чьи «коготки», по грустному признанию писателя, не раз приходилось «подрезать», избегая скандала. Твен пережил драму разочарования в идеалах, которые были им усвоены с молодых лет и оказались несостоятельными в свете реального опыта буржуазного общества. В XX веке такое разочарование делается характерной приметой эпохи и уже не будет ощущаться столь болезненно, как оно ощущалось под старость Марком Твеном. Его пессимистические высказывания о человеке и о будущем — а их во множестве встретит читатель

«Таинственного незнакомца», «Автобиографии» и записных книжек позднего Твена – не следует воспринимать буквально. Они продиктованы главным образом чувством невозможности выправить тот отталкивающий писателя порядок вещей, когда разум и гуманность, мораль и право беззастенчиво поширались повсюду в мире, а Твену казалось, что никто не прислушивается к его протестующему голосу.

Здесь он глубоко заблуждался. И «Монолог царя», и «Монолог короля Леопольда», и издевательская апология Фанстона были не просто замечены – они были по достоинству оценены как выдающиеся произведения сатирической публицистики, отстаивающей идеалы действительной, а не поправленной демократии. Время лишь усилило обличительное звучание этих твенских страниц, придав им в наши дни новую злободневность.

Намного точнее, чем все вырвавшиеся из-под пера Твена сетования на свою мнимую беспомощность перед лицом агрессивного зла, кажутся слова из его интервью, относящегося к 1902 г. : «Я давно уже стал особым, официально не назначенным и не получающим жалованья посланником народа Соединенных Штатов, представляющим его перед человечеством».

Таким Твен остается для нас и сегодня.

А. Зверев

Эссе



ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ МАЛЬЧИКА

Недавно в Сан-Франциско «прилично одетый мальчик, шедший в воскресную школу, был задержан и отправлен в городскую тюрьму за то, что швырял камнями в китайцев».

Какой пример человеческой справедливости! Какое печальное доказательство нашей склонности тиранить слабых! Городу Сан-Франциско не делает чести то, что здесь так поступили с бедным мальчиком. Что внушалось с детства этому ребенку? Откуда ему было знать, что нехорошо бросать камнями в китайцев? Раньше, чем на него обрушиться, как обрушился на него негодующий Сан-Франциско, дадим ему возможность оправдаться, заслушаем свидетелей защиты.

Это был «прилично одетый» мальчик, ученик воскресной школы. Значит, надо думать, что родители его — люди зажиточные и цивилизованные, которые сохранили лишь ровно настолько дикости, что с жадностью читают газеты и смакуют их содержание. Таким образом, этот мальчик не только по воскресеньям, но и во все другие дни недели имел возможность учиться добру и справедливости.

Он узнал, что власти Великой Калифорнии взимают незаконный налог за право разработки прииска с иностранца Джона, в то время как иностранцу Патрику они разрешают бесплатно добывать золото, — вероятно, на том основании, что вырождающийся монгол не расходует ни цента на виски, а утонченный кельт не может жить без этого напитка.

Мальчик узнал, что очень многие сборщики налогов (было бы жестоко обвинять в этом *всех*) берут с китайцев налог не один, а два раза; и поскольку они это делают исключительно для того, чтобы отбить у китайцев охоту ехать на прииски, их

тактика вызывает горячее одобрение и считается верхом изобретательности и остроумия.

Узнал мальчик также, что, когда в чужой лоток с золотым песком запустит руку белый (под белыми понимаются испанцы, мексиканцы, португальцы, ирландцы, гондурасцы, перуанцы, чилийцы и прочие и прочие), его просто выгоняют из поселка. А если украл китаец — его вешают.

И еще он узнал, что во многих районах обширного Тихоокеанского побережья у населения замечается такая неустовая, стихийная тяга к справедливости, что всякий раз, как совершается таинственное, неразгаданное преступление, люди заявляют: «Хоть бы обрушились небеса, а правосудие должно свершиться!» — и немедленно хватают и вздергивают какого-нибудь китайца.

Таким же образом мальчик открыл, что, судя по одной половине «местной хроники» в газетах, можно думать, будто полиция Сан-Франциско либо спит, либо вымерла, а при чтении другой половины хроники выясняется, что репортеры в неистовом восторге от энергии, честности, усердия и отчаянной храбрости той же полиции. Они с упоением описывают, как «зоркий Аргус, полисмен такой-то, застиг гнусного мошенника-китайца, который намеревался украсть кур, и с триумфом препроводил его в городскую тюрьму»; и как другой доблестный полисмен «украдкой следил за каждым движением ничего не подозревавшего узкоглазого поклонника Конфуция» (скажете после этого, что репортер не остроумен), наблюдая за ним с тем как бы рассеянным, безучастным выражением, которое так умеет напускать на себя это загадочное существо, сорокадолларовый полисмен, когда он не клюет носом; и как он в конце концов застиг китайца в момент, когда тот самым подозрительным образом положил руку на пакетик гвоздей, оставленный владельцем на видном месте. Репортер усердно расписывает, как один полисмен совершил это великое дело, а другой — то-то, а третий — то-то. И почти всегда их славные подвиги вызваны таким потрясающим событием, как грошовая кража, совершенная китайцем. Провинность этого несчастного раздувают в нечто чудовищное, кричат о ней для того, чтобы публика не заметила, что множество действительно опасных преступников ходит на свободе, а «доблестная» полиция даром получает жалованье.

И вот что еще узнал мальчик: так как благодаря нашей конституции Америка стала убежищем для бедных и угнетенных людей всех стран и с этих обездоленных, ищущих у нас приюта, не разрешается взимать непосильную плату за въезд, то власти издали закон о прививке оспы всем приезжающим китайцам тут же в порту, и за прививку китаец обязан уплатить назначенному штатом чиновнику десять долларов. А между тем любой врач в Сан-Франциско охотно оказал бы ему эту услугу за пол-доллара.

Так мальчику стало ясно, что китаец не имеет никаких прав, которые следует уважать, что у него не может быть настоящего горя, а значит, и жалеть его не за что, что жизнь его и свобода не стоят ломаного гроша, когда белым нужен козел отпущения, что китайцев никто не любит, не дружит с ними и не помогает им. Никто не шадит их, когда представляется случай их обидеть, и решительно все — отдельные люди, общество и даже представители власти — ненавидят, оскорбляют и притесняют этих смиренных и бедных чужеземцев.

После всего этого что могло быть естественнее поступка жизнерадостного мальчика, который весело шел в воскресную школу? В уме его теснились преподанные ему истины, поощрявшие к высоким и благородным подвигам, и он сказал себе мысленно: «Ага! Вот идет китаец! Бог меня накажет, если я не брошу в него камень».

И за это его арестовали и посадили в тюрьму!

Все, решительно все убеждало этого мальчика, что швырять камнями в китайца — благое, хорошее дело. И вот при первой же его попытке выполнить священный долг беднягу карают за это! А ведь ему как нельзя лучше было известно, что для полиции первейшее развлечение — спокойно любоваться, как мясники на Брэннен-стрит натравливают своих собак на ни в чем не повинных китайцев и те бегут сломя голову, спасая свою жизнь.

Принимая во внимание уроки гуманности, которые даются молодежи на всем Тихоокеанском побережье, нельзя не удивляться крайней нелепости того взрыва благородного негодования, который на днях заставил «отцов города» в Сан-Франциско торжественно объявить, что «полиции отдан строгий приказ арестовывать за нападения на китайцев всех мальчиков, кто бы они ни были и где бы ни были замечены».

Однако, несмотря на всю непоследовательность такого постановления, порадуемся ему от души! И будьте уверены, что полиция тоже им довольна. Ибо, арестовывая мальчиков (если они маленькие), она не подвергается никакой опасности, а газетные репортеры будут восхвалять ее деяния так же рьяно, как они это делали до сих пор, — надо же о чем-нибудь писать.

В газетах Сан-Франциско, в отделе местной хроники, теперь появится новый тип заметок. Они будут писаться примерно так:

Я видел много таких сцен, но сейчас мне вспомнилась одна: как мясники с Брэннен-стрит натравили собак на китайца, мирно шедшего мимо с корзиной белья на голове. И в то время как собаки терзали китайца, один из мясников для пушего веселья вышиб ему обломком кирпича несколько зубов. Этот случай с особенно зловещей яркостью врезался мне в память — потому, быть может, что я в то время сотрудничал в одной газете в Сан-Франциско и газета не поместила мою заметку об избитии, так как это могло задеть кое-кого из подписчиков. — М. Т.

«Неизменно бдительному и энергичному полисмену (следует фамилия) вчера днем удалось задержать малолетнего Томми Джонса после упорного сопротивления...» – и так далее и так далее. За этим будут следовать обычные фактические данные и заключительная фанфара, таящая в себе бессознательный сарказм: «Мы с большим удовлетворением констатируем, что это уже сорок седьмой мальчик, задержанный отважным полисменом со времени вступления в силу нового постановления властей. Полиция развила усиленную деятельность. В полицейских участках царит оживление, какого не запомнят старожилы нашего города».

САНВИЧЕВЫ ОСТРОВА

I

Сэр! Ваше предложение, столь для меня почетное, написать статью о Сандвичевых островах – причем именно сейчас, когда смерть короля привлекла к ним внимание публики, – заставляет показаться на свет божий человека, которому скромность предписывала до сих пор оставаться в тени. Я мог бы засыпать вас статистическими данными, но, поскольку большинство предпочитает сплетни, я надеюсь, вы не осудите меня, если я постараюсь удовлетворить любопытство широкой аудитории, представив другим докучать меньшинству арифметикой.

Шесть лет назад я провел на Сандвичевых островах несколько месяцев, и, будь у меня хоть малейшая возможность, я непременно вернулся бы туда и остался там до конца своих дней. Для ленивого человека это истинный рай. Если у вас есть деньги, вы можете жить там в роскоши, и ваше богатство будет вызывать такое же почтение, как и в других краях; если же вы бедны, вы можете примкнуть к туземцам и, не тратя на жизнь почти ничего, загорать целыми днями под пальмами, тревожась о завтрашнем дне не более, чем бабочки.

В этом благословенном уголке вы далеки от суеты мира, ваши дни проходят в глубокой безмятежной неге – прошлое забыто, настоящее подобно эдему, а будущее само заботится о себе. Вы находитесь в центре Тихого океана, две тысячи миль отделяют вас от любого из континентов, и миллионы миль – от жизни остального человечества. Куда ни глянь, со всех сторон гребни волн заслоняют горизонт, и весь лежащий за их стеной огромный мир кажется вам каким-то чужим, далеким, не представляющим ни малейшего интереса.

Климат здесь попросту изумительный: внизу, на уровне моря, никогда не бывает холодно, и никогда – слишком жарко, ибо тут вы как бы на промежуточной станции – всего в двадцати градусах к северу от экватора. Впрочем, здесь можно самому выбрать себе климат, так как все восемь обитаемых островов –

это не что иное, как горы, вздымающиеся прямо из океана, если угодно, своего рода колокола с наростами по краям. Допустим, вы сделали выбор. Прекрасно! Вы берете термометр и отмечаете на нем то место, где независимо от времени года надлежит навеки остановиться ртутному столбику (с разницей зимой и летом не более 12 градусов по Фаренгейту). Если вы избрали 82 градуса в тени (примирившись с тем, что столбик все же изредка смещается на 5–6 градусов вверх или вниз), то вы строите свой дом на «наросте», т. е. на побережье – холмистом или плоском, по вашему усмотрению, и эта температура станет для вас подлинным образцом постоянства. Именно такой климат в Гонолулу – столице королевства. Если в качестве средней температуры вы отметили 70 градусов, поселяйтесь на склоне любой из гор, на высоте 400 или 500 футов над уровнем моря. Если вы отметили 55 или 60, поднимайтесь на 1500 футов выше. Соскучились по зиме – продолжайте подъем и следите за ртутью. Хотите, чтобы вокруг были вечные льды и снега – поль (по Фаренгейту) и ниже, – обосновывайтесь на вершине горы Мауна-Кеа, на высоте 16 000 футов. Если вам нужна жара, живите на Лахайне, где градусник не вешают на металлический гвоздь, чтобы он не разбился, если гвоздь расплавится; можно также поселиться в кратере Килауэа, и вы немедленно почувствуете себя дома, словно и не уезжали. Нигде в мире не найти такого климатического букета, как на Сандвичевых островах. Вы можете, дрожа от холода и кутаясь в меха, стоять на вершине Мауна-Кеа, среди сугробов, которые лежали там, может быть, еще до рождения капитана Кука, и, окидывая взглядом склоны гор, видеть четкую границу между зоной мерзлоты и началом растительной жизни; чуть ниже убогие и чахлые деревья сменяются более высокими и развесистыми, а те в свою очередь уступают место обилию листвы и богатству красок умеренного пояса; еще ниже привычная зелень леса заканчивается широким, окаймляющим гору, подобно поясу, бордюром из апельсиновых деревьев такого глубокого и темного оттенка, что издали они кажутся черными; ваш взгляд скользит дальше и упирается в побережье, где томится под солнцем сахарный тростник, отражаются в тропических волнах плюмажи кокосовых пальм и где, как вы догадываетесь, бродят грешные туземцы в своей первозданной нагоде, ничуть не подозревая и ничуть не заботясь о том, что вы стучите в снег зубами так близко от них. Так что, как видите, здесь можно разом узреть все имеющиеся на земле климаты и наблюдать краски всех типов растительности, причем путешествовать приходится только вашему взгляду, да и то на расстояние, не превышающее примерно трех миль, которые он пролетает с быстротой птицы.

Туземцев на островах всего тысяч пятьдесят, белых же около трех тысяч, и большинство из них – американцы. Если верить капитану Куку, то меньше ста лет назад туземцев было

около 400 тысяч. Но торговцы принесли с собой труд и невиданные прежде болезни – иными словами, долгий, постепенный и неумолимый упадок; миссионеры же явились с лекарствами для души и подготовили туземцев к их приему. С тех пор обе силы действуют согласно и дружно, и всякий, кто умеет считать, может с точностью сказать вам, когда последний гаваец отойдет к праотцам, а его острова – в руки белых. Это так же несложно, как вычислить время затмения, – если начальные данные правильные, ошибки не будет. Уже почти столетие у туземцев на три рождения приходится пять смертей, так что каждому ясно, какой грядет итог. Нет сомнений, что лет через пятьдесят гаваец будет диковинкой в своей собственной стране, а показ его на ярмарке – доходнее цирка.

Я искренне сожалею о том, что гавайцы вымирают, ибо этот народ, быть может, самый интересный из всех существующих дикарей. Язык гавайцев мягок и музыкален, в нем нет ни одного свистящего или шипящего звука, и все слова оканчиваются гласными. Человека по имени «Джим Фиск» они будут звать «Джимми Фикки», ибо они меняют на свой лад даже имена собственные, если те звучат слишком жестко. По сравнению с гавайским языком итальянский кажется резким и неблагозвучным.

Раньше гавайцы ходили обнаженными, но миссионеры положили этому конец: теперь в городах мужчины носят европейскую одежду, а в деревнях – пробковые шляпы и набедренные повязки; отправляясь в гости, они надевают воротничок и жилет. Этими достойными восхищения переменами они обязаны исключительно религии и просвещению. Женщины ходят в просторных ситцевых балахонах до пят, без единого выреза.

Называя вещи своими именами, в отношениях между полами не существовало преград. Девушка или женщина, отвергающая притязания незнакомца, рисковала вызвать презрение; однако миссионеры боролись с этой свободой нравов столь упорно, что преуспели по меньшей мере в одном: она перестала быть явной и, исчезнув на словах, существует только фактически.

Гавайцы – самые простодушные, добрые и бескорыстные из всех существ, созданных Творцом по своему подобию. Там, где влияние белых еще не изменило их, они радушно встретят любого чужака и поделятся с ним всем, что имеют, – черта, которая, по-видимому, никогда не была присуща ни одному другому народу. Они живут сегодняшним днем, завтрашний остается за пределами их планов. В Гонолулу у меня в услужении был юноша-туземец, выпускник миссионерского колледжа, деливший время между переводом Евангелия и уходом за принадлежащим мне животным, которое я гордо именовал лошадью. Получая жалованье, он каждый раз тратил его целиком, от пятидесяти центов до доллара, на «пой» (национальное блюдо, приготавливаемое из корня таро) и созывал

всех местных оборванцев, случившихся поблизости, помочь разделаться с ним. Эти симпатичные дикари усаживались в высокую траву под тамариндами и работали челюстями до тех пор, пока не убрали все подчистую. Дня два после этого мой слуга ходил голодный и довольный, а затем какой-нибудь гаваец, которого он, возможно, видел впервые в жизни, приглашал его на такой же пир и вновь давал ему средство для поддержания жизни.

Прежняя религия гавайцев являла собой смесь забавных суеверий. По-видимому, верховным божеством, которому они поклонялись – или, точнее, пытались умилиставить, – была Акула. Затем шла Пеле, богиня, правившая страшным огнем Килауэа, и множество мелких божков. Ныне туземцы – все до единого христиане; они все добрые прихожане и богословие любят больше, чем пироги; они в состоянии выдержать проповедь, не уступающую по длине Декларации независимости; чем проповедь скучнее, тем сильнее она их увлекает; они готовы сидеть, подогреваясь на медленном огне нарастающего экстаза, и томиться в собственном соку, пока не захлебнутся в нем, если, конечно, священник вовремя не остановится. Воскресные школы – любимое развлечение для туземцев, они не хотят оттуда уходить. Если бы их опьянение религией было не только духовным, но и физическим, они бы не протрезвлялись никогда. Религия для туземца – это и выпивка, и еда. В его распоряжении имеется аккуратно изданная Библия (она переведена на местный язык, и читать ее могут на островах все: мужчины, женщины и даже маленькие дети), и он читает и перечитывает ее десятки раз. Кроме того, он в изобилии читает правоучительные истории, взятые из старых добрых учебников для воскресных школ, подслащенные сверх всякой меры, и поклоняется героям этих историй – безмозглым, тошнотворно набожным недоумкам, которые бродят по свету, пуская розовые слюни. Он знает наизусть все гимны, какие вы только слышали в своей жизни, и поет их мягким, приятным голосом на родном языке, на котором «Стою на бреге бурного Иордана» звучит для нас так же нелепо и чуждо, как если бы слова пропустили через мельницу не с того конца. Так что вы сами можете судить, насколько обитатели островов – большие и маленькие, старые и молодые – пропитаны религией, – по крайней мере ее поэзией и музыкой. Однако в обиходе с религией дело обстоит по-другому. Некоторые главные заповеди христианства они, не задумываясь об этом, всегда выполняли и будут выполнять. Зато кое-какие из второстепенных они, также не задумываясь, нарушают и будут нарушать всегда. Белый человек научил их лгать, и они лгут, радостно и безгрешно – ибо они не воспринимают это как грех и, следовательно, его не совершают. На прелюбодеяние они смотрят как на поэтически неподобающее, но практически вполне достойное занятие.

Этот народ религиозен сентиментально – быть может, это

самое подходящее слово. Пока все в порядке, они молятся, поют и морализируют, но, когда дело доходит до каких-то трудностей, то есть до вещей «серьезных», они готовы бросить поэзию и воззвать к Великой Акуле — божеству своих предков, — чтобы она помогла. Древние суеверия у них в крови и постоянно выказывают себя самым естественным и извинительным образом.

Я отношусь к числу людей, смотрящих на миссионерскую деятельность как на долгий и неблагодарный труд, далеко не сразу приносящий желанные результаты. Но я далек от того, чтобы считать эту деятельность безнадежной или бессмысленной. Я верю, что это семя, брошенное в дикую землю, даст в третьем поколении полноценный плод, и такой итог, разумеется, стоит всех затраченных усилий. Однако я не думаю, что можно ожидать многого от первого и второго поколений. Это против природы. Чтобы превратить горький миндаль в персик, требуется многолетний терпеливый труд. Но мы не отказываемся от попыток достичь этого, ибо в конце концов труд, без сомнения, окупится.

Из гавайцев получают отличные моряки, и хозяева китобойных судов отдают им предпочтение перед другими народами. Они так послушны, понятливы и старательны и вместе с тем так верны, что в качестве рабочей силы ценятся владельцами сахарных плантаций выше всех. Разве эти факты не говорят в пользу наших бедных темнокожих учеников воскресных школ с далеких островов?!

Здесь небольшой имущественный ценз, и всякий туземец, имеющий доход в 50 долларов в год, пользуется избирательным правом.

Три тысячи белых на островах держат в руках все деньги и заправляют всей коммерцией и сельским хозяйством — да и религией. Среди них подавляющее большинство составляют американцы. Белые — это владельцы сахарных плантаций, китобойных судов, торговцы и миссионеры. Миссионеры досадуют на присутствие всех прочих белых, а эти прочие досадуют на то, что миссионеры не убираются восвояси. Большая часть земли на склонах, которая соседствует с океаном и доходит до подножия гор, богата и плодородна. Этой полезной почвы всего 200 тысяч акров, но подумайте только о ее возможностях! В Луизиане сахарная плантация в 200 тысяч акров дает в год не более 50 тысяч бочек сахара, а может быть, даже меньше, тогда как на Сандвичевых островах с такой же площади можно получить по меньшей мере 400 тысяч бочек. Это звучит как преувеличение, и тем не менее это правда. Здесь две с половиной бочки сахара — вполне обычный урожай, три с половиной бочки тоже никого не удивят, а нередко собирают и по пять бочек. Я могу назвать человека, который собрал за один сезон пятьдесят бочек сахара с семи акров. Его плантация была на горном склоне, в 2500 футах над уровнем моря, и на ее возделывание ушло три

года. За справками обращайтесь к капитану Макки, остров Мауи, Сандвичевы острова. Мало плантаций располагаются так высоко в горах, большинство из них находится внизу, где тростник можно вырастить за двенадцать месяцев. Я бы хотел обратить внимание на два-три особенно замечательных обстоятельства. Например, здесь нет нужды торопиться срезать тростник, когда он цветет, его можно преспокойно срезать когда угодно — никакого вреда от этого не будет. Здесь не нужна целая армия рабочих рук, чтобы сажать тростник непременно в сезон посадки, молотить непременно в сезон помола, не нужно торопиться, чтобы успеть собрать урожай, пока не ударит мороз. Все это излишне. Здесь не бывает спешки. Можно держать большую плантацию, обходясь минимальным числом рабочих, поскольку тростник здесь сажают, когда заблагорассудится, собирают и мелют его, когда удобно. Здесь не бывает морозов, а чем дольше тростник стоит, тем лучше он вырастает. Иногда — и даже довольно часто — у одного и того же плантатора часть рабочих сажает тростник, другая часть собирает урожай на соседнем поле, а остальные работают на мельнице. Сажать тростник приходится лишь раз в три года: два повторных урожая снимаются без новых посадок. Впрочем, можно продолжать снимать повторные урожаи до бесконечности: с каждым годом количество тростника будет уменьшаться, зато сок делается гуще, и все будет в порядке. Я знаю одного лентяя, который снял без новых посадок шестнадцать повторных урожаев!

Как наживались эти плантаторы во время нашей войны, когда цена сахара перевалила за двадцать центов! Он обходился им в десять или одиннадцать центов за фунт, доставлялся в Сан-Франциско и окупал все расходы. Если кто-нибудь пожелает знать, почему плантаторы могут быть заинтересованы в том, чтобы оказаться под нашим флагом, то ответ прост. Сейчас мы заставляем их платить пошлину в четыре цента за фунт рафинада; комиссионные расходы, фрахт и погрузка-разгрузка (два-три раза) стоят еще три цента; выращивание тростника и получение сахара обходятся в пять центов — итого 12 центов или около того за фунт. А нынешняя оптовая цена рафинада не превышает на наших рынках примерно 12 с половиной центов. Так что о серьезном доходе нет и речи. Но вот если бы нам пришлось присоединить эти острова и покончить тем самым с разорительной пошлиной в четыре цента за фунт, то некоторые из крупных плантаторов, которые и без того так крупны, что с трудом удерживаются на поверхности, загребали бы в год по 75 тысяч долларов и больше. Их плантации со всем сырьем и оборудованием окупались бы за два года. Я, правда, был на островах давно и поэтому не могу поклясться, что Соединенные Штаты взимали за сахар пошлину именно в четыре цента за фунт, но уж что не меньше трех, это точно.

Мне хотелось бы упомянуть о покойном короле Камехамехе V

и о системе государственного управления на островах, но отложу до следующего дня. Кстати, мне интересно, почему ваши корреспонденты так спокойно игнорируют истинного наследника престола Сандвичевых островов, как если бы он не существовал вовсе и не имел бы никаких шансов. Я хотел бы замолвить за него словечко. Я имею в виду верного поклонника Америки принца Уильяма Луналило, потомка одиннадцати поколений коронованных дикарей, — славного парня, способного и даже талантливого, имеющего образование, джентльменские манеры, благородные побуждения и ум, который так ослепительно блещет сквозь потоки виски, как если бы оно было горючим, на котором работает его мозг. Все жители островов знают, что Уильям, или Принц Билл, как они его зовут — исключительно из симпатии, а не почему-нибудь еще, — стоит в двух шагах от трона. Почему же его игнорируют?

II

Сэр! Объяснив, кто такие три тысячи белых на островах и что представляют собой 50 тысяч туземцев, я подброшу теперь немного сведений о том, как управляется это игрушечное королевство с его игрушечным населением. Властью констебля и шести полисменов? Мирового судьи и присяжных? Мэра и муниципалитета? Ничего похожего. Здесь имеется король, парламент, министры, тайный совет, регулярная армия (200 солдат), флот (паровой паром и плот), коллегия верховных судей и на каждом острове — главный шериф. Ни больше, ни меньше. Это все равно что приводить в движение блюдо для сардин, используя всю мощь техники нашего Востока.

Примерно полвека назад туземцы, повинувшись внезапному и необъяснимому для них самим порыву, сожгли всех своих идолов и низвергли старую религию. Забавно, что первая партия наших миссионеров в это время как раз огибала мыс Горн и прибыла вовремя, чтобы снабдить этих людей новым и гораздо более надежным средством спасения души. Миссионеры крестили сразу всех мужчин, женщин и детей и немедленно приступили к обучению их догматам новой веры. Они построили огромные церкви и за день приводили к причастию до 5 тысяч человек. Молва об этом облетела всю землю, и повсюду народы возликовали; духовенство назвало это «великим пробуждением», и даже еще не пробудившиеся были взволнованы и выражали восхищение. Миссионеры выучили местный язык, перевели на него Библию и другие книги, создали школы и даже колледжи с довольно сложной программой и обучили всю нацию читать и писать: принцы и знать получали образование в колледжах и становились знатоками полудюжины мертвых и живых языков. Прошло еще лет двадцать, и миссионеры выработали Конституцию, которая стала законом страны. Конституция подняла женщину на уровень ее повелителя, постави-

ла арендатора в меньшую зависимость от хозяина, установила точную и справедливую налоговую систему, ввела баллотировку и всеобщее избирательное право, наделила короля, вождей и народ соответствующими правами и привилегиями, учредила парламент, где должны были быть представлены все сословия королевства, и, если я правильно помню, предоставила парламенту право проводить законы, невзирая на вето короля.

Несколько лет все шло как по маслу, в особенности при правлении брата покойного короля, просвещенного и либерально настроенного монарха, но, когда он умер и на престол взошел Камехамеха V, дело приняло иной оборот. Это был, что называется, «божьей милостью» король, а вовсе не марионетка, как утверждали некоторые; действительно, пока он правил, основная власть на островах была сосредоточена в его руках, и он принимал и отменял законы единственно своей королевской волей.

Он был хозяином с самого начала и до последнего дня. «Марионеткой» в его правление был как раз парламент. Первое, что он совершил, вступив на престол, — это, впад в великолепную ярость (когда парламент забаллотировал одно из его решений), изорвал прекрасную Конституцию в клочки и истоптал своими королевскими ногами. Затем он бесцеремонно прервал работу парламента и отправил его членов заниматься своими делами. Он ненавидел парламенты, считая их досадной помехой королевской власти, однако допускал их существование, ибо помехой они были скорее бутафорской, нежели реальной. Он ненавидел всеобщее избирательное право и уничтожил его — во всяком случае, обескровил, оставив от него лишь вполне безвредную видимость. Он заявил, что не позволит нищим голосовать за разорение предпринимателей, и ввел имущественный ценз. Он окружил себя раболопным Королевским кабинетом, состоявшим из американцев и других иностранцев, и диктовал свои решения его членам, а через них и парламенту; парламент встречал королевские постановления почтительно, если не сказать подобострастно, и беспрепятственно их принимал.

Все это как-то не вяжется с образом «короля-марионетки». Камехамеха V не был глуп. Он правил мудро, знал людей, был образован и хорошо воспитан и изо всех сил стремился разбогатеть с помощью своего народа, в чем и преуспел. В нем не было вздорности, часто свойственной царственным особам: одевался он просто и ездил по Гонолулу на своей старой лошади без всякой свиты как днем, так и ночью; он был популярен, глубоко уважаем и даже любим. По-видимому, единственным, кто его никогда не боялся, был принц Билл, о котором я уже упоминал. Единственным, кто осмеливался говорить о короле все, что думает, в парламенте и на предвыборных митингах, был нынешний наследник престола — если, конечно, принц Билл еще жив, а мне не приходилось слышать о

его кончине. Этот прогрессивный молодой человек обходился с королем без особого почтения, нисколько не заботясь о последствиях, а поскольку он был даже популярнее в народе, чем сам король, вполне вероятно, что его оппозиция имела кое-какую силу. Шесть лет назад в Гонолулу только об этом и говорили, и я верю, что это правда, хотя не располагаю иными данными, кроме того, что слышал.

По моим соображениям, принцу Уильяму сейчас около тридцати пяти лет. Он не состоит в кровном родстве с домом Камехамеха. Он происходит из рода более древнего и гордого, рода вождей и принцев с острова Мауи, где этот род пользовался непрерываемой властью в течение нескольких столетий. Уильям – одиннадцатый по счету принц по прямой нисходящей линии, и туземцы всегда оказывали особое почтение знатности его происхождения, почтение, которого они не удостоивали выскочек из дома Камехамеха. Его считают единственным настоящим наследником гавайского престола, и вот почему. Умирающий или отрекающийся король, в соответствии с законом страны, может назвать своего преемника – он имеет право выбрать любого из своих детей, братьев и вообще любого из членов королевской семьи. Покойный король ушел в лучший мир, не оставив ни сына, ни дочери, ни брата, ни дяди, ни племянника, ни отца (его отец никогда не был королем – он умер года два назад) и не назначив преемника. В этой ситуации парламент полномочен избрать короля среди членов двенадцати знатнейших семей. Таково, во всяком случае, мое представление о сути дела, и я убежден, что не ошибаюсь. По рангу принц Уильям настолько же выше любого из остальных вождей, насколько английский герцог королевской крови выше обычного графа. Не считая королевской семьи, это единственный гаваец, имеющий право носить и передавать по наследству титул принца; кроме того, он популярен до такой степени, что, если бы король избирался всенародным голосованием, принц Уильям был бы вне конкуренции.

Это очень красивый молодой человек, с манерами истинного принца, будь он трезв или пь я н, – в данном случае я выражаюсь образно, ибо по-настоящему пьян он не бывал никогда: много в него не вмещалось. Его черты прекрасны, у него римский нос, представляющий собой образец красоты и величия. Он полон воодушевления, мужества и предприимчивости, очень умен, говорит легко, всегда энергично и по существу; в нем нет и намек на скрытность или двуличие; он всегда берет быка за рога, нимало не заботясь о том, что кто-то может проникнуть в его намерения и разгадать его цели. Он потенциальный друг Америки и американцев. Таков истинный наследник вакантного престола – если он, как я уже говорил, еще жив.

Я упомянул, что Уильям пьет. Для гавайцев это не порок. Виски им вреда не причиняет; у привычного к виски туземца редко заплетаются ноги и затуманивается мозг. Для принца

Била это всего-навсего вода с приятным ароматом, то же самое, что для нас сидр. Всемогущим противоядием, охраняющим любителей виски, является пой. Кто постоянно ест пой, может выпить сколько угодно, практически ничем не рискуя. Покойный король и его покойная сестра Виктория пили виски без всякой меры; то же самое делали бы и остальные туземцы, если бы могли его достать. Местный напиток ава чудовищен настолько, что виски по сравнению с ним – детская игрушка. Ава превращает человеческую кожу в белую рыбью чешую, настолько прочную, что человека может искушать собака, а он не узнает об этом до тех пор, пока не прочтет в газетах. Ава делается из какого-то корня. У «элиты» этот напиток, в общем, в ходу; что же касается плебеев, то налоговое законодательство сделало его для них почти недостижимым. Что такое виски по сравнению с авой?

Много лет назад покойный король со своим братом приезжали в Калифорнию, и кто-то из жителей Сакраменто решил, что было бы забавно их напоить. Для этой цели собрали всех самых известных городских пьяниц, и те принялись накачивать высоких гостей, а заодно и себя пуншем из крепкого бренди. Через два-три часа городские бражники лежали без чувств под столом, в то время как оба принца продолжали сидеть и с тоской говорили о том, какая это скучная, трезвая страна! Я в точности повторяю то, что мне рассказывали в Сакраменто.

Гавайский парламент состоит из горстки вождей, нескольких белых и примерно тридцати или сорока простых гавайцев. Королевские министры (полдюжины белых) заседают вместе с парламентом и подавляют всякое сопротивление воле короля. В парламенте всегда говорят одновременно двое – член парламента и переводчик. Этот крохотный законодательный орган так же гордится собой, как и всякий другой парламент, и невероятно важничает. По мудрости своих решений он равен аналогичным органам любого нашего штата, но И не превосходит их. Вероятно, господь создал все подобные ассамблеи в этом отношении одинаковыми. Я помню один поразивший меня гавайский законопроект: он предлагал связать острова Оаху и Гавайи посредством висячего моста, поскольку путешествие по воде между этими пунктами было сопряжено с тяжелой морской болезнью и приносило туземцам массу неудобств. Этот висячий мост должен был иметь длину 150 миль!

Мне легко представить себе, что делается сейчас в Гонолулу и как проходит этот месяц траура, ибо я был там, когда умерла Виктория, сестра покойного короля. Давид Калакауа (вождь), верховный главнокомандующий гвардии (как вам правится этот титул?), вне всякого сомнения, стоит сейчас на посту у запертых ворот, ведущих на территорию «дворца», и гонит прочь всех белых, не состоящих на государственной службе, а внутри наши крещеные язычники вопят, танцуют и неистовствуют по древнему дикарскому обычаю, который существовал еще до того, как

Кук открыл эту землю. Я жил в трех кварталах от двухэтажного деревянного дворца гавайских королей, и, когда оплакивали Викторию, эта церемония не давала мне спать до утра тридцать ночей подряд. Все это время тело крешеной, но не вполне праведной принцессы лежало во дворце, выставленное для прощания. Однажды ночью я сумел войти на территорию дворца и увидел сотни полуобнаженных дикарей обоего пола, мяукавших, завывавших и бивших в свои мрачные тамтамы в таинственном сиянии бесчисленных факелов; большая группа женщин, покачивая гибкими телами, извивалась в затейливых движениях сладострастного танца, называемого хула-хула, а все прочие сопровождали это пением на местном языке. Я спросил сына одного миссионера, что означают слова этой песни. Он ответил, что они воспевают восхитительные дарования и физические совершенства умершей принцессы. Я начал было расспрашивать подробнее, но он сказал, что слова слишком непристойны, перевести их немислимо и лучше вообще не упоминать вслух телесные совершенства, о которых идет речь, да и столь восхваляемые и прославляемые способности покойной приличнее предоставить воображению. Он сказал, что король, без сомнения, слушает сейчас эти ужасные славословия и упивается ими. И это покойный король — образованный и благовоспитанный Камехамеха V! Стоит заметить, что он имел в числе прочих и титул главы церкви: будучи воспитан в соответствии с религиозными воззрениями миссионеров и получив образование в их школе и колледже, он тем не менее рано научился презирать их плебейский способ богослужения, заимствовал английскую систему и английского епископа, и во главе всей организации поставил себя. Теперь вообразите мрачную вакханалию, происходящую по ночам на территории дворца, где сейчас выставлено для прощания тело его величества.

Покойного монарха часто можно было видеть по воскресеньям на королевской скамье в гавайской королевской реформистской католической церкви, однако в тревожные минуты он обращался не к кресту, а к языческим богам своих предков. Таков был этот человек, который мог написать вам прекрасное письмо безукоризненным почерком на безукоризненном английском языке, возможно даже, с удачными упоминаниями классики или с изящными ссылками на достижения науки, международное право или историю международных отношений; он мог, облачившись в элегантный вечерний костюм, по-королевски развлекать вас у себя за ужином, беседуя, как прирожденный христианский джентльмен; мог работать без усталости изо дня в день, целиком посвящая себя государственным делам, и при случае обмениваться собственноручными посланиями с королями и императорами Старого Света. Но буквально назавтра, окончив дела, он мог исчезнуть в темном скоплении маленьких покрытых соломой туземных хижин на берегу моря и там на

несколько недель превратиться в язычника, ничем не отличающегося от своих диких предков. Сменив королевскую одежду на набедренную повязку, он ежедневно напивался виски, восседая рядом со своими наложницами, в то время как другие наложницы танцевали для него особую хула-хулу. Если ему случалось принимать ответственное решение, он вызывал к себе старую ведьму, состоявшую в числе его приближенных, и просил сообщить ему мнение и волю языческих богов – их приказам он следовал неукоснительно. Он был настолько суверен, что не решился бы переступить через проведенную поперек дороги черту, а предпочел бы ее обойти. Все это часто обсуждалось на островах. Сам я видел короля только один раз, и не во время его периодических «уходов». Он был в вечернем костюме и принимал участие в похоронах своей сестры; траурная лента длиной в ярд свисала с его шляпы, похожей на печную трубу.

Если вы дадите себе труд вспомнить, что население этих островов едва превышает 50 тысяч душ и что над этой ничтожной горсткой людей громоздится монархия – причем разукрашенная таким количеством высокопоставленных сановников, что их хватило бы на управление Российской империей, – вам, вероятно, будет интересно узнать, остается ли кто-нибудь, кем можно управлять, когда все вакансии заполнены. И действительно, одна из самых редких диковинок на островах – это человек, не имеющий никакого титула. Будучи, по-видимому, единственным неофициальным лицом в Гонолулу, я чувствовал себя очень одиноким, и, чтобы найти себе компанию, мне пришлось покинуть страну.

После описания этого имперского величия неудобно даже говорить о том, что весь экспорт королевства не составляет и полутора миллионов долларов, импорт тоже, при годовом доходе, положим, в пятьсот тысяч. Из этого они платят королю 36 тысяч долларов в год, и от трех до восьми тысяч получают чиновники, – а сколько их, ведает один бог.

Когда я был там, государственный долг составлял 150 тысяч долларов, и ничем они так не гордились, как этим долгом. Ради такого долга можно не делать займа. Стоило посмотреть, с каким видом его превосходительство министр финансов к месту и не к месту поминал свой годовой доклад о государственном бюджете, зачитывая наиболее впечатляющие пункты и похваляясь балансом!

Чрезвычайно забавное явление – «королевские министры» Это белые люди разных национальностей, прибывшие на острова в давно прошедшие годы. Опишу вам один образец – не из самых прекрасных. Например, Гарриса. Он американец, бывший деревенский адвокат из Нью-Хэмпшира, длинноногий, самовлюбленный и поверхностный. Если бы его ум был пропорционален длине ног, он затмил бы самого Соломона; если бы его скромность равнялась его невежеству, он посрамил бы даже

фиалку; если бы его ученость равнялась его тщеславию, то Гумбольдт рядом с ним показался бы темным, как могильный камень; если бы его рост был соразмерен его совести, этого человека пришлось бы рассматривать в микроскоп; если бы в его идеях было столько же широты, сколько в словах, то они не поместились бы и в сотне голов; если бы аудиторию обязали слушать его, пока он не устанет, то все умерли бы от старости; а уж если заставить его говорить до тех пор, пока он не скажет хоть что-нибудь дельное, то конец этому положит лишь трубный глас. Впрочем, у него хватило бы наглости переждать, пока эта досадная помеха стихнет, и продолжать дальше.

Таков (или таким был) его превосходительство мистер Гаррис, министр Того, Сего и Прочего при его величестве покойном короле, — ибо Гаррис был понемногу всем, но главное, он неизменно являлся самым покорным слугой и восторженным обожателем короля, его первым защитником и глашатаем на министерской скамье в парламенте. Едва поднимался какой-нибудь вопрос (неважно, какой именно), Гаррис тотчас же вскакивал, начинал размахивать своими костлявыми ручищами, бушевать, выделять пируэты, сыпать звонкими трюизмами, казавшимися ему верхом красноречия, изливать потоки желчи, мнившиеся ему сатирой, и перемежать это унылой чепухой, видимо принимаемой им за юмор. Обладая физиономией гробовщика, он сопровождал свои речи немислимыми гримасами, которые должны были играть роль усмешек!

Он начинал на островах в качестве маленького, безвестного адвоката и дорос (?) до положения официального лица, занимающего столько разных постов, что народ издевательски прозвал его «государственной машиной». Он стал великаном в стране карликов — из людей его калибра в других странах получают всего лишь констебли и коронеры. Я не хочу, чтобы кому-то показалось, будто у меня есть предубеждение против Гарриса, и, надеюсь, ничто из мною сказанного не создаст такого впечатления. Я должен быть беспристрастным историком и, следовательно, не могу в данном случае утаить то обстоятельство, что эта величественная фигура, на расстоянии смахивающая на статую Вашингтона, вблизи оказывается не чем иным, как тридцатидолларовой ветряной мельницей.

Гаррис любит заявлять, что он больше не американец и гордится этим, что он гаваец до мозга костей и гордится этим, что он добросовестный слуга своего господина и хозяина, короля Камехамехи V, и гордится этим и благодарен за это судьбе.

Давайте присоединим эти острова! Подумайте, какой мы можем создать там китобойный промысел! (Однако при наших порядках не исключено, что суда скоро перестанут приходить туда, чтобы их не обирали постоянно матросы и крючковоры, как сейчас это происходит в порту Сан-Франциско, который капитаны торговых судов обходят так же старательно, как рифы

и мели.) Давайте присоединим острова. Мы могли бы произвести там столько сахара, что хватило бы на всю Америку, и цены с уничтожением налога сразу понизятся. У нас тогда будет такой чудесный перевалочный пункт для наших тихоокеанских кораблей; такой удобный пункт обеспечения и наблюдения для нашей эскадры; мы можем выращивать здесь хлопок и кофе и окупать это сторицей, ибо при отсутствии пошлины доходы увеличатся. Кроме того, мы бы тогда владели самым могучим вулканом на земле – Килауэа! Барнум мог бы управиться с ним, он теперь знает толк в огне. Давайте присоединим их, во что бы то ни стало. Мы очень просто можем усмирить принца Билла и прочую знать – поместим их в резервацию! Ничто так не любит дикарь, как резервацию, где он каждый год получает новую мотыгу, Библию и одеяло для обмена на порох и виски, – полная идиллия под охраной солдат. Присоединив острова, мы получим все эти 50 тысяч туземцев дешево, как мусор, вместе с их моральными и прочими недугами в придачу. Никаких затрат на их образование – они уже образованы; нет нужды обращать их в истинную веру – они уже обращены; никаких затрат, чтобы одеть их, – по очевидным причинам.

Мы просто-таки должны присоединить этот народ. В наших силах отучить их веселиться с помощью нашего мудрого и благодетельного правительства. Мы можем познакомить их с таким новшеством, как воровство, и со всеми видами воров – от трамвайных карманников до муниципальных грабителей и правительственных растратчиков; показать им, как бывает забавно, когда их арестовывают, судят и выпускают на свободу – одних за деньги, других за «политическое влияние». Они быстро устыдятся собственной простоты и первобытной юстиции. Мы покончим с их практикой приговаривать своих редких убийц к смертной казни через повешение и дадим им судью Пратта, чтобы он научил их, как сохранить для общества убийц Эвери. Мы можем дать им какого-нибудь Бернарда, чтобы их акционерные общества не имели затруднений. Мы можем дать им присяжных, состоящих исключительно из самых искренних и очаровательных болванов. Мы можем дать им железнодорожные компании, которые купят их законодательные органы, как старое тряпье, раздавят их лучших граждан и будут жаловаться, что трупы пачкают пути кровью и нечистотами. Вместо безвредного и хвастливого Гарриса мы можем дать им Гвида. Можем отдать им Конноли, одолжить им Свини; мы можем снабдить их каким-нибудь Джейм Гулдом, который покончит с их устаревшим представлением, что воровать стыдно. Мы можем наградить их Вудхаллом и сестрами Клафлин. А также Джорджем Фрэнсисом, Трейном. Наконец, мы можем дать им воспитателей. Я и сам поеду.

Мы можем сделать эту кучку спящих островов самой горячей точкой земли и облачить их в высоконравственное великолепие

нашей святой цивилизации. Присоединение – вот в чем нуждаются бедные островитяне. «Неужели мы откажемся дать блуждающим во тьме лампаду жизни?»

ПЕЧАТНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Мастер Клеменс отвечает на тост «За наборщика!»

Слова председателя о Гутенберге заставили меня вспомнить прошлое, ведь и сам я нечто вроде ископаемого. С годами все меняется, и, быть может, теперь я здесь чужой. Быть может, типограф сегодня уже не тот, что тридцать пять лет назад. Того-то я знал хорошо. Для него я не был чужим. Морозным утром я разжигал для него огонь, я таскал ему воду с колонки, выметал сор, подбирал с полу литеры и, если он следил за мной, годные раскладывал по гнездам наборной кассы, а сбитые сбрасывал в ящик; если же его не было – украдкой сваливал все без разборки в кучу для переплавки, – такова уж натура мальчишки-подручного, а я был мальчишкой. Я смачивал бумагу по субботам и тискал гранки по воскресеньям, – ведь это был местный еженедельник; я закатывал валики краской, смывал ее, мыл форму, складывал газеты и по четвергам на рассвете разносил их. За разносчиком охотились собаки со всего города. Явись я к Пастеру со всеми укусами, выпавшими на мою долю, – и он был бы на год обеспечен работой. Я упаковывал газеты для отправки по почте. У нас была сотня подписчиков в городе и три с половиной в окрестностях; городские распахивались крупной и макаронами, сельские – капустой и вязанками дров, да и то не часто; и всякий раз мы с большой помпой отмечали это событие в газете, – стоило нам забыть об этом, и мы теряли подписчика. Каждый, кому не лень, вмешивался в дела газеты – указывал, как ее редактировать, определял ее взгляды, намечал направление, – и всегда наш хозяин был вынужден соглашаться, иначе мы теряли подписчика. Нас буквально осаждали критики, и каждому из них приходилось угождать. Был у нас подписчик, который платил наличными. Он один доставлял хлопот больше, чем все остальные, вместе взятые. За два доллара он покупал нас со всеми потрохами на год вперед. По его милости мы без конца меняли политические убеждения и пять раз на день переходили из одной веры в другую. Если ему возражали, он грозил прекратить подписку, что означало, конечно, банкротство и разорение. Этот человек обычно писал на полтора столбца крупным шрифтом, подписывая их «Junius», «Veritas», «Vox Populi» или столь же высоко-

«Юниус», «Истина», «Глас народа» (лат.).

парно и нелепо, а затем, когда статья была уже набрана, приходил и заявлял, что передумал (чисто риторическая фигура — он вообще никогда не думал), и требовал ее снять. «Старье» на это место не поставишь, так что мы вынимали набор, меняли подпись, приписывали статью своим конкурентам, газетчикам из ближайшего городка, и печатали ее. Вообще мы не гнушались «старьем». Если случалось празднество, цирковое представление или крестины, мы среди дня бросали работу, а потом, чтобы наверстать время, «перекраивали старые объявления» — заполняли ими страницу целиком и заново пускали в печать. Другой вид «старья» — глубокомысленные рассуждения, которые, как мы полагали, никто не читает; мы держали их наготове и время от времени помещали все те же старые заметки, пока это не становилось опасным. Точно так же на заре телеграфа мы заготавливали впрок новости. Отбирали и хранили на досках ничем не примечательные пустые сообщения, меняли в них дату и место действия — и печатали снова и снова, пока интерес к ним публики не иссякал до дна. На использованной информации мы делали пометки, но потом редко принимали их во внимание, так что практически между «использ.» и «свеж.» сообщениями разницы не было. Я видел «использ.» объявление о распродаже по суду, которое все еще преспокойно вызывало сенсацию, хотя и распродажа два года назад закончилась, и судья умер, и все происшествие стало достоянием истории. Большинство объявлений представляло собой рекламу всяких патентованных средств — они-то нас прежде всего и выручали.

Я так и вижу эту допотопную типографию в городке на Миссисипи — стены, увешанные афишами скачек, закапанную стеарином наборную кассу, прямо в гнезда которой по вечерам мы вставляли свечи, полотенце, истлевшее от долгого употребления, и другие приметы подобного рода заведений; так и вижу «мастера»-сезонника, который исчезал с наступлением лета, с его котомкой, где лежали рубаха и сверток афиш; не подвернись работа в типографии, он бы читал лекции о трезвости. Жизнь его была проста, потребности невелики; все, что ему надо было, — это кусок хлеба, постель и немного денег, чтобы напиться. Впрочем, как я уже сказал, быть может, теперь я здесь чужой и мой гимн давно забытым временам неуместен — так что я «закругляюсь» и умолкаю.

«РЫЦАРИ ТРУДА» — НОВАЯ ДИНАСТИЯ

Власть одного человека над другими означает угнетение — неизменно и всегда угнетение; пусть не всегда сознательное, преднамеренное, обдуманное, не всегда суровое, или тяжкое, или жестокое, или огульное, но — так или иначе — всегда угнетение в том или ином виде. Более того: даже когда власть имущий

хочет сделать добро одному человеку, он неизбежно причиняет вред другому. Кому ни вручи власть, она непременно проявится в угнетении. Дайте власть дагомейскому царьку – и он тут же начнет проверять меткость своей новенькой скорострельной винтовки на каждом, кто проходит мимо его дворца; люди будут падать один за другим, но ни ему, ни его придворным и в голову не придет, что он совершает нечто неподобающее. Дайте власть главе христианской церкви в России – императору, – и он одним мановением руки, точно отгоняя мошкарку, пошлет несчетное множество молодых мужчин, матерей с младенцами на руках, седовласых старцев и юных девушек в невообразимый ад своей Сибири, а сам преспокойно отправится завтракать, даже не ощутив, какое варварство только что совершил. Дайте власть Константину, или Эдуарду IV, или Петру Великому, или Ричарду III – я мог бы назвать еще сотню монархов, – и они перебьют своих ближайших родичей, после чего отлично заснут, даже без снотворного. Дайте власть Ричарду II – и он исторгнет у толпы рабов слезы благодарности, даря им свободу (чтобы спасти свою жизнь), а едва спасшись, посмеется им в лицо, разорвет на клочки грамоты об освобождении и посулит им новое рабство, такое жестокое, какое им и не снилось. Дайте власть средневековым сеньорам – и они закрепостят свободных крестьян, а затем, без малейшего чувства юмора, предоставят им самим доказывать, что они не крепостные, а свободные люди. Дайте власть церкви – и она примется безжалостно убивать, терзать, пытаться, сжигать на кострах, причем ни сама она, ни ее приспешники не усомнятся, что она трудится не покладая рук на благо человека и во славу божию. Дайте власть совершенно к тому неподготовленным, невежественным массам во французской монархии, доведенным до иступления тысячетлетним разгулом невообразимого деспотизма, – и они будут убивать без разбора и зальют кровью всю страну. Дайте власть кому угодно – и эта власть будет угнетать. Даже Компания конно-железных дорог заставит своих кучеров и кондукторов работать по восемнадцать часов в день, в полярный холод и тропический зной и станет платить им гроши; а вместо этой компании можно, взяв иные масштабы и иные формы, назвать тысячи других корпораций, компаний и промышленных предприятий. Да, можно проследить шаг за шагом весь путь от императора до Компании конно-железных дорог, и мы увидим, что всюду, где есть власть, она используется для угнетения.

Насколько мы знаем, или можем догадываться, так оно идет уже миллионы лет. Кто же угнетатели? Их немного: король, капиталист и горстка других – надсмотрщиков и подручных. Кто угнетенные? Их множество. Это народы мира: лучшие представители человечества, рабочие люди – те, кто своим трудом добывает хлеб для праздных белоручек. Почему считается справедливым такое неравное распределение плодов труда? *Потому что это установлено законами и конституциями.* Из этого

следует, что, если законы и конституции станут иными и предпишут более равное распределение благ, тогда *такой* порядок будет считаться справедливым. А значит, *в политических обществах право определять, что есть Справедливость, принадлежит единственно Силе*; иначе говоря: Сила творит Справедливость – или упраздняет ее. А это в свою очередь означает, что если объединившиеся избиратели из числа рабочего населения страны, насчитывающего 45 миллионов, объявят свою волю остальным 12 или 15 миллионам и повелят, чтобы существующая система прав и законов была коренным образом изменена, то тем самым и в эту самую минуту существующая система совершенно недвусмысленно, бесспорно и законно будет объявлена устарелой, негодной, она просто перестанет существовать, и ни один человек из названных 15 миллионов не будет вправе выдвинуть какие-либо возражения.

Итак, будем считать, что с незапамятных времен король и ничтожное меньшинство угнетали народы и что им принадлежала власть решать, что справедливо, а что нет. Какой была эта власть, реальной или воображаемой? До сих пор она была реальной. Но отныне – я верю в это всем сердцем – *в нашей стране* она навеки глеч и прах. Ибо другая, великая сила, превосходящая власть королей, поднялась на этой единственной в мире земле, поистине предназначенной для свободы; и вы, кто имеет глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, уже можете различить вдали сияние ее знамен и поступь ее воинства. Пусть насмешники издеваются, пусть выдумывают придирки и возражения, но она взойдет с господней помощью на свой трон и поднимет свой скипетр – и голодные насытятся, и нагие оденутся, и надежда блеснет в глазах, не знавших надежды. И фальшивая знать уберется прочь, а законный владелец вступит во владение своим домом.

Раньше и правда было над чем издеваться. Во все времена и во всех странах мира гигантская неповоротливая громада угнетенного человечества – несчастных бессловесных животных, – наделенная немощной силой, но не подозревавшая об этом, в поте лица от зари до зари добывала хлеб для изнеженного меньшинства, то в бессильной ярости, то со слезами глядя на своих жалких домочадцев – на ожесточившихся женщин и не умеющих улыбаться детей, – вот это было время для издевок. И во все времена, во всех странах мира, один раз на памяти каждого поколения отдельные частицы этой громады приходили в движение, и восставали, и кричали, что нельзя больше терпеть этот гнет, это унижение, эту нищету, но через несколько дней отступали, разбитые, снова безгласные, осыпаемые насмешками, – и это тоже было время для издевок. И за последние десятилетия бывало, что рабочие отдельных профессий, объединившись, с надеждой поднимались на борьбу и требовали себе лучшей доли; но если то были каменщики, другие рабочие равнодушно оставались в стороне: это, мол, не

их борьба; и если восставали одна, другая, третья профессии, десять миллионов остальных рабочих спокойно продолжали заниматься своими делами: мы-то ведь ни с кем не ссорились! Это тоже было время для издевок, и кое-кто, конечно, издевался. Но когда все каменщики, и все переплетчики, и все повара, и все парикмахеры, и все слесари, и все рудокопы, и кузнецы, и печатники, и подносчики кирпича, и портовые грузчики, и маляры, и стрелочники, и машинисты, и кондукторы, и все фабричные, и разные возчики, и продавщицы, и белошвейки, и телеграфисты – словом, все миллионы трудящихся людей, в которых дремлет эта великая сила, именуемая Властью (подлинная власть, а не обветшавшая и обманчивая тень ее!), – когда они восстанут, вы вольны будете в утешение себе называть происходящее как угодно, но истина от этого не изменится, – это будет восстание *Нации*. И по некоторым признакам уже можно распознать его приближение. Когда Джеймс Рассел Лоуэлл от лица немногочисленных американских писателей обратился с вежливым воззванием к комиссии сената Соединенных Штатов, и был выслушан – как уже шестьдесят лет выслушивали здесь писательские воззвания: с равнодушием, какого и требовал мелкий вопрос, выдвинутый небольшой и невлиятельной группой населения, – и сел на место, а после него выступил мастер из типографии в скромном сером костюме и сказал: «Я присутствую здесь не как рабочий-печатник, и не как каменщик или плотник, и вообще не представляю какой-нибудь одной профессии. Я выступаю от имени рабочих *всех* профессий, *всех* отраслей промышленности, *всех* моих братьев, которые каждодневно зарабатывают собственными руками хлеб насущный на огромном пространстве от Атлантического океана до Тихого, от Мэна до Мексиканского залива, чтобы прокормить себя, своих жен и детей. Мой голос – это голос пяти миллионов человек», – когда раздался *такой удар* грома, пришло время сенаторам пробудиться от сна и проявить интерес, уважение – да, да, почтительно и без отлагательства признать, что у них появился хозяин, и поинтересоваться, какова будет его высочайшая воля. И сенаторы это поняли.

Писатели, мало надеясь на успех, лишь робко намекнули, каких шагов они ждут от конгресса. Печатник, говоривший голосом пяти миллионов, без малейшей наглости или развязности, но спокойно, с ясным сознанием стоящей за ним огромной силы, *указывал* конгрессу – не что он должен делать, а чего он делать не должен. И к этому приказу нужно будет прислушаться.

Это был, пожалуй, первый случай в истории, когда заговорила нация, – заговорила не через посредство других, а сама, своим собственным голосом! И по милости судьбы мне довелось это видеть и слышать. Я почувствовал, как перед лицом этого зрелища поблекла вся мишура и все спектакли исторического

прошлого. Их позолота, и глянec, и перья выглядели убогими в сравнении с этим царственным величием во плоти. И я подумал тогда – и продолжаю так думать, – что наша страна, так расточительно богатая сокровищами, которыми она по праву может гордиться, обрела новое сокровище, превосходящее все, что она имела до сих пор. Сама нация, в лице этого человека, держала речь, а слуги внимали ей, – да, слуги, а не хозяева, лицемерно именуемые слугами нации. Ничего подобного не ведала ни одна страна, ни одна эпоха.

Те, от чьего имени говорил рабочий-печатник, и составляют нацию, и они продолжают свою речь. Вы читали их манифест, список их требований? Они звучат как что-то до странности знакомое, старое, всем известное. Они и вправду не новы. Они древнее, чем Библия. Они стары, как Тирания, как Бедность, как Отчаяние. Это самое древнее, что есть в нашем мире, – они родились вместе с человеческим голосом. В том или ином виде они тревожили слух богачей и власть имущих во все времена. А тем казалось, что это плач капризных детей – докучный плач чужих детей, – и они не слушали. Да и к чему было слушать? Ведь у них просили луну с неба, требовали невозможного. Так считали те, кто не хотел слушать, не хотел вдумываться. Но когда в каком-нибудь конце земли плачут *все* дети, самый размах происходящего выводит из равнодушия, и человек начинает думать: может быть, что-то и в самом деле неладно, – и прислушивается. И что же он слышит? Да то же, что несчетное множество раз слышал и раньше, но воспринимал как пустые слова. Теперь же, когда его внимание обострилось, он видит, что слова эти что-то значат. И вот наконец он – а он – это вы – по-настоящему слушает, по-настоящему, всеми чувствами и во всех подробностях, воспринимает этот документ, пришедший из глубины веков, – этот Манифест Жалоб и Требований. Едва вы вникнете хотя бы в два-три пункта этого перечня, как у вас вырывается изумленное восклицание: «Возможно ли, что эти люди лишены столь необходимых и элементарных условий существования и должны за них бороться? Лишены их уже долгие века, а баловни нашего мира не знали об этом, – или знали, но не хотели замечать, мирились с таким позором, с такой бесчеловечностью?» И рождается мысль: как это страшно! Может ли быть, чтобы голодный младенец тянулся к материнской груди, требуя того, что предназначила ему природа, а материнское сердце осталось бы глухо или мать знала бы, что ребенок голоден, и равнодушно отвернулась бы от него?

Прочитайте этот манифест, прочитайте без предубеждения и задумайтесь над ним. Некоторым из нас здесь предьявлено обвинение в измене законному владыке мира. Обвинительный акт составлен компетентными лицами, и близок час, когда мы предстанем перед судом республики. И мы услышим в обвинении такие пункты, которые не в силах будем оспорить.

Много раз мне случалось видеть, как бьют лошадь, и я глубоко сожалел, что не знаю лошадиного языка и не могу шепнуть: «Дурачина, ты же сильнее! Ударь его копытами!» Миллионы трудящихся во все века были теми же лошадьми — *были* ими. Чтобы стать хозяевами положения, им нужен был искусный вождь, который собрал бы воедино их силу и научил их, как ею пользоваться. Теперь они обрели этого вождя и стали хозяевами положения; впервые в этом мире порфиру надел подлинный властелин, впервые слова «король божьей милостью» перестали быть ложью.

Нам нечего бояться этого короля. Все короли, какие до сих пор правили в мире, сочувствовали и покровительствовали кликам, классам и кланам раззолоченных бездельников, ловких казнокрадов, неутомимых интриганов, возмутителей общественного спокойствия, думающих только о своей выгоде. Но этот король — прирожденный враг тех, кто интригует и говорит красивые слова, но не работает. Он будет нам надежной защитой против социалистов, анархистов, против бродяг и корыстных агитаторов, ратующих за «реформы», которые дали бы им кусок хлеба и известность за счет честных людей. Он будет нам прибежищем и защитой против них и против всех видов политической хвори, заразы и смерти.

Как он использует свою власть? Сначала — *для угнетения*. Ибо он не более добродетелен, чем те, кто властвовал до него, и не хочет вводить никого в заблуждение. Разница лишь в том, что он будет угнетать меньшинство, а те угнетали большинство; он будет угнетать тысячи, а те угнетали миллионы. Но он никого не будет бросать в тюрьмы, никого не будет бить плетью, пытать, сжигать на кострах и ссылать, не будет заставлять своих подданных работать по восемнадцать часов в день и не будет морить голодом их семьи. Он позаботится о том, чтобы все было справедливо — справедливый рабочий день, справедливая заработная плата. И будем надеяться, будем верить, что, когда власть его будет признана, а сила крепко собрана в кулак, он дальше этого не пойдет. Какое-то время, пока не соберется в его цитадели весь гарнизон и не укрепится его престол, он будет требователен, тверд, порою жесток — по необходимости. На это время наберемся терпения.

Ждать осталось недолго, уже близится срок. Воинство его строится, готовое выступить в поход. Трубы играют сбор. Каждую неделю десять тысяч новых бойцов вступают в ряды, и их шаг вливается в громовый ритм марширующих батальонов.

Он — самое ошеломляющее порождение самой высокой цивилизации нашего мира, и лучшее, и достойнейшее. Только наше столетие, только наша страна, только наш уровень цивилизации могли породить его. Подлинные жизненные знания, которыми он владеет, — а только знания дают божественное право на власть — результат полученного им опыта, в сравнении с которым образованность королей и аристократии,

веками правивших и м, — детский лепет, не стоящий внимания. Сумма его познаний, собранных из тысячи недавно родившихся новейших профессий со всеми их подразделениями, требующих напряженной, точной, сложной работы, физической и умственной, от миллионов людей, — эта сумма познаний так огромна, что по сравнению с ней сумма всех человеческих познаний в любую предшествующую эпоху, вплоть до рождения старейшего из тех, кто здесь присутствует, — все равно что пруд по сравнению с океаном или холмик по сравнению с Альпами. Это знания, рядом с которыми вся образованность прежних времен кажется темнотой и невежеством. Или еще так: вот расстилается равнина, еле видная при свете звезд, — а вот та же равнина, залитая солнцем, во всем разнообразии цветущей природы, оттенков и красок. Без знаний рабочий человек оставался бы тем, чем был прежде, — рабом. Получив знания, он стал властелином. Долго и тяжел был его путь. Созвездия в небе, видевшие его рождение, далеко уплыли от своих причалов. Но наконец он пришел. Пришел и останется здесь. Он — величайшее явление величайшей эпохи из всех, которые переживало человечество. Не пытайтесь над ним издеваться — это время прошло. Перед ним стоит самая благородная задача, какая только выпадала на долю человека, и он выполнит ее. Да, он пришел. И теперь не задашь вопрос, который задавали тысячелетиями: как же нам поступить с ним? Впервые в истории человечества нас никто не приглашает в руководители. На этот раз перед нами не брешь в плотине — перед нами разлившийся поток!

У ГРОБНИЦЫ СВЯТОГО ВАГНЕРА

Байрейт, 2 августа 1891

В Нюрнберге на нас обрушилась лавина помешанных на музыке путешественников, катящаяся по направлению к Байрейту. Давно мы не видели такого множества одержимых. Добрых полчаса ушло на то, чтобы усадить их всех в поезд — самый длинный из виденных нами в Европе. Недели две уже Нюрнберг дважды в день проходит через такие испытания. Они дают впечатляющее представление о размахе повторяющегося каждые два года паломничества. Да, это именно паломничество. Верующие со всех концов земли приезжают поклониться своему пророку в его Мекку.

Если вы живете в Нью-Йорке, Сан-Франциско, или Чикаго, или еще где-нибудь в Америке и в середине мая решите, что хорошо бы через два с половиной месяца попасть в оперу в Байрейте, то нужно срочно телеграфировать об этом, иначе билетов не достать; к тому же нужно забронировать жилье. Сделав это, в случае везения вы можете рассчитывать на места в последнем ряду и жилье на окраине города. Если вы промедли-

те еще хотя бы неделю, вам не достанется ничего. Когда мы проезжали Нюрнберг, там была масса народа, отправившегося в паломничество, не позаботясь о билетах и жилье. Всем им не досталось ни того, ни другого; побродив печально по улицам Байрейта, они направились в Нюрнберг, но и там не нашли ни постелей, ни даже стоячих мест, и им пришлось всю ночь бродить по запутанным улочкам Нюрнберга в ожидании, когда гостиницы откроются, а их постояльцы отправятся к поездам, освобождая тем самым место для своих обездоленных братьев и сестер по вере. Эти обездоленные выдержали от тридцати до сорока часов железнодорожного путешествия по Европе со всеми его прелестями: неудобством, усталостью, бешеными денежными расходами, и все, что они получили, — да и все, на что они могли рассчитывать, — это возможность поупражняться в искусстве рвать на себе волосы, обивая пороги на окраинных улочках обоих городов, когда другие были уже в постели; в результате они были обречены на проделывание всего немиссионерского обратного пути, так и не исполнив своей священной миссии. Эти отверженные имели такой же неопрятный, запущенный и жалкий вид, какой бывает у мокрой кошки; их глаза выражали лишь апатию, да и сами они были какими-то поникшими; отзвучившие люди старались не спрашивать их, верно ли, что они были в Байрейте и потерпели неудачу, зная, что те будут в ответ лгать.

Мы прибыли сюда (в Байрейт) во второй половине дождливого субботнего дня. Мы были из числа дальновидных и позаботились о жилье и билетах в оперу еще несколько месяцев назад.

Я не музыкальный критик и приехал сюда не для того, чтобы писать об операх и обсуждать их достоинства. Байрейтские дети могут сделать это с большим умением и знанием дела, чем я. Я всего лишь привез на спектакли несколько паломников, способных оценить их и наслаждаться ими. Все, что я, заполняя свободное время, пишу о спектаклях, предлагается публике в качестве наблюдений профана, ни в коей мере не претендующего на поучение.

Назавтра, в воскресенье, во второй половине дня мы отправились в оперный театр — храм Вагнера. Огромное здание театра одиноко стоит на возвышении за пределами города. Нас предупредили, что, если мы приедем после четырех часов, нам придется заплатить штраф по два с половиной доллара с человека. Мы избежали этого; следует отметить, что в Европе это единственная возможность экономить деньги. На площадке у здания театра собралась большая толпа, и платья женщин отлично выглядели на солнце. Я не хочу сказать, что женщины были разодеты в пух и прах, поскольку это не так. Наряды выглядели прелестно, но они не были вечерними ни у женщин, ни у мужчин.

Интерьер здания театра прост до чрезвычайности, но в

красках и украшениях нет нужды, ибо публика сидит в темноте. Зрительный зал имеет форму замкового камня со сценой в узком конце. С каждой стороны имеется по проходу, в середине же прохода нет. Каждый ряд кресел простирается сплошной дугой от одного края до другого. С каждой стороны имеется по семь входных дверей, да четыре двери с торца; итого восемнадцать для того, чтобы впускать и выпускать 1650 человек. Номер двери, через которую вы должны войти в театр и выйти из него, напечатан на билете, и вы не можете использовать другую дверь. Благодаря этому исключены столкновения и пробки. Каждая дверь обслуживает не более ста человек. Это лучше, чем заниматься столь обычной (и бесполезной) разработкой противопожарных мер. Это самый образцовый театр в мире. Он может быть освобожден от людей в течение одного оборота секундной стрелки. Он совсем не пострадал бы, даже если был построен из спичек.

Если ваше место близко к середине ряда, и вы опаздываете, для того чтобы попасть на свое место, вам приходится идти вдоль шеренги примерно в двадцать пять человек. Но это не причиняет неудобств, так как все стоят до тех пор, пока весь ряд не будет занят, благодаря чему заполнение осуществляется за несколько минут. Затем все садятся, и плотная масса в полторы тысячи человеческих голов образует скат вроде погребка, тянущийся от тыльной стороны здания до сцены.

Лампы светили слабо, так слабо, что все собрание сидело в глубоком и торжественном мраке. Глухой шелест одежды и слабый гул голосов мгновенно затихли, и не было уже и намека на звук. Эта длящаяся некоторое время полная и все более выразительная тишина — лучшая, какую только можно себе представить, подготовка к музыке, спектаклю или речи. Я склонен думать, что людям сцены у нас в Америке следовало бы давным-давно изобрести или заимствовать этот простой и действенный способ привлечения и сохранения внимания публики; вместо этого они до сего дня продолжают открывать представления ужасным состязанием в шуме и неразберихе.

Наконец, издалека, из темноты и тайны над тишиной поплыли мягкие, яркие звуки, и мертвый волшебник начал из могилы опутывать своих поклонников чарами и наполнять их души неземным блаженством. Возникло странное ощущение, сильное и чрезвычайно впечатляющее, будто композитор, лежа в могиле, знает о том, что происходит здесь, и эти божественные звуки таят в себе его мысли — не те, высказанные и хорошо известные, которые он вынашивал в прошлом, а те, что в данную минуту проносятся у него в голове.

Вся длинная увертюра игралась в темноте и с опущенным занавесом. Она была исключительна, она была восхитительна. Но сразу после нее, разумеется, началось пение, а мне представляется, что нельзя сделать ничего лучше для того, чтобы опера Вагнера воспринималась неискушенными как нечто абсолютно

совершенное, как исключить из нее все вокальные партии. Я бы хотел когда-нибудь увидеть оперу Вагнера в пантомиме. Там можно будет без помех слушать чудесную оркестровую музыку, погружаться в нее с головой, охмелять взор великолепием декораций; немое действие не сможет испортить это наслаждение, потому что в операх Вагнера нечасто происходит то, что можно было бы действительно назвать столь сильным словом, как «действие»; как правило, все, что вы будете видеть, — это двое молчащих людей, один из которых стоит неподвижно, а другой ловит мух. Разумеется, я не имею в виду, что он на самом деле будет ловить мух; я имею в виду ту обычную оперную жестикаляцию, которая заключается в поочередном выбрасывании вверх то одной, то другой руки и которая, если играющий занимается исключительно делом и не издает никаких звуков, напоминает занятие, которое я упомянул.

В этот вечер давали «Парсифаля». Мадам Вагнер не позволяет ставить эту оперу нигде, кроме Байрейта. Первый из трех актов длился два часа, и я, даже несмотря на пение, получил удовольствие.

Как и все прочие, я знаю, что пение стоит в числе самых удивительных, зачаровывающих, трогающих и выразительных средств, изобретенных человеком для передачи чувств; но мне кажется, что главной силой пения является мелодия, мотив, гармония, ритм — можно как угодно назвать это, — и если эта составная часть отсутствует, то все остальное подобно картине без красок. Я был не в состоянии обнаружить в вокальных партиях «Парсифаля» ничего, что можно было бы с уверенностью назвать ритмом, мотивом или мелодией; одна за другой следуют сольные партии — каждый певец поет подолгу, часто прекрасным и всегда громким голосом; но он всего лишь тянет долгие ноты, потом дает несколько коротких, потом опять долгую, затем один-два острых, резких повелительных выкрика, и так далее, и так далее; а когда он кончает, вы понимаете, что сообщенная им информация не компенсировала причиненного им же беспокойства. Не всегда, но очень уж часто. Если бы хоть изредка голоса соединялись в дуэт... Но нет, этого не бывает. Великий мастер, который так превосходно умел заставить сотню инструментов слиться в единстве и изливать свои души в мелодичном потоке чарующих звуков, в своих вокальных партиях использует лишь унылое солирование. Возможно, дело в том, что он был глубок настолько, что включил в свои оперы пение лишь ради того контраста, который оно составляет с музыкой. Пение! В данном случае это кажется совсем не подходящим словом. Строго говоря, все это — в основном упражнение в трудных и неблагозвучных интервалах. Неподготовленный человек устает от слушания бесконечных вокальных упражнений, какими бы приятными они ни были. В «Парсифале» есть отшельник по имени Гурнеманц, который стоит на сцене на одном месте и упражняется так долго, будто должен

отработать определенное время, тогда как сначала один, а потом другой персонаж пытаются выдержать это столько, сколько могут, и в конце концов умирают.

Спектакль имел два антракта — один в три четверти часа, после первого акта, и другой, часовой, после второго. В обоих случаях в здании не оставалось ни единого человека. Люди, заранее заказавшие себе столики в единственном ресторане, могли провести время с пользой; тысяча остальных ушли голодными. Спектакль кончился в одиннадцать вечера или чуть позже. К моменту, когда мы вернулись домой, с нашего ухода прошло уже более семи часов. Семь часов, и всего пять долларов за билет — не слишком ли много за такие деньги?

В перерывах, бродя по двору среди толпы, я встретил десятка полтора друзей из разных концов Америки, и те из них, которые особенно хорошо знают Вагнера, говорили, что «Парсифаль» мало кому нравится с первого раза, но прослушавший его несколько раз почти наверняка его полюбит. В это верилось с трудом, но это правда, потому что так говорили люди, чьи слова не подлежат сомнению.

Я получил и более подробные сведения. Я подобрал на земле обрывок немецкого музыкального журнала, в котором было напечатано письмо, написанное тридцать три года назад Уликом, где он защищает презираемого и затравленного Вагнера от таких, как я, недовольных полным отсутствием того, что они привыкли считать пением. По словам Улика, Вагнер презирал *Jene plapperude musik*¹ и потому «отказывался от пассажей, трелей и *Schnötkel*». Я не знаю, что такое *Schnötkel*, но теперь понял, что именно этого мне до такой степени не хватало всю мою жизнь. Дальше Улик говорит, что у Вагнера как раз настоящее пение, то есть «просто подчеркнуто напевная речь». Да, это все действительно объясняет дело — касательно «Парсифаля» и некоторых Других опер; а если я правильно понял довольно сложный немецкий язык Улика, он «извиняется» за слишком уж прекрасные арии из «Тангейзера». Что ж, чудесно, теперь мы с Вагнером понимаем друг друга; наверное, дальше мы будем лучше ладить, и я перестану звать его на американский манер «Уэгнер», а буду звать в соответствии с немецким обычаем «Вагнер», ибо с этого момента я отношусь к нему безоговорочно благосклонно. С той самой минуты, как мы примиряемся с человеком, с какой готовностью стремимся мы покончить с ненужной привычкой и произносить его имя правильно!

Разумеется, я пришел домой, с удивлением думая о том, зачем люди со всех концов Америки приезжают сюда слушать эти оперы, когда совсем недавно в течение сезона или двух они шли в Нью-Йорке с теми же самыми певцами в некоторых

¹ Эту пустозвонную музыку (нем.).

² Виньетки (нем.).

партиях, а возможно, и с тем же самым оркестром. Я решил понять это во что бы то ни стало.

Вторник. — Вчера давали единственную оперу, которую я люблю, — оперу, которая всегда, когда бы я ее ни слышал, сводила меня с ума от неопишуемого наслаждения, — «Тангейзер». Первый раз я слышал ее, когда был юношей; последний раз я слушал ее в последний сезон немецкой музыки в Нью-Йорке. Вчера я был занят и не собирался идти в оперу, зная, что через несколько дней у меня будет еще одна возможность послушать «Тангейзера»; но после пяти часов я оказался свободен, направился пешком к театру и пришел туда к началу второго акта. Мой билет позволил мне подойти прямо к зданию, минуя полицейский кордон, и я решил, что посижу на скамейке час-другой и подожду третьего акта.

Почти тут же раздался первый звук горнов, и толпа начала рассасываться и просачиваться в театр. Я объясню, почему этот сигнал горнов является одной из самых привлекательных здешних особенностей. Дело в том, что театр пуст, и сотни зрителей находятся довольно далеко от него, в ресторане; первый сигнал горнов подается примерно за четверть часа до того, как поднимется занавес. Группа горнистов в форме выходит военным шагом и оглашает окрестности несколькими тактами из темы будущего акта, наполняя пространство дивными звуками; после этого они маршируют к другому входу и все повторяется сначала. Через некоторое время они вновь проделывают то же самое. Вчера, когда раздался второй сигнал, лишь около двухсот человек оставались на улице перед зданием; через минуту они все уже должны были быть внутри, но тут произошло нечто такое, что их задержало, — я полагаю, единственная вещь в мире, способная их задержать, — на балконе появилась принцесса из императорской фамилии. Все остановилось как вкопанные и воззрились на нее, оцепенев от благоговения и восторга. Принцесса быстро поняла, что она должна исчезнуть, дабы ее восторженные почитатели не оказались перед закрытыми дверями, и вернулась в свою ложу. Эта невестка императора хороша собой; у нее приятное лицо, она просто держится; известно, что она полна обычных человеческих чувств. Принцессы бывают самыми разными; но этот тип — самый вредный из всех, потому что везде, где они появляются, они примиряют людей с монархией, толкая тем самым колесо прогресса вспять. Полезные принцы, нужные принцы — это тираны. Самим фактом своего существования они делают смехотворными все доводы в пользу монархии, изобретенные самыми изворотливыми казуистами. Полезным в свое время был муж этой принцессы. Он вел жизнь подонка, покончил с собой при каких-то отвратительных обстоятельствах и был похоронен, словно бог.

В здании театра, позади зрительного зала, есть длинная открытая галерея, где развешены портреты принцев. Это

алтарь – святая святых. Когда вход публики в театр подходит к концу, стоящие поворачиваются и обращают свои взоры к выставке принцев и безмолвно, сосредоточенно, с обожанием и сожалением глядят на них, подобно тому, как грешники глядят на небеса. Они превращаются в восторженных невменяемых людей, упивающихся священнодействием. Нигде в мире нет более трогательного зрелища. Чтобы увидеть это, стоит пересечь множество океанов. Это не тот взгляд, которым взирают на Виктора Гюго, на Ниагарский водопад, на кости мастодонта, на гильотину, на пирамиды, на курящийся вдали Везувий, на небо, на человека, известного своими дарованиями и достижениями, или на предмет, прославленный книгами и картинами, – нет, это взгляд напряженного любопытства, интереса, удивления, побуждающего пить любимый предмет сладкими, глубокими глотками, испытывая удовольствие от того, как напиток разливается по телу, пытаюсь успокоить и утолить жажду, не исчезающую до самой смерти. Утоление – вот самое подходящее слово. После первой встречи и Гюго, и мастодонт по-прежнему будут вызывать довольно сильный интерес, но он не идет в сравнение с экстазом первых секунд. Интерес к принцам совсем другой. Может быть, это зависть, может быть, поклонение; без сомнения, тут есть и то, и другое – и жажда не только не утоляется первым глотком, но даже и не уменьшается сколько-нибудь заметно. Наверное, суть в той ценности, которую имеет для человека полезная вещь, обретенная случайно, а не заслуженно. Доллар, подобранный на дороге, приносит вам больше радости, чем сотня, за которую нужно работать, и деньги, выигранные в карты, милее вашему сердцу. Принц получает величие, власть, вечный праздник и бесплатное содержание по чистой случайности – случайности рождения, – и он всегда предстает пред печальным взором бедности и безвестности величественным воплощением удачи. Наконец – и это важнее всего, – его положение есть единственное высокое положение на земле, которое незыблемо. Предприниматель-миллионер может стать нищим; видный государственный деятель может совершить роковую ошибку, погубить свою карьеру и оказаться в забвении; славный полководец может проиграть решающую битву и потерять уважение людей; но однажды ставший принцем навсегда останется принцем – живым подобием бога, – и ни отсутствие везения, ни отвратительный характер, ни пустая голова, ни идиотские речи не могут лишить его божественного ореола. Во все времена у всех народов самым важным считался почет среди людей, вне зависимости от того, заслужен он или нет. Из этого, без сомнения, следует, что самое завидное положение – у принцев. Из этого, я полагаю, также следует, что так называемая узурпация, примерами которой заполнена вся история, является самым извинительным проступком, который только может совершить человек. Узурпировать узурпацию – пот к чему все это сводится, не так ли?

Для нас, американцев, принцы, конечно, не то, что для европейцев. Нас не учили относиться к ним, как к богам; поэтому нам достаточно один раз хорошенько рассмотреть принца, дабы удовлетворить любопытство настолько, чтобы он перестал быть предметом большого интереса. Для нас интересен только другой, новый принц. Для европейца это не так. Я совершенно в этом уверен. Европейца устроит и уже виденный принц, он для него не устаревает. Восемнадцать лет назад я был в Лондоне и однажды в холодный, туманный и мрачный декабрьский день пришел в дом к одному англичанину, чтобы, как мы договорились, навестить его жену и замужнюю дочь. Я прождал полчаса, пока они не явились, совсем замерзшие. Они объяснили, что задержались из-за непредвиденного обстоятельства: проходя неподалеку от Мальборо-Хаус, они увидели стекающую толпу и услышали, что вот-вот должен проехать принц Уэльский; поэтому они остановились, чтобы взглянуть на него. Полчаса они ждали на тротуаре, коченея вместе с толпой, но в конце концов их постигло разочарование: принц изменил свои планы. Я спросил с большим удивлением: «Возможно ли, чтобы вы обе, прожив всю свою жизнь в Лондоне, ни разу не видели принца Уэльского?»

Видимо, настала их очередь удивляться, потому что они воскликнули: «Что за странная мысль! Да мы видели его сотни раз!»

Они видели его сотни раз и все же прождали полчаса в темноте и на страшном морозе посреди столпотворения таких же сумасшедших в надежде увидеть его еще раз. Это ошеломило меня, но англичанам приходится верить, даже когда они говорят подобные вещи. Я стал подыскивать ответ и нашел такой:

«Совершенно этого не понимаю. Если бы я никогда не видел генерала Гранта, то не стал бы столько ждать даже ради него». (И сделал слабое ударение на последнем слове.)

Их недоумевающие лица показали, что они селятся понять, какая здесь может быть параллель. Затем они сказали уныло: «Да, конечно. Он же всего-навсего президент».

Не подлежит сомнению, что принц является объектом постоянного интереса, причем интереса неослабевающего. Полководец, не потерпевший ни одного поражения, никогда не державший военного совета, единственный полководец, командовавший непрерывным фронтом протяженностью в тысячу двести миль, кузнец, сплавивший воедино разорванные части великой республики и воссоздавший ее такой, какой она, по-видимому, переживет все существующие и будущие монархии, не представляется этим людям сколько-нибудь важной фигурой. Для них, с их воспитанием, этот мой генерал — всего лишь человек, тогда как их принц, безусловно, нечто большее: существо совершенно иной породы, имеющее не больше кровного родства с людьми, чем холодное вечное сияние звезд — с

бедными, убогими сальными свечками, которые шипят и гаснут, не оставляя после себя ничего, кроме шепотки пепла да вони.

Я посмотрел последний акт «Тангейзера». Сидя в темноте и мертвой тишине, я ждал – одну минуту, две, точно не знаю, сколько, – пока мягкие звуки невидимого оркестра не полились густыми, долгими выдохами с отдаленной сцены, а занавес потихоньку не распался посредине на две части и не раздвинулся, открыв сумрачный лес и придорожное надгробие, возле которого молилась девушка в белом, а рядом с ней стоял мужчина. Тут же послышался постепенно приближающийся чудесный хор мужских голосов, и с этого момента до того, как занавес опустился, была музыка, просто музыка – музыка, которая опьяняет, дарит наслаждение; музыка, которая может заставить взять суму и посох и брести через весь земной шар, чтобы только ее услышать.

Тем, кто решит приехать сюда в вагнеровский сезон на будущий год, я хочу посоветовать взять с собой кухонную утварь. Если вы так поступите, вы не перестанете радоваться. Если же вы этого не сделаете, вам придется вести в Байрейте трудную битву, чтобы не умереть с голоду. Байрейт всего лишь большая деревня, где нет крупных отелей и ресторанов. Главные гостиницы называются «Золотой якорь» и «Солнце». В каждой из них можно отлично поесть – вернее, посмотреть, как едят другие. Это удовольствие вы получаете бесплатно. В городе имеются рестораны, но они маленькие, плохие и забиты клиентами. Столик нужно заказывать за несколько часов, но и тут вы не можете быть уверены, что он не будет занят, когда вы придете. С нами такое случалось. Мы ежедневно вели борьбу за существование – когда я говорю «мы», я имею в виду массу людей. У меня такое впечатление, что единственные счастливицы, которым здесь сражаться не приходится, – это ветераны поклонения Вагнеру, ранее уже побывавшие здесь и потому хорошо во всем ориентирующиеся. Я думаю, они приезжают примерно за неделю до первого спектакля и занимают столики на весь сезон. Наша компания бывала в самых разных местах – в том числе и за городом, в миле или двух, – и всегда нам доставались только крохи и обьедки; ни разу у нас не было полного и сытного обеда. Но, вы думаете, хоть эти обьедки удобоваримы? Увы! Эти обьедки будут служить напоминанием о Байрейте, и в этом смысле их ценность не может быть преувеличена. Фотография может поблекнуть, безделушка может потеряться, бюст Вагнера может разбиться, но когда-либо проглотивший пищу в байрейтском ресторане будет носить ее в себе до гробовой доски. Некоторые из здешних паломников становятся настоящими складами сувениров Байрейта. Ученые считают, что, если исследовать желудок мертвого байрейтского пилигрима в любой точке земли, сразу будет понятно, откуда он возвратился. Но я люблю этот балласт. Думаю, что содержимое известного укромного места в восемь часов вечера, когда все

голодающие уже побывали там, — самая постоянная часть багажа вашей утробы.

Четверг. Театр располагает двумя составами исполнителей для основных ролей, и в одном из них — самые знаменитые в мире артисты, в том числе Матерна и Альвари. Я думаю, двойной состав совершенно необходим; один состав, вне всякого сомнения, через неделю умер бы от истощения, ибо спектакли длятся с четырех до десяти вечера. Почти вся работа ложится на плечи пяти-шести основных певцов, и кажется, что они обязались за получаемые деньги выдавать максимальный шум, на который способны. Даже если они испытывают мягкие, деликатные, таинственные чувства, они все равно обязаны раскрыться и дать публике знать об этом. Оперы идут только по воскресеньям, понедельникам, средам и четвергам, при трех днях отдыха в неделю, при двух составах на четыре оперы; дни мнимого отдыха, однако, используются преимущественно на репетиции. Говорят, что в эти дни репетиции начинаются утром и длятся до десяти вечера. Может быть, и оркестра тоже два? Вполне вероятно, потому что список его участников содержит сто десять имен.

Вчера давали «Тристана и Изольду». Я видывал самую разную публику — в театрах, в опере, в концертах, на лекциях, на богослужениях, на похоронах, — но никогда не встречал такого напряженного и благоговейного внимания, как у публики, слушающей Вагнера в Байрейте. Это внимание абсолютное, неослабевающее, сохраняющееся от начала до конца. В единой массе голов и плеч нельзя заметить ни малейшего движения. Впечатление такое, будто вы окружены мертвецами во мраке могилы. Вы знаете, что они растроганы до глубины души, что в какие-то моменты им хочется вскочить, махать платочками и выкрикивать слова одобрения, а временами их лица покрывают слезы, и какое было бы облегчение дать выход в рыданиях своим сдерживаемым эмоциям; однако вы не слышите ни звука до тех пор, пока не сомкнется занавес и не растают заключительные звуки музыки; тогда мертвые поднимаются в едином порыве и сотрясают здание своими аплодисментами. В первом акте заняты все места: нет ни одного свободного места и во время последнего акта. Если человек захочет обратить на себя внимание, ему стоит приехать сюда и выйти из зала в середине акта. Это сделает его знаменитым.

Из всего, что я когда-либо видел и читал, эту публику можно сравнить лишь с городом из арабской сказки, где все жители окаменели и путешественник через века обнаружил их немymi и неподвижными, в тех же позах, в каких они застыли в роковую минуту. Здесь слушатели Вагнера одеваются, как им захочется, сидят в темноте и молча предаются восторгом поклонения. В театре «Метрополитен» в Нью-Йорке публика сидит в ослепительном свете, облачившись в самые кричащие наряды, напевает мелодии, шуршит веерами, хихикает и без

умолку болтает. В некоторых ложах разговоры и смех звучат так громко, словно сидящие там стремятся завладеть вниманием публики наравне с исполнителями. В известном смысле «Метрополитен» – витрина для богатой фешенебельной публики, которая не умеет слушать Вагнера и не испытывает почтения к его музыке, но которой правится покровительствовать искусствам и демонстрировать свой гардероб.

Приемлема ли такая атмосфера для человека, в котором эта музыка рождает нечто вроде божественного экстаза, а сам ее создатель представляется божеством, сцена – храмом, творения его мозга и рук – священными, а восприятие их – таинством? Разумеется, нет. Этим, видимо, и объясняется добровольное изгнание из собственной страны и утомительное путешествие через океаны и континенты ради паломничества в Байреит. Эти почитатели предпочитают поклоняться своему кумиру в атмосфере благоговения. И только здесь они могут найти такую атмосферу, не запятнанную никакой мирской грязью. В этом отдаленном уголке не на что больше смотреть, здесь нет газеты, которая обрушивала бы на читателей заботы далекого мира, здесь ничего не происходит, здесь всегда воскресенье. Паломник направляется за город к своему храму, отсиживает волнуящую службу, возвращается в постель с сердцем, душой и телом, утомленными долгими часами глубоких переживаний, совершенно не способный ни к чему, лишь только лежать без сил, постепенно накапливая их для следующего богослужения. Вчерашняя опера «Тристан и Изольда» потрясла каждого, кто принадлежит к вагнеровской вере, и многие говорили, что после спектакля не могли заснуть и проплакали всю ночь. Я ощущаю себя здесь в высшей степени не на месте. Иногда я чувствую себя, как нормальный человек среди сумасшедших, иногда – как слепой среди зрячих, иногда – как дикарь среди грамотных, а во время спектакля неизменно чувствую себя еретиком на небе.

Но, безусловно, я отдаю себе отчет в том, что все это – одно из самых удивительных событий в моей жизни. Я никогда ничего такого раньше не видел. Я никогда не видел ничего столь великого, замечательного и настоящего, как это поклонение.

Пятница. Вчера снова давали «Парсифаля». Мои друзья пошли и выказали заметное потепление в оценке; я же направился искать следы маркграфини Вильгельмины, автора неувядающих «Мемуаров». Я чрезвычайно благодарен ей за ее, пусть невольную, сатиру на монархию и аристократию, и поэтому все, чего касалась ее рука и на что смотрели ее глаза, мне не безразлично. Я – ее пилигрим; все же остальные здесь – пилигримы Вагнера.

Вторник. Я посмотрел две своих последних оперы: мой сезон окончился, и завтра днем мы отправляемся в Богемию. Я полагал, что мое музыкальное образование завершено, поскольку

ку я получил удовольствие от обеих этих опер, в том числе и от пения, тем более что одной из них был «Парсифаль»; но эксперты разочаровали меня. Они сказали:

– Пение! Это было не пение; это были завывания, хрипы третьестепенных бездарей, которых нам подсунили ради экономии.

Что ж, пришлось признать, что опять со мной случилось то, что случается всегда, когда дело касается искусства. Если какое-то произведение мне нравится, значит, оно совершенно убого. Только благодаря внутреннему осознанию этого обстоятельства я не лопнул от энтузиазма, слушая эту оперу. Однако моя низменная природа иногда оказывает мне услугу: я был единственным из трех с половиной тысяч, кто недаром потратил деньги на эти две оперы.

МАРИЕНБАД — ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ

Мариенбад, Богемия. Вроде бы не так далеко от Аннеси, что в Верхней Савойе, — континентальный экспресс проделывает этот путь меньше, чем за тридцать часов, — но изменения в ландшафте огромны; они совершенно не пропорциональны расстоянию. От Аннеси до Женевы тянутся голубые озера, окруженные крутыми горами, далеко над горизонтом видны снежные пустыни, а вокруг вас цветет сад, кажущийся пределом изящества и красоты, — он не довольствуется удобными плоскими долинами и упрямо лезет вверх по крутому подъему, цепляясь за камни и попирая законы Ньютона. После Женевы — уж во всяком случае, после Лозанны — пейзаж некоторое время довольно сильно напоминает Новую Англию; он выглядит здесь как-то неуместно и кажется незванным гостем, явившимся в обычном костюме на маскарад. Но вот уже справа вырастают огромные зеленые бастионы гор, и вы на несколько часов погружаетесь в созерцание их гранитных очертаний и в ошеломлении понимаете только, что Новая Англия уже позади и что теперь вы пролетаете мимо неописуемо причудливых старинных городов и башен. На следующий день вы видите Цюрихское озеро; и вот уже Рейн катит перед вами свои волны. Как он чист! Как прозрачен! Какой он голубой! Какой зеленый! Как быстро, резво и дерзновенно он движется! Как живы и очаровательны его краски — изумительная мешанина из всех мыльных пузырей вселенной! Родившийся на Рейне должен боготворить его.

И увидел я Рейн, и сейчас же во мне зазвенели
Звуки песен немецких, что хором так чисто мы пели¹.

¹ Цитата из стихотворения «Bingen on the Rhine» английской поэтессы Каролины Нортон (1808–1877).

Да, здесь, и только здесь, было сердце «солдата легиона», который «лежал, умирая, в Алжире», и его последние мысли неслись сюда.

И вот вы уже в Германии, и находите существенные отличия этой местности от оставленной позади Швейцарии. Зеленая земля, словно зыбь океана, уходит к горизонту. И еще одна новая черта: на этом океане, точно острова, раскиданы похожие на стога сена холмы высотой в две-три сотни футов, вырастающие прямо из зеленой равнины и до самых вершин покрытые сплошным лесом. На вершине как раз достаточно места для разрушенного замка, и, конечно, без него не обходится: всякий раз в высоте возникают очертания развалившихся арок и превратившихся в руины башен.

На следующий день, после Штутгарта, картина меняется снова. Пока вы приближаетесь к Нюрнбергу, а потом удаляетесь от него, пока вы едете в направлении Нейхауса, местность заполнена одинокой, покрытыми травой и кустами каменными утесами, остротой своих уступов напоминающими башни. Там и сям попадаются небольшие ущелья с обрывистыми стенами, причудливо разрисованными и источенными не знаю чем... впрочем, без сомнения, водой.

Перемены, однако, этим не исчерпываются, ибо как только земля обнаруживает, что она уже не в Вюртемберге, а в Баварии, она тут же сбрасывает, как одежду, еще один слой почвы, и на костях не остается ничего, кроме белья. Может быть, где-нибудь есть еще более скудная почва, но вряд ли.

Через пару часов после Байрейта вы попадаете в Богемию, очень скоро достигаете этого самого Мариенбада и обнаруживаете еще одну значительную перемену — переход от давнего прошлого к сегодняшнему дню, то есть от старины к последнему слову моды; от архитектуры, напрочь лишенной симметрии и украшений, к архитектуре, весьма привлекательно использующей и то, и другое; от унылой бесцветности к максимальной яркости и великолепию оттенков; от городов, которые, как кажется, состоят из одних тюрем, к городам, состоящим из простеньких изящных особняков, подходящих для безгрешных людей с чистым сердцем. Это все равно что перенестись из Иерусалима в Чикаго.

Чем больше я думаю обо всех этих изменениях, тем больше меня все это поражает. Мне никогда раньше не приходилось путешествовать по столь живописным местам, и нигде в мире нельзя представить себе равного по длине пути, который был бы обставлен столь разнообразно, да к тому же так очаровательно и интересно.

В этом уютном местечке, затерянном среди покрытых болиголовом холмов, всего две-три улицы, но зато как они красивы! Когда вы стоите у нижнего края улицы и скользите взглядом вверх, вы видите только бревенчатые фасады изящной формы, с красивыми ломаными линиями и приятными на вид

выступами «фонарей» и балконов в упорядоченном беспорядке и гармонической путанице; все это свежего и бодрящего цвета — различных оттенков кремового с мягко контрастирующими вкраплениями белого, иногда разбавленного тускло-красным. У домов толстые стены, дома крепки, массивны и высоки для Европы; впрочем, это самый яркий и новый на вид городок на континенте, красивый настолько, насколько можно пожелать. Прямо от задних дверей ввысь поднимаются крутые холмы, до самых вершин покрытые болиголовом.

В Баварии все носят униформу, и не найти ни одного частного лица; здесь же, в Богемии, люди в униформе попадаются редко. Изредка промелькнет австрийский офицер, но только изредка. Одетых в форму так мало, что кажется, будто вы в республике. Выделяются, пожалуй, только польские евреи. Их очень много. Они высоки ростом, очень мрачны и носят доходящие до щиколоток пальто; возле ушей обязательно торчат пейсы. Евреи имеют преуспевающий вид и производят впечатление столь же уважаемых людей, как и остальные.

Толпы, дважды в день прогуливающиеся под музыку, одеты роскошно и по последней парижской моде; люди все страшно похожи друг на друга, но говорят они на множестве никогда не встречавшихся вам раньше языков, и несведущий человек ни за что не сможет правильно написать их имена; да и сами они произносят их с трудом.

«Мариенбад» по-немецки означает «купальня Марии». Имеется в виду Дева Мария. Она — покровительница этих целебных источников. Здесь берутся лечить от всего на свете — от подагры, ревматизма, худобы, ожирения, расстройств желудка и всего остального. Вся эта здравница является собственностью монастыря и существует уже шесть-семь веков. Однако настоящее паломничество сюда началось лишь четверть века назад.

Если у человека подагра, с ним поступают так: поднимают его в половине шестого утра, дают ему яйцо и разрешают взглянуть на чашку чая. В шесть он должен быть у своего специального источника, со стаканом за поясом, — его ждет большая компания. С первым звуком оркестра ему надлежит поднять стакан и вместе с остальными начать пить омерзительную жидкость. Он обязан цедить ее медленно и долго. Потом около часа ему следует бродить по холмам, чтобы проделать максимум физических упражнений и поглотить максимум свежего воздуха. Затем он принимает ванну или, если ему прописаны грязевые ванны, валяется в грязи. К полудню он нагуливает чудесный аппетит, и правила позволяют ему утолить его, если только он будет осмотрителен и позволит себе есть лишь то, чего ему не хочется. Послеполуденное время заполняется хождением по холмам и вдыханием свежего воздуха. Вечером ему разрешается проглотить три унции любой пищи, которую он не любит, и выпить стакан любой жидкости, против которой он имеет предубеждение; если он некурящий, он также может

выкурить одну трубку. Ровно в половине десятого он должен быть в постели и погасить свет. На следующий день все повторяется сначала. Я не вижу никакого преимущества такой жизни перед подагрой.

Для большинства болезней все определяется тем, что должно быть преодолено, и если у вас есть какая-нибудь приятная и дорогая вам привычка, ею тут и займутся в первую очередь. Как раз она-то им нужнее всего. Вас заставят отказаться от всего, что делает для вас жизнь интересной. Основная идея — изменить всю суть вашего существования и произвести переворот возрождения. Если вы республиканец, вас заставят говорить о свободной торговле. Если вы демократ, вам придется говорить о протекционизме; если вы сторонник сухого закона, вам придется до самого выздоровления ежедневно ложиться в постель пьяным. Они не шадят ничего и никого. «Перестройка, перестройка» — вот их вечная песня. Если человек оратор, ему затыкают рот; если он любит читать, ему не дают книг; если он хочет петь, его заставляют свистеть. Они говорят, что могут вылечить любую болезнь, и похоже, что это правда; но зачем тогда больному ехать сюда? Почему нельзя проделать все это дома и сэкономить деньги? Ни одна болезнь не устоит, если с ней обращаться таким образом.

Я приехал сюда не для того, чтобы принимать ванны, а просто поглядеть на все это. Но сперва один, потом другой стали донимать меня намеками, и очень скоро я забеспокоился о своем здоровье. Один из здешних подагриков сказал, что у меня подагрический вид; другой, страдающий катаром кишечника, спросил, не чувствую ли я тупой боли в желудке, когда чихаю. До этого я не чувствовал никакой боли, но тут мне стало казаться, что чувствую. Человек, находящийся здесь из-за болезни сердца, сказал мне, что не смог бы спускаться по лестнице так быстро, как он это делает, если бы у него были мое сложение и мой вид. Некто с цветом лица старого золота сказал, что на прошлой неделе в грязевой ванне умер человек с камнями в печени, очень похожий на меня и с такими же инициалами, и так далее, и так далее.

Конечно, не было ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться, и то, что я чувствовал, нельзя назвать беспокойством; но я начал ощущать себя не вполне здоровым — то есть не очень бодрым — и улегся в постель. Думаю, это была не самая лучшая идея, ибо тут-то они и добрались до меня. Я попал под эту мельницу во время ужина, и пошло-поехало. Говорят, что сейчас у меня все в порядке, что я здоров, но это меня не удивляет. То, что я перенес за эти две недели, может выколотить из человека практически все, что не прибито гвоздями — любой свободно лежащий предмет, всякий не плотно пригнанный кусочек кости, мяса или характера, болезни, склонности, достижения, — да все, что только может прийти в голову. Не скажу, однако, что чувствую себя достаточно хорошо; думаю

только, что чувствую себя лучше, чем если бы я был мертв. Кроме того, они говорят, что я начал поправляться и нахожусь на пути к тому, чтобы быть в полном порядке. Я ничего не отвечаю, но предпочел бы, чтобы вернулись мои болезни, дабы я мог узнать самого себя, и чтобы вернулись мои привычки, дабы стоило жить. Не иметь за собой ничего, не иметь никаких привычек слишком скучно, слишком пресно. Думаю, что так чувствуют себя святые; по крайней мере так они выглядят. Я всегда терпеть не мог святых. Должен в связи с этим заметить, что здесь очень мало священников, хотя, как я уже говорил, все предприятие принадлежит монастырю и управляется им. Те несколько священников, которых можно здесь увидеть, одеты как простые смертные; поэтому, возможно, их здесь больше, чем я воображаю. Пятнадцать одетых таким образом священников не смогут привлечь к себе столько внимания, сколько один священник в Экс-ле-Бен. Нельзя отвести глаз от французского священника, пока он в поле зрения, настолько потрясающе образно его одевание. Вам, должно быть, кажется, что я отклоняюсь от темы, но это не так. Место это, по-видимому, самое холодное, какое я когда-либо видел, да к тому же и самое сырое. Здешний август напоминает мне ноябрь в Англии. Дождь? Ну да, дождь, наверное, любимое занятие здешней природы. Кажется, дождь идет здесь всякую минуту, когда только может. Если же светит солнце, от вас неукоснительно требуют быть на воздухе и делать упражнения: поэтому я ненавижу солнце, ибо ненавижу воздух и упражнения — обязательный воздух и обязательные упражнения, принимаемые как лекарство. Когда они утрачивают неувольнимые духовные качества, которые трудно передать словами — но разве вы меня не понимаете? — они становятся подделкой, неуместной, опустившейся до уровня жалкой «полезности». У вас изъято все, и не остается ничего, кроме консервированного воздуха и консервированных упражнений, а они вам не нужны.

Когда солнце все-таки выглядывает на несколько мгновений или даже на несколько часов, толпы людей выползают наружу, заполняя улицы, холмы и сосновые рощи, используя, кто как может, хорошую погоду; иногда я тоже присоединяюсь к ним, но, как правило, остаюсь дома и стараюсь согреться.

А что здесь для этого есть, кроме теплой одежды, пледов и гладкой белой тумбы, бессердечно возвышающейся в углу и считающей себя печкой? Из всех творений человеческого безумия это — самое непозволительное. Топится она или нет, впечатление одно и то же — ледяное безразличие. Ничего нельзя понять, не потрогав ее рукой. В ней разжигают маленькие пригоршни щепок, не используя ни настоящих дров, ни угля.

Огонь гаснет каждые пятнадцать минут, и нет никакой возможности определить, когда именно это случается. В мрачные дни, когда беспрестанно идет дождь, от этой печки толку

не больше, чем от трупа. Гудящий в деревенской печке огонь с теплыми языками пламени, рвущимися из трубы... Но нельзя думать о таких вещах, они могут повлечь за собой тоску по дому. Мариенбад – самое неподходящее место для того, чтобы избавляться от болезней.

Таково ваше настроение почти все время. Но в промежутках, когда светит солнце, когда вы бродите по холмам и вам сравнительно тепло, вы настраиваетесь более нейтрально, может быть, даже дружелюбно. На днях я взобрался на «Aussichtthurm». Так называется башня, стоящая на вершине крутой поросшей болиголовом горы, – башня, которая здесь абсолютно не нужна, потому что вид от ее основания ничем не отличается от вида с ее вершины. Но люди германской расы совершенно помешаны на видах – им не бывает достаточно уже имеющегося вида, – если бы им принадлежал Монблан, они бы и на его вершине построили башню.

Дороги на эту гору сквозь заросли болиголова хорошо утоптаны и ровны, подъемы – просты и удобны. Они для пешеходов, а не для экипажей. Вы идете в невероятной тишине, вокруг полумрак, вам кажется, что вы в храме с миллионом колонн; стоит взглянуть вверх или вниз, как вы различаете вдалеке какие-то фигуры, беззвучно появляющиеся и исчезающие среди стволов деревьев; все это очень призрачно, торжественно, впечатляюще. Время от времени мрак вдруг сгущается и внезапно поражает вас; солнечный луч прорывается вниз и приковывает ваше внимание, потому что там, куда он падает, высоко на склоне холма в коричневом полумраке остается полоса, пылающая, как молния. Глубокая тишина лесных чащ, полное молчание, отсутствие малейшего шороха или движения листьев и ветвей – явления, с которыми мы совершенно не сталкиваемся у себя дома и потому не имеющие соответствующих слов в нашем языке. У нас непременно жужжат насекомые, щебечут птицы, случайно налетевший ветерок шевелит листву. Здесь же – мертвая тишина. Это то, о чем всегда говорят немцы, о чем они мечтают и что безуспешно пытаются поймать и заточить в стихотворение, картину или песню – их обожаемое *Waldeinsamkeit*, «лесное уединение». Но как его поймать? У него нет тела, это дух. Мы в Америке не говорим об этом, не мечтаем и не поем, – потому что у нас этого нет. Безусловно, в этом есть нечто чудесно привлекательное, завораживающее, призрачное, потустороннее. Там, где мрак самый мягкий и густой, а покой и тишина самые глубокие, высоко на склоне холма гранитным отблеском отмечено место, где, бывало, сидел и мечтал Гюте, а на обелиске выбито его знаменитое стихотворение, представляющее собой воплощенное гением понятие *Waldeinsamkeit*:

Über allen Gipfeln
Ist Ruh',

In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch!

Сейчас опять идет дождь. Впрочем, это уже случалось. Я побывал в процедурном корпусе и принял ванну с двумя сортами хвойного настоя. Хвоя наполнила комнату острым и чрезвычайно приятным запахом; кроме того, она придала воде цвет чернил и покрыла ее белоснежной пеной толщиной в два-три дюйма. Ванна была прохладной — примерно 75–80 градусов по Фаренгейту, а после этого был еще более прохладный душ. Когда я в полном одиночестве ожидал в приемной, вошли двое мужчин, занятые разговором. Вы думаете, они беседовали о политике, литературе, религии? Нет, они говорили о своих болезнях. Здесь, очевидно, не бывает иной темы для разговора. Лишь только двое или трое соберутся вместе, всякий раз происходит одно и то же. Тот, кому первым удастся открыть рот, начинает описывать свои недуги и их состояние на сегодняшний день, после чего остальные сообщают о своих. Только что упомянутые двое мужчин были знакомы друг с другом и, разумеется, последовали обычаю. Один из них был сложен, как воздушный шар, и приехал сюда, чтобы ужаться; второй был похож на буровую вышку и приехал, чтобы потолстеть; причем оба собирались достичь своей цели, как они выразились, за этот приезд. Их вполне удовлетворяли изменения, которые уже успели с ними произойти. Воздушный Шар потерял четверть тонны веса за десять дней и с гордостью показал отметку на своем ремне, после чего, широко и лучезарно улыбаясь, подобно полной луне, начал оживленно ходить по комнате, говоря, что он не мог этого делать, когда сюда приехал. Он застегнул пиджак на животе, который можно было бы подпоясать экватором, чтобы показать, насколько он похудел. Было мило наблюдать его счастье, такое детское и неподдельное. Он поставил ноги вместе, нагнулся и убедился в том, что видит их. Он сказал, что не видел их из этой точки уже

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листья...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

(Перевод М. Ю. Лермонтова)

пятнадцать лет. Рука его была похожа на боксерскую перчатку. На одном из пальцев он только что обнаружил бриллиантовое кольцо, потерянное одиннадцать лет назад.

Лишь только Буровая Вышка получил возможность говорить, он встрял и начал рассказывать, как обростает жиром – по три четверти унции за каждые четыре дня; он трещал до тех пор, пока меня не вызвали. Я оставил толстяка пыхтящим, надувающимся, распухающим и сжимающимся, расpiraемым готовой сорваться с губ очередной репликой.

Все больные здесь такие; все они пытаются заговорить друг друга до смерти. Толстые и худые едва ли не худшие в этом смысле, – и все-таки страдающие диспепсией еще хуже. Они вообще не закрывают рта. У них больше симптомов, чем у всех остальных, вместе взятых, поэтому у них больше разнообразия в переживаниях, больше изменений в состоянии, больше приключений и, следовательно, больше игры воображения, больше возможностей присочинить и в любом случае более обширная почва для разговоров. Идите, куда хотите, спрячьтесь, где только можете, – вам все равно не удастся сбежать от слова «печень»; вы слышите его здесь непрерывно – на улицах, в лавке, в театре, на музыкальных площадках. Если вы видите двоих или дюжину людей обычного размера, беседующих друг с другом, можете быть уверены, что они обсуждают свои печенки. Когда вы попадаете сюда первый раз, ваши новые знакомые кажутся печальными и некоммуникабельными; но очень скоро вам удается разобраться в обстановке, и после этого у вас нет больше никаких проблем. Вы заглядываете в мрачные пустые глаза и мягко спрашиваете:

– Ну, как ваша печень?

Вы сразу видите, как в тусклых глазах зажигается огонек благодарности, как начинает работать челюсть, и понимаете, что теперь от вас не требуется ничего, как только слушать до тех пор, пока вы не потеряете сознание. Через несколько дней вы начинаете замечать, что за разговорами этих людей стоит некое подобие вероучения, а еще через некоторое время обнаруживаете, что сами разделяете его. Вот в чем оно заключается: человека формируют не воспитание, образование, убеждения и принципы – его формирует собственная печень; со здоровой печенью у него всевидящее око, честное сердце, искренний ум, любящая, верная душа, с ним всегда правда и вера, столь же незыблемые, как Гибралтарская крепость; если же печень не в порядке, все должно быть и будет наоборот: происходящее он будет видеть как бы в кривом зеркале, не сможет ни на кого положиться, ничему не сможет верить, его нравственные опоры уйдут из-под ног. Разве это не интересно? По-моему, очень.

Два дня назад, почувствовав, что со мной происходит нечто необычное, я обошел одного за другим несколько докторов, но без пользы; они говорили, что никогда прежде не встречали

таких симптомов – по крайней мере всех вместе. Они встречали некоторые из них, но в ином сочетании. Насколько они могли понять, это была новая болезнь. Это было похоже на скрофулез, но нового вида. Больше они ничего не могли сказать. Затем они обследовали меня посредством стетоскопа и решили, что если что и в состоянии изгнать эту болезнь, так это грязевая ванна. Это была очень остроумная идея. Я принял грязевую ванну, и болезнь была изгнана. Ее возбудитель перед вами – это «Песня любви»:

Тебя не спрашиваю я,
Любим ли я тобой, как прежде,
Верна ли мне душа твоя,
Живу ли я в твоей надежде.
Как скрыта в солнце целиком
Даров господних кладовая,
Так я узнаю обо всем,
Спросив: «Как печень, дорогая?»
Ведь если в печени покой –
Не точит сердце червь сомненья,
Свежа надежда, как левкой,
Любовь не ведает смятенья,
Мечты светлы, я – их герой...
Ах, береги пищеваренье!
Нет для влюбленных ничего
Опасней печени коварной:
Пред ней померкнет торжество
Надежды самой лучезарной.
Имеет печень злую власть
Наполнить душу горьким ядом,
Убить любовь, мечту и страсть
И сделать рай кромешным адом.
Итак, вопросы все – в одном:
Цела ли счастья кладовая?
И я узнаю обо всем,
Спросив: «Как печень, дорогая?»

Что ж, можно назвать это скрофулезом, но я не вижу для этого оснований. По-моему, эти стихи не хуже того, что я писал раньше. Знатки говорят, что это вообще не поэзия, потому что ей недостает художественного вымысла, но я полагаю, что они просто завидуют. Я называю это хорошей медицинской поэзией и считаю себя вправе судить об этом.

Одна из самых забавных вещей в этих странах – поведение людей на улице. Попавшись вам навстречу, люди продолжают идти прямо, ни на волосок не отклоняясь от направления своего движения, совершенно игнорируя ваше право на какую-либо часть дороги. В последний момент вам приходится отказать от своего права и отступить, иначе произойдет

столкновение. Первый раз я обратил внимание на это странное варварство в Женеве двенадцать лет назад.

В Экс-ле-Бен, где в диковинку тротуары и люди ходят прямо по мостовой, всегда достаточно места; но это не имеет значения — вы всегда в четверти дюйма от столкновения. Человек, имеющий намерение пересечь вам дорогу без столкновения, все равно постепенно меняет направление и делает столкновение неизбежным, если только вы в последний момент не отскочите. Эта публика одета не так, как одеваются леди и джентльмены. И они не производят впечатление людей, сознательно вытесняющих вас с дороги; ощущение такое, будто они простодушно и тупо не замечают, что делают. Не так в Женеве. Там подобные люди, в особенности мужчины, теснят мужчин, женщин и девушек всех сословий и достатков сознательно и намеренно, — теснят их с тротуара прямо в канаву.

Ничего подобного не было в Байрейте. Но здесь — здесь это просто поражает. Столкновения неизбежны, если вы сами не будете уступать дорогу. Еще одна странная вещь: здесь это дикарство — монополия хорошо одетой публики; остальные вежливы и деликатны. Здоревенный команч со всеми признаками богатства и образованности будет спокойно вынуждать юных леди отступать в канаву, дабы не быть им раздавленными. Жалко, что здесь нет ванны для исправления манер. Но эту публику можно просто утопить.

Нельзя, однако, ожидать наличия деликатных чувств в стране, где человек приучен без содрогания созерцать женщину, запряженную вместе с собакой в тележку. Женщина с одной стороны дышла, собака с другой, они сгибаются от тяжести, тянут, задыхаясь, из последних сил, — а мужчина преспокойно шествует рядом и курит свою трубку. Часто женщина — седая и старая, а мужчина — ее внук. Следовало бы заменить орла на австрийском национальном гербе изображением старухи, запряженной вместе с собакой в месячную грязь тележку. Это точнее отражало бы положение вещей. Геральдическая фантазия в этих странах, однако, несколько выдохлась.

Недавно здесь произошло одно из тех забавных событий, которые как-то объясняют чересчур счастливые финалы пьес и помогают нам примириться с ними. Некий отчаявшийся человек, банкрот, без друзей и без надежды, накапал стрихнина в бутылку виски и отправился в ночь, чтобы найти удобное место для своей цели, коей являлось самоубийство. В безлюдном месте его остановил какой-то бродяга, заявивший, что убьет его, если тот не отдаст ему свои деньги. Вместо того, чтобы использовать шанс быть убитым и избавить себя от греха и труда самоубийства, несчастный напрочь забыл о своих намерениях и самым решительным и доблестным образом атаковал бродягу. Он достойно сражался, но потерпел поражение. Прошла ночь, настало утро, он очнулся и обнаружил, что избит до полусмерти и оставлен тихо умирать. Тогда он потянулся за своей бутыл-

кой, чтобы добавить последнюю каплю, но бутылки не было. Он кое-как собрался с силами, хромая, поплелся прочь и вскоре наткнулся на валяющегося замертво бродягу, возле которого лежала пустая бутылка. Бродяга выпил виски и нечаянно покончил с собой. Покуда человек, опростоволосившийся со своим самоубийством, стоял там, оплакивая свою горькую долю и соображая, как ему добыть денег, чтобы купить еще виски и яду, подошли люди из числа живущих по соседству, и он рассказал им о своем приключении. Они сообщили, что этот бродяга был бичом всей окрестности и страшным сном полиции. Дознание прошло спокойно, ко всеобщему удовольствию, после чего местные жители, дабы засвидетельствовать свою благодарность герою происшествия, взяли его служить в полицию на вполне достаточное жалованье, теперь у него все в порядке, и он больше не помышляет о самоубийстве. Здесь есть все элементы наивнейшей арабской сказки: человек, сопротивляющийся грабежу, когда у него нечего грабить, делает все, чтобы защитить свою жизнь, тогда как он вышел специально для того, чтобы покончить с ней, и в конце концов в своем поражении одерживает победу, убив своего противника действенным и поэтическим способом, тогда как сам он уже был hors du combat. Если вдобавок он продвинется по службе и женится на дочери начальника полиции, то будут в наличии все атрибуты восточного романа; насколько я могу судить, не будет упущена ни одна деталь.

ШВЕЙЦАРИЯ — КОЛЫБЕЛЬ СВОБОДЫ

Прошло уже много лет с тех пор, как я последний раз был в Швейцарии. В то далекое время в стране была только одна горная железная дорога. Теперь в этом отношении все переменялось. Ныне в Швейцарии нет ни единой горы, которая бы не имела одной, а то и двух железнодорожных линий, тянувшихся по ее бокам, словно подтяжки; в самом деле, некоторые горы покрыты прямо-таки сетью дорог, а через пару лет и все остальные станут такими же. Тогда крестьянам, живущим в горах, придется, выходя ночью из дома, брать с собой фонарь, чтобы не споткнуться о рельсы, которых во время предыдущего выхода еще не было. Если же к тому времени останется хотя бы один крестьянин, чье картофельное поле не будет пересечено железной дорогой, он будет таким же знаменитым, как Вильгельм Тель.

Есть, однако, лишь два хороших способа путешествовать по Швейцарии. Первый — по воде, второй — в открытой повозке, запряженной парой лошадей. Теперь можно примерно за час

Вне боя (фр.).

добраться из Люцерна в Интерлакен по железной дороге через Бруниг, но можно добраться и за десять часов, катясь по гладкой дороге в повозке, с двухчасовым перерывом в полдень для завтрака — именно для завтрака, не для отдыха. Такое путешествие вовсе не сопряжено с усталостью. Человек приезжает на место вечером, свежий и душой и телом, — без раздражения в сердце, без сажи на лице, без песка в волосах, без золы в глазах. Это и есть надлежащие условия для тела и духа, необходимое и обязательное приготовление к венчающему день торжественному событию — приближению, фигурально выражаясь, с непокрытой головой, к Юнгфрау — самой поразительной горе, какой только располагает наша планета. Первое ощущение новичка, когда его взору вдруг открывается огромный величественный призрак, закутанный в снежный саван, — это захватывающее дух удивление. Все равно как если бы вдруг распахнулись врата рая и показался престол.

Здесь, в Интерлакене, спокойно и приятно. Ничего не происходит — кроме разве что чудесного дарующего жизнь солнечного света. Он буквально заполняет все вокруг. Слово «происходит» здесь вполне уместно, потому что свет этот полон призыва к деятельности; он льется вниз с энергией, с видимым энтузиазмом. Эта атмосфера благотворна как физически, так и морально. «Глотнув» политической атмосферы соседних монархий, целебно и полезно подышать воздухом, которому шестьсот лет незнаком позор рабства, очутиться среди народа, чья история велика и прекрасна, достойна быть предметом изучения во всех школах, для всех племен и народов. Ибо на протяжении веков борьба здесь шла не за интересы какого-нибудь отдельного рода или какой-нибудь одной церкви, а за интересы всей нации в целом, за свободу и безопасность всех форм веры. Этот факт грандиозен. Когда осознаешь, насколько он грандиозен, сколько в нем достоинства и величия, насколько несоизмерим он окажется с целями и задачами крестовых походов, осады Йорка, войны Алой и Белой роз и других исторических комедий того же качества и масштаба.

На прошлой неделе я бродил вокруг озера Четырех Кантонов и видел Рутли и Альторф. Рутли — это отдаленная маленькая лужайка, но я не знаю ни одного клочка земли, более священного и в большей мере заслуживающего путешествия через океаны и континенты для того, чтобы только посмотреть на него, — ибо именно здесь великая швейцарская троица шестьсот лет назад соединила руки и произнесла клятву, благодаря которой их покоренная и униженная родина стала навеки свободной. Альторф — тоже примечательное и достойное поклонения место, так как именно здесь известный Вильгельм по прозвищу Тельд (что в переводе означает «болтающий лишнее», то есть говорящий чересчур смело) отказался поклониться шляпе Геслера. Недавно один из любопытных историков потешил себя сверх всякой меры чудесным открытием: он

выяснил, что Телль не сбивал стрелой яблока с головы сына. Услышав о ликовании этого ученого мужа, можно подумать, что решение вопроса, сбивал ли Телль яблоко, имеет принципиальное значение; на самом деле это так же важно, как ответ на вопрос, срубил Вашингтон вишню или нет. Важная вещь — дела Вашингтона-патриота; случай же с вишней значения не имеет. Доказать, что Телль на самом деле сбил яблоко с головы своего сына, — значит доказать всего лишь, что его нервы были крепче, чем у большинства людей, и что он был так же искусен в стрельбе из лука, как миллион живших до и после него; только это и ни на йоту больше. Но Телль не просто меткий стрелок, не просто холодная голова, он гораздо значительнее: он воплощает определенный тип, он олицетворяет швейцарский патриотизм, он представляет весь народ; его дух — это дух народа, который не кланяется никому, кроме бога, дух, который заявил это на словах и подтвердил делами. В Швейцарии всегда были Телли — люди, не склоняющие головы. Их было достаточно в Рутли; их было много в Муртене, в Грандсоне; много их и сегодня. А первым из них из всех — самым первым, знаменосцем человеческой свободы в этом мире — был не мужчина, а женщина — жена Штауффахера. Через дымку столетий смутно вырисовывается неяркий и великий образ этой женщины, нашептывающей мужу на ухо проповедь восстания, проповедь, результатом которой был заговор Рутли и рождение самого первого в мире свободного правительства.

Из нашей гостиницы «Виктория» сразу за узенькой равниной видна высокая стена гор, в которой есть проем, по форме напоминающий перевернутую пирамиду. За этим проемом устремляется в небо громада Юнгфрау, чистая масса сверкающего снега. Проем в темной стене образует замечательную раму для великой картины. Темная рама и сияющая снежная масса составляют потрясающий контраст. Именно эта рама концентрирует и усиливает впечатление, составляет славу Юнгфрау, делает ее самым занимательным, манящим и фантастическим зрелищем, какое только есть на земле. Много есть снежных гор, столь же высоких, как Юнгфрау, имеющих такую же благородную форму; но они не так знамениты. Они стоят в толпе; их давят и теснят соседние купола и вершины, и их величие сильно от этого проигрывает.

Прекрасное имя — Юнгфрау, то есть Дева. Ничто не может быть белее, чище и праведнее. Вчера в шесть часов вечера огромная стена, видимая сквозь слабую голубоватую дымку, казалась воздушной и нематериальной — такой она была нежной и великолепной, такой блестящей там, где падал на нее блуждающий свет, и такой тусклой, где лежала тень. Казалось, что она как бы соткана из мечты, что это плод воображения, что в ней нет ничего реального. Она была зеленого цвета, слегка менявшего оттенки, но преимущественно очень темного. Солнце село — для стены, но не для Юнгфрау, устремляющейся

ввысь за проемом. Она была подобна слепяще-белому испепеляющему пожару.

Говорят, что это благородное имя дал горе Фридолин (старый Фридолин), ныне святой, а в прошлом – миссионер. Он был ирландцем, сыном одного из ирландских королей, – в его время, полторы тысячи лет назад, только в графстве Корк одновременно правили тридцать тысяч королей. Дошло до того, что они не могли прокормиться – так много было соперничества, и так сократились доходы. Некоторые из них не работали по несколько месяцев подряд, имея на руках жену и маленьких детей и ни крошки в доме. Наконец, на страну обрушилась особенно лютая зима, и сотни королей опустились до нищенства; изо дня в день можно было видеть их в страшную стужу стоящими босиком на снегу, с коронами, протянутыми для подаяния. И им пришлось бы покинуть страну или умереть с голоду, если бы не удачная идея принца Фридолина, организовавшего профсоюз, первый в истории, и объединившего в нем большинство королей. Так он завоевал всеобщую признательность, и его решили сделать императором – императором над всеми ними – императором графства Корк; но он отказался и заявил, что с него достаточно было бы и должности страхделегата. Ибо – заметьте! – он был не по годам скромен и отличался пронизательностью истинного организатора. До сегодняшнего дня простолюдины в Германии и Швейцарии, где святого Фридолина уважают и чтут, с восхищением говорят о нем как о первом страхделегате.

Первый выход, который он совершил, был во Францию и Германию, миссионером, – ибо миссионерство в те дни было более благодарным занятием, чем теперь. Все, что от вас требовалось, – это исцелить больную дочь главного варвара с помощью «чуда», подобного тому, например, что свершилось в наши дни в Лурде, – и немедленно главный варвар обращался в истинную веру и преисполнялся энтузиазмом новообращенного. Вы могли сидеть сложа руки и ни о чем больше не беспокоиться. Он же брал меч и сам обращал остальных сородичей. Именно таким был Карл Великий.

Да, тогда были великие миссионеры, потому что методы были безотказными, а награды – большими. Теперь уже нет ни таких миссионеров, ни методов.

Но продолжим, если вам интересно, историю о первом страхделегате. Самому мне интересно потому, что я видел его мощи в Закингене, а также то самое место, где он произвел свое великое чудо – то, за которое спустя несколько веков Ватикан произвел его в святые. То, что я видел мощи, заставило меня почувствовать близость к нему, ощутить себя почти членом его семьи. Странствуя по Европе, он добрался до того места на Рейне, где теперь находится Закинген, и вознамерился там остановиться, но народ его прогнал. Он обратился к королю франков, который подарил ему всю область, людей и все

прочее. Фридолин построил там большой женский монастырь, начал проповедовать в нем и занимать новые земли. По соседству жили два богатых брата, Урсо и Ландульф. Когда Урсо умер, Фридолин предъявил претензии на его имущество. Ландульф потребовал документы и бумаги. Фридолину показать было нечего. Он сказал, что завещание ему было сделано в устной форме. Ландульф предложил ему представить свидетеля и произнес это, как ему казалось, очень остроумно и саркастически. Это показало, что он не знает своего соперника. Фридолин не расстроился. Он сказал:

– Назначь суд. Я приведу свидетеля.

Был созван суд, состоявший из пятнадцати графов и баронов, Назначили день слушания дела. Когда этот день настал, судьи заняли места соответственно своему положению, и было объявлено, что суд готов начать работу. Прошло пять, десять, пятнадцать минут, но Фридолин не появился. Ландульф поднялся и уже начал было провозглашать решение ввиду неявки противной стороны, когда с лестницы послышалось странное клацание. В ту же минуту в дверях показался Фридолин и в полной тишине пошел по центральному проходу, а позади него шествовал высоченный скелет.

На лицах всех присутствующих появилось выражение удивления и ужаса, ибо каждый решил, что это скелет Урсо. Скелет остановился перед председателем суда, поднял вверх костлявую руку и заговорил, в то время как все собрание дрожало от страха, потому что можно было видеть, как слова просачиваются сквозь ребра скелета. Скелет сказал:

– Брат, зачем ты тревожишь мой священный покой и разбоем удерживаешь дар, который я оставил тебе для того, чтобы ты преподнес его господу?

Это покажется странным и в высшей степени необычным, но на основании показаний этой ходячей кучи неизвестно чьих костей решение было вынесено против Ландульфа. В наше время скелет вовсе не стали бы допрашивать, поскольку у скелета не может быть моральной ответственности, и здравый смысл не позволяет верить его слову. Клятве большинства скелетов не поверят, а этот скелет был, вероятнее всего, из большинства. Тем не менее этот случай ценен потому, что донес до нас забавный образец странных законов о доказательствах, существовавших в те далекие времена – настолько далекие, в такой степени уходящие в эпоху первозданного идиотизма, что разница между судебной палатой и корзиной с овощами была столь незначительной, что мы можем с полной уверенностью утверждать: ее не существовало вовсе.

Несколько дней я занимался интересным, а может быть, и полезным делом; пытался заставить могущественную Юнгфрау зарабатывать себе на жизнь, – зарабатывать в самой скромной сфере, но в грандиозном масштабе, непременно в грандиозном, потому что она с ее размером и обликом не может делать

ничего камерного. Я пытался заставить ее служить огромным циферблатом, отмечать по ее бледному лицу время, проносающиеся там, в поднебесье, и показывать его населению в радиусе пятидесяти миль, а также жителям Луны, если у них есть хорошие телескопы.

Примерно до середины дня Юнгфрау выглядит так, как если бы беспросветную снежную пустыню надели, как шапку, на торчащее в небо острие. Затем некоторые возвышения, поднимающиеся с западного края пустыни, существование которых до этого момента нельзя было даже заподозрить, начинают отбрасывать в восточном направлении черные тени на сверкающую поверхность. Сперва появляется одна тень, а потом их становится две. Недавно около четырех часов дня я, как обычно, смотрел на гору во все глаза и поклонялся ей и вдруг заметил, что тень номер один постепенно начинает принимать форму, несколько напоминающую человеческий профиль. К четырем часам имелся вполне приличный затылок, весьма приличная военная фуражка, четко обрисованный крепкий нос, острая, непривлекательная верхняя губа, а также воинственно торчащая длинная козлиная борода.

В половине пятого нос значительно изменил свои очертания, а переместившееся солнце отыскало и сделало видимой огромную подпорку или барьер из голых скал, расположенный так, что он прекрасно мог играть роль плеча или воротника пальто этого смуглого и нескромного обожателя, первым прокрававшегося туда, чтобы положить свою голову на белую грудь Девы и шептать ей сладкие, нежные речи под чувственную музыку раскалывающихся ледяных глыб, рокот и гром проносившихся лавин, — музыку, хорошо знакомую его слуху, ибо он слышит ее каждый день в этот час с того дня, как впервые прокрался сюда, чтобы искать расположения этой дочери Земли, живущей на н е б е, — далекого-далекого дня, ибо он был поглощен этим приятным занятием раньше, чем средние века протекли перед ним в долине; раньше, чем мимо промаршировали римляне; раньше, чем древние неграмотные варвары охотились и ловили здесь рыбу, гадая, кто он такой, и, возможно, опасаясь его; раньше, чем сам первобытный человек, только что поднявшийся с четверенек, тысячу веков назад, наткнулся на него, первого представителя своего племени и, бросив наверх довольный взгляд, рассудил, что нашел брата, такого же человека, и, стало быть, есть кого убить; раньше, чем тут было лежище гигантских ящеров, несколькими эрами раньше. О да, этот день был так давно, что сам сын вечности присутствовал на их первом свидании; так давно, что еще не родились ни традиции, ни история, и вся усталая вечность еще должна была пронестись, прежде чем маленькое беспокойное существо, предвестником облика которого было это Теневое Лицо, появится на свет и начнет свою ничтожную карьеру, которая покажется ему самым важным делом на свете. Да, да,

если вы говорите о жалких позавчерашних древностях Рима и Египта, выбирайте время, когда нет на месте вечного Теневого Лица Юнгфрау. Оно древнее всех древностей, известных или воображаемых, потому что именно здесь мир создал музей для будущих древностей. Это — единственный свидетель с человеческим лицом, бывший там, видевший это чудо и донесший до нас воспоминание о нем.

К четырем сорока нос тени становится завершенным и прекрасным. Он черного цвета и отчетливо выделяется на вертикальном холсте сверкающего снега, покрывая сотни акров этой ослепительной поверхности.

Тем временем тень номер два, потихоньку перемещавшаяся на запад к затылку, к пяти часам приняла форму, представляющую собой убогое и грубое подобие башмака.

Великое Теневое Лицо в течение двадцати минут постепенно менялось, и к пяти часам стало точным портретом Роско Конклинга. Имеющееся сходство очевидно: борода укоротилась и обрела завершенность, чего раньше не было — борода просто росла в восточном направлении и уходила в бесконечность.

К шести часам лицо растаяло и исчезло, борода стала похожа на тень от островерхой башни, а башмак превратился в известный печатникам указательный знак в виде пальца.

Если бы меня засадили в неволю на вершине какой-нибудь горы в сотне миль к северу отсюда и не оставили мне часов, в ясные дни с четырех до шести я смог бы прекрасно обходиться без них, определяя время по изменению очертаний величественных теней на поверхности Девы — на самом огромном из известных мне циферблатов, на старейших в мире часах, существующих уже пару миллионов лет.

Я думаю, что не обратил бы внимания на формы теней, если бы у меня не было привычки искать сходство с человеческими лицами в очертаниях облаков и гор — развлечение, весьма занимательное, даже если найти сходство не удастся, и приносящее исключительное удовлетворение в случае удачи. Я просмотрел здесь множество фотографий Юнгфрау, но нашел только одну с изображением Лица, причем оно не очень походило на лицо, из чего следует, что снимок был сделан до четырех часов дня, а также следует, что все фотографии упорно не замечают одной из самых завораживающих особенностей Юнгфрау. Я называю эту особенность завораживающей, потому что стоит вам заметить сильно увеличенное человеческое лицо, случайно созданное природой, как вам уже никогда больше не надоест на него смотреть. Сначала вам трудно будет заставить еще кого-нибудь увидеть это лицо, но если это удастся, то он уже не сможет видеть там ничего другого.

* * *

Греческий король в свободное время любит спокойно путешествовать. Как-то раз нынешним летом он ехал в обычном

купе первого класса и был в обычном костюме, в том, в котором он управляет королевством, когда находится дома, поэтому он не выглядел кем-то особенным, а был похож на обычного человека. Вскоре в купе вошел некий добродушный и энергичный американец немецкого происхождения и завел с ним откровенный и сочувственный разговор, задавая ему тысячи вопросов о нем самом, на которые король отвечал приветливо, но более или менее неопределенно, как на слишком личные.

– Где вы живете постоянно?

– В Греции.

– В Греции! Как удивительно! Вы родились там?

– Нет.

– Говорите по-гречески?

– Да.

– Как странно! Не думал, что когда-нибудь в жизни увижу такое. Чем вы занимаетесь? На что живете, я имею в виду? В чем состоит ваше дело?

– Мне довольно трудно ответить. Я просто что-то вроде хозяина на жалованье; а дело – ну, самые общие вопросы.

– Да, понимаю, – обычные дела – все понемногу – все, что может принести доход.

– Да, что-то вроде этого.

– А сейчас вы путешествуете по делам фирмы?

– Да, отчасти, но не совсем. Конечно, мне приходится заниматься делами, если они встречаются по пути...

– Прекрасно! Это мне в вас нравится! У меня всегда тоже так. Продолжайте.

– Я хотел сказать только, что сейчас я в отпуске.

– Все правильно. В этом нет никакого вреда. Чтобы работать лучше, нужно время от времени делать перерыв. Не потому, что так было у меня: я работал без отпуска. Это, должно быть, мой первый отпуск. Я родился в Германии, и когда мне было недели две от роду, меня повезли в Америку, и с тех пор я оттуда никуда не выезжал, шестьдесят четыре года, как по часам. Я в принципе американец, но в душе немец. Сочетание, очень способствующее предпринимательству. Ну, а как обычно идут ваши дела – вполне прилично?

– У меня довольно большая семья...

– Вот как... Большая семья, и вы пытаетесь содержать ее на жалованье. Для чего же вы занялись этим делом?

– Знаете ли, я думал...

– Конечно, вы думали. Вы были молоды, уверены в себе, полагали, что пойдете в гору, и все будет происходить само собой, и видите теперь, что из этого вышло! Но не расстраивайтесь. Я не хочу вас обескураживать. Упаси боже! Я сам был в вашем положении! В вас есть твердость, у вас хорошая внутренняя основа, я вижу это. Вы начали неверно, вот и вся

беда. Но у вас есть хватка, и мы подумаем, что можно сделать. Ваши дела и наполовину не так плохи, как могли бы быть. У вас будет все в порядке – могу поручиться. Мальчики и девочки?

– Вы о моих детях? Да, некоторые из них мальчики...

– А остальные девочки. Я так и думал. Но все нормально, и даже лучше, что это так. Что делают мальчики – учатся ремеслу?

– Да нет, я полагал...

– Это большая ошибка. Это самая большая ошибка, какую вы сделали. Вы видите это на собственном примере. У человека обязательно должно быть ремесло, чтобы он мог опереться на него. Вот я сначала делал упряжь. Разве это помешало мне стать одним из крупнейших пивоваров Америки? Нет. А в черные дни я смогу опереться на это ремесло. Если бы вы научились делать упряжь... Однако теперь слишком поздно, слишком поздно. Но сделанного не исправишь. Что же касается мальчиков, понимаете ли... что будет с ними, если с вами что-нибудь случится?

– Я полагал, что один из них займет мое место...

– О господи! А если фирма его не возьмет?

– Я не подумал об этом, но...

– Послушайте же, вам нужно заняться делом и перестать мечтать. Вы, дружище, способны на грандиозные дела. Вы можете весьма преуспеть в жизни. Все, что вам нужно, – это чтобы кто-нибудь поддержал вас и вывел на правильную дорогу. Вы владеете чем-нибудь в вашем деле?

– Нет, не владею, но если я буду продолжать их устраивать, я думаю, что смогу сохранить...

– Сохранить свое место – да. Но не стоит зависеть от таких вещей. Вас вышвырнут в тот самый момент, когда вы чуть-чуть состаритесь и утомитесь, они обязательно это сделают. Вы никак не можете войти в число владельцев фирмы? Это большое дело, как вы понимаете.

– Боюсь, что это маловероятно, очень маловероятно.

– Да, это плохо, да к тому же и несправедливо. Как вы думаете, если бы я поехал туда и поговорил с ними... Послушайте, как вы думаете, вы смогли бы управлять пивоварней?

– Я никогда не пробовал, но думаю, что смог бы после того, как немного познакомился бы с этим делом.

Немец некоторое время молчал. Он крепко задумался, а король с любопытством ждал, что будет дальше. Наконец немец сказал:

– Мне все ясно. Бросьте это стадо баранов – вам ничего там не нажить. В этих дряхлых странах людям всегда негде развернуться. Да, да, перебирайтесь в Америку – приезжайте ко мне в Рочестер; привозите с собой и семью. Вы получите поле деятельности как предприниматель и хорошую должность. Джордж – вы говорили, что вас зовут Джордж? – я сделаю из вас человека. Даю вам слово. Здесь у вас не было шансов, но все

переменится. С богом! Я подниму вас на такую высоту, что у вас голова закружится!

ЛЮБОПЫТНАЯ СТРАНИЧКА ИСТОРИИ

Марион-Сити на реке Миссисипи, штат Миссури, – провинциальный городок; время – 1845 год. Ла-Бурбуль-ле-Бен, Франция, – провинциальный городок; время – конец июня 1894 года. Тогда, давно, я находился в том провинциальном городке, сейчас нахожусь в этом. Между указанными датами, как и между названными географическими пунктами, расстояние достаточно велико, и все же у меня сегодня такое чувство, будто меня снова сунули в заштатный американский городишко и заставили еще раз пережить полные волнений дни, которые я там некогда провел.

В прошлую субботу вечером пал от руки итальянского убийцы президент Французской республики. А вчера вечером нашу гостиницу окружила толпа, которая вопила, завывала, горланила «Марсельезу» и швыряла в наши окна камни и палки, ибо у нас в ресторане имеются официанты-итальянцы, и толпа требовала, чтобы их немедленно выкинули на улицу, дабы их можно было надлежащим образом избить, а затем выгнать из города. В гостинице далеко за полночь никто не ложился спать, мы пережили все страхи и ужасы, знакомые по книгам, в которых рассказывается о том, как идет на штурм толпа итальянцев или французская чернь. Было все: нарастающий рев идущей на приступ толпы; град камней и звон разбиваемых стекол; зловещая тишина – после того как толпа отхлынет, чтобы, обсудив, принять новый план а т а к и, – тишина угрожающая и еще более непереносимая, чем сам штурм и грохот. Хозяин гостиницы и оба городских полицейских стояли неколебимо, и в конце концов толпу убедили разойтись и оставить наших итальянцев в покое. А сегодня четверо зачинщиков были приговорены к тяжелому публичному наказанию – и в результате сделались местными героями.

Точно такая же ошибка была допущена у нас в американском городке полстолетия тому назад. Потом ее повторили еще и еще раз – как теперь, последние несколько месяцев, это делают во Франции.

В нашем городе были свои Равошали, свои Анри и Вайяны и даже, на скромный провинциальный лад, свои Чезарио (надеюсь, что не напутал в написании его фамилии). Пятьдесят лет назад мы переживали в общем и целом все то, через что проходит за последние два-три года Франция, – такие же приступы страха, ужаса и содрогания.

Кое в каких деталях совпадение просто поразительное. В те дни открыто провозгласить себя противником рабства негров было все равно что объявить себя сумасшедшим. Ибо тем самым

человек дерзко подымал руку на святая святых миссурийской жизни и, стало быть, был просто не в своем уме. Так и во Франции за последние три года провозгласить себя анархистом значило объявить себя сумасшедшим — было ясно, что человек просто не в своем уме.

А ведь самый первый дерзкий ниспровергатель устоев, глубоко почитаемых обществом, всегда бывает человеком убежденным: его последователи и подражатели могут быть своекорыстными болтунами, но сам он искренен — в свой протест он вкладывает душу.

Роберт Харди был у нас первым *аболиционистом* — название-то какое ужасное! Он был искусный бочар и работал в большой бочарной мастерской у заготовителей свинины, в заведении, которое составляло главную гордость Марион-Сити и единственный источник его благосостояния. Родом он был из Новой Англии — человек в наших местах пришлый. И как человек пришлый, он, конечно, считался существом низшего порядка — ибо таковы уж люди со времен Адама до наших дней, — и, конечно, ему как чужеземцу давали почувствовать, что никто его сюда не звал, ибо таков издревле закон у людей и у других животных. Харди было тридцать лет, он был холост, бледен, мечтателен и запоем читал книги. Держался замкнуто и, казалось, был вполне доволен своим одиноким уделом. Товарищи по мастерской не скупясь угощали его язвительными замечаниями, но он не обижался, и поэтому люди считали, что он трус.

И вдруг, неожиданно-негаданно, он провозгласил себя аболиционистом — открыто, при всем честном народе! Заявил, что рабство негров — это преступление и позор. От изумления в городе сначала растерялись и не знали, что предпринять, потом разразилась буря негодования и толпа хлынула к бочарной мастерской линчевать Харди. Но методистский священник обратился к людям с пламенной речью и остановил их карающую руку. Он неопровержимо доказал им, что Харди — умалишенный и не отвечает за свои слова, ибо не может человек в здравом уме говорить такое.

Харди был спасен. Как умалишенному ему было позволено ораторствовать и дальше. Находили, что это недурное развлечение. Несколько вечеров подряд он произносил под открытым небом аболиционистские речи, и весь город стекался послушать его и посмеяться. Он заклинал людей поверить, что он в своем уме, что он говорит от всего сердца, умолял сжалиться над несчастными рабами и принять меры для возвращения им отторгнутых у них прав, — иначе в ближайшем же будущем полетят кровь, реки крови!

Что тут смеху было! И вдруг положение вещей изменилось. В Марион-Сити появился беглый раб из Пальмиры — главного города в нашем округе, расположенного в нескольких милях от нас, и, когда в серых предрассветных сумерках он уже готовил-

ся переправиться на челне в Иллинойс, навстречу свободе, его схватил полицейский. Харди, оказавшийся поблизости, попытался помочь негру: произошла схватка, и полисмен живым из нее не вышел. Харди вместе с негром переправился через реку, а затем возвратился, чтобы отдаться в руки правосудия. На все это ушло время, потому что Миссисипи – не какой-нибудь французский ручеек вроде Сены, Луары и прочих речушек, это настоящая река, чуть не в милю шириной. Город встретил его во всеоружии, алкая расправы, но методистский священник и шериф уже приняли меры в интересах порядка, и потому Харди сразу же был окружен надежной охраной и благополучно доставлен в городскую каталажку, несмотря на все попытки толпы схватить его. Читатель, вероятно, уже догадался, что этот методистский священник был человек дельный, на руку скор и с головой на плечах. Уильямс была его фамилия, Дамон Уильямс. А по прозвищу Уильямс Демон, поскольку он с поистине демонической страстностью чаще и убедительнее всего распространялся в своих проповедях на тему о вечной погибели.

Великое возбуждение охватило город. До этого полицейского у нас никого ни убивали. Событие это было, безусловно, самое примечательное во всей истории города. Оно придало заштатному городишку небывалую значительность; на двадцать миль в округе имя Марион-Сити было у всех на устах. И имя Роберта Харди тоже, Роберта Харди – презренного чужеземца. За один день он сделался самым известным лицом в нашей местности, все только о нем и говорили. Что же до остальных бочаров, то их положение изменилось весьма забавным образом – их вес в обществе зависел теперь от того, насколько близко они были знакомы с новой знаменитостью. Двое или трое из них, состоявшие с ним в более или менее дружеских отношениях, оказались предметом восторженного внимания публики и черной зависти своих товарищей.

Городской еженедельный листок как раз незадолго перед тем перешел в руки нового владельца. То был весьма предприимчивый человек, и он не упустил возможностей, открывшихся благодаря трагическому событию. Напечатал экстренный выпуск. И расклеил афиши, в которых сулил посвятить целый номер газеты знаменательному происшествию – им будет опубликована полная и в высшей степени интересная биография убийцы, и даже с портретом. Сказано – сделано. Он самолично выгравировал портрет на обороте деревянной литеры – и портрет вышел что надо: взглянуть страшно. В городке это произвело огромное впечатление, ведь то была первая напечатанная у нас газетная иллюстрация. Все очень гордились. Газета вышла в десять раз большим тиражом, чем обычно, и тем не менее была раскуплена.

Когда настало время суда, в Марион-Сити съехались люди со всех окрестных ферм, а также из Ганнибала, Куинси и даже из Кеокука; в здании суда поместилась лишь малая толика огром-

ной толпы, жаждавшей присутствовать на разбирательстве. Весь ход суда подробно излагался в местной газетке, сопровождаемый новыми и еще более устрашающими портретами обвиняемого.

Харди был признан виновным и повешен — и это было ошибкой. Поглядеть на казнь собрались люди со всей округи: они везли с собой пироги и сидр, а также женщин и детей и устроили по этому случаю веселый пикник. Никогда еще в нашем городишке не бывало такого стечения народа. Веревку, на которой был повешен Харди, моментально раскупили по дюймам — каждому хотелось приобрести что-нибудь на память о знаменательном событии.

Мученичество в позолоте славы, пусть и дурной, имеет притягательную силу. Не прошло и недели, как четверо молодых глупцов тут же объявили себя аболиционистами! При жизни Харди не сумел привлечь на свою сторону ни одного человека, все смеялись над ним; но никто не мог смеяться над его наследием. Четверо новообращенных расхаживали по улицам, пряча лица под мягкими полями низко надвинутых шляп, и туманно предрекали всякие ужасы. Люди порядком струхнули и забеспокоились; и это было заметно. В то же время они были совершенно сбиты с толку — происходило нечто непостижимое. Слово «аболиционист» всегда было постыдным и ужасным ругательством; и вдруг появляются четыре молодых человека, которые не только не стыдятся этого названия, но даже как будто гордятся им. И ведь вполне добропорядочные люди из хороших семей и возвращенные в лоне церкви. Эд Смит, подмастерье у печатника, девятнадцати лет, был в свое время первым учеником воскресной школы и как-то продекламировал без передышки три тысячи стихов из Библии. Остальные трое были: Дик Сэведж, двадцати лет, подмастерье у булочника; Уилл Джойс, двадцати двух лет, кузнец, и Генри Тэйлор, двадцати четырех лет, табачник. Все четверо были народ сентиментальный, все были любители читать романы, все четверо кропали стишки, пусть никудышные, и были тщеславны и глупы; но никто прежде не подозревал за ними никаких пороков.

Они отделились от людей и с каждым днем напускали на себя все более таинственный и ужасный вид. Вскоре они удостоились чести быть поименно проклятыми с церковного амвона — что тут было! Вот оно, величие, вот она, слава! Все парни в городе теперь им завидовали. И вполне естественно. Компания их стала расти, расти угрожающе. Они приняли особое название. То было тайное название, скрываемое от посторонних; для городка они оставались просто аболиционистами. У них завелись пароли, условные рукопожатия и знаки; они устраивали тайные сходки; прием новых членов сопровождался мрачным и торжественным ритуалом и происходил всегда в полночь.

Харди они именовали не иначе как «Мученик» и то и дело устраивали полночные процессии – в черных балахонах и в масках шествовали по главной улице под зловещую дробь одинокого барабана на поклонение к могиле Мученика, где проделывали всякие дурацкие церемонии и произносили клятвы отомстить его убийцам. О предстоящих паломничествах на могилу они оповещали заранее небольшими плакатами, в которых жителям города предлагалось не выходить на улицу и не зажигать света в домах вдоль всего пути их следования. Запреты эти выполнялись, потому что на каждом плакатике сверху были изображены череп и кости.

Так дело шло чуть не восемь недель, прежде чем случилось то, что неизбежно должно было случиться. Несколько сильных духом и твердых характером мужчин стряхнули с себя оцепенение этого кошмара и стали осыпать укорами и насмешками самих себя и весь город за то, что здесь столько времени терпели такие детские забавы; было решено немедленно с этим покончить. Люди воспрянули духом, словно в них вдохнули новую жизнь; к ним вернулась утраченная храбрость, и каждый вновь почувствовал себя мужчиной. Это было в субботу. Весь день новое чувство росло и крепло, росло с каждой минутой; все ободрились и повеселели. Полночь застала в городке небывалую сплоченность и единодушие; общество было исполнено рвения и отваги, и каждый отчетливо понимал, что именно нужно сделать. Первым среди городских вождей и лучшим, яростнейшим оратором в ту славную субботу был пресвитерианский пастор преподобный Хайрам Флетчер – тот самый, что проклял когда-то с амвона четверых заводил, и он пообещал снова использовать свой амвон в интересах общества. Наутро, объявил он, будут сделаны ужасные разоблачения, раскрыты секреты этого тайного общества.

Но разоблачения сделаны не были. В половине третьего ночи мертвую тишину спящего городка нарушил оглушительный взрыв, и городская стража увидела, как дом проповедника смерчем обломков взлетел к небесам. Проповедник был убит, а заодно с ним и старая негритянка – его единственная служанка и раба.

Город снова замер, и это вполне понятно. Одно дело, когда надо бороться с видимым противником, тут всегда найдется немало людей, готовых этим заняться; но бороться против невидимого врага – такого, который приходит под покровом темноты, делает свое черное дело и исчезает, не оставляя следов, – это совсем другое. Тут храбрейший задрожит и отступится.

Терроризированное население городка не отважилось выйти на похороны. За гробом человека, к которому – послушать, как будут разоблачать общего врага, – должны были стечь толпы, шла лишь небольшая горстка людей. Дознание установило «смерть по воле божией», ибо не было получено ни одного

свидетельского показания; если и имелись свидетели, они благоразумно держались в стороне. Никто не выражал огорчения. Никому не хотелось вызывать тайное общество на новые террористические акты. Все предпочитали замять, замолчать и, по возможности, забыть трагическое происшествие.

И потому для всех было весьма неприятным сюрпризом, когда кузнец Уилл Джойс явился вдруг в полицию и признался, что убийца — он! Он явно не желал лишаться заслуженной славы. Сделал признание — и ни в какую. Настаивал на своем и требовал суда. То было зловещее явление: новая, чудовищная угроза обществу, ибо здесь вскрывался мотив, с которым не было никакой надежды справиться, — тщеславие, жажда известности. Если люди будут убивать ради славы, ради блеска газетной популярности, шумного судебного процесса и эффектной казни, какие измышления человеческого ума смогут остановить их и воспрепятствовать им в этом? Город охватила паника; никто не знал, как быть.

Однако ничего не поделаешь, присяжные вынуждены были принять этот вопрос на рассмотрение. И было вынесено решение о предании Уилла Джойса окружному суду. Ну и суд же это был! Главным свидетелем обвинения был подсудимый. Он дал исчерпывающие показания о том, как было совершено убийство; привел даже самые мельчайшие подробности: как он закладывал бочонок с порохом; как тянул пороховую дорожку от дома к такому-то месту; как в это самое время мимо шли Джордж Роналдс и Генри Гарт — они курили, и он попросил на минутку у Гарта сигару и запалил от нее порох, воскликнув: «Долой тиранов-рабовладельцев!» — а Гарт и Роналдс и не подумали его схватить, но просто убежали и до сих пор не выступили свидетелями.

Теперь им, понятно, пришлось дать показания, они выступили, и на них просто жалко было смотреть: видно было, что они рады бы сквозь землю провалиться со страху. Набившаяся в суд публика жадно внимала страшному повествованию Джойса, затаив дух и храня глубокое безмолвие, которое никто не посмел нарушить, пока он не нарушил его сам, громогласно повторив свой возглас: «Смерть тиранам-рабовладельцам!» — прозвучавший до того неожиданно, что присутствующие все вздрогнули да так и охнули в один голос.

Ход судебных заседаний подробно освещался в газете, она опубликовала также биографию преступника и его большой портрет, а заодно и еще кое-какие клеветнические и безумные изображения и разошлась в совершенно немислимом количестве экземпляров.

Казнь Джойса была редкостным, живописнейшим зрелищем. Она привлекла толпы народу. Лучшие места на деревьях и заборах шли по полдоллара; лотки с лимонадом и пряниками дали огромную выручку. Джойс произнес на помосте страстную и сумбурную разоблачительную речь, которая сверкала там и

сям внушительными перлами школьного красноречия и принесла ему тут же на месте славу искусного оратора, а впоследствии, в анналах тайного общества, имя «Оратор-Мученик». Он принял смерть, пылая жаждой крови и призывая товарищей «отомстить за его гибель». Если он понимал хоть что-нибудь в человеческой природе, он, конечно, знал, что для множества молодых людей в этой огромной толпе он был величайшим героем, которому можно было только позавидовать.

Его повесили. И это было ошибкой. Не прошло и месяца со дня его смерти, а уж в тайном обществе, которое он почтил своим участием, было двадцать новых членов, из коих некоторые – серьезные, решительные люди. Их не прельщала его слава, но они преклонялись перед его мученичеством. То, что прежде считалось черным и низким преступлением, стало славным и возвышенным подвигом.

И такое происходило по всей стране. Вслед за мученичеством безумцев-одиночек подымался протест организованный. А затем уже, естественно, шли беспорядки, восстания, военные действия, разорение и последующее возмещение убытков. Это неизбежно, ибо таков естественный ход вещей. Именно этим путем совершались от сотворения мира реформы.

ЮБИЛЕЙ КОРОЛЕВЫ ВИКТОРИИ

Насколько я понимаю, процессия имеет ценность только в двух качествах: как зрелище и как символ. Ее менее важная функция – радовать глаз, тогда как более важная – будить мысль, возвышать дух, трогать сердце и воспламенять воображение. Великолепная процессия – даже если она всего лишь зрелище, лишенное глубокого смысла, вроде масленичного шествия, – вполне достойна того, чтобы зрители ради нее проделали долгое путешествие; в качестве же символа даже самая бесцветная и неживописная процессия, если только она имеет волнующую историческую основу, стоит в тысячу раз больше.

Когда кончилась Гражданская война, десять полков закаленных в боях ветеранов из Нью-Йорка прошли по Бродвею в линялой форме с выцветшими боевыми знаменами, которые были просто-напросто изрешеченными пулями тряпками, – и в каждом проходившем батальоне можно было заметить большую брешь, выразительное пустое место, место товарищей по оружию, которые пали на поле битвы и больше уже не встанут в строй! Всякий раз, когда процессия подходила к местам скопления зрителей, они восторженно приветствовали ее приближение, преисполненные гордости и благодарности; когда же передняя часть процессии проходила и внезапно открывались эти леденящие душу бреши, воцарялось молчание; люди надолго теряли способность управлять своими голосами и сливать их

в приветственный рев. Это поразительное молчание после ураганов восторженных приветствий было самым волнующим и потрясающим из всего, что мне когда-либо доводилось видеть.

В этой процессии не было ни красивых костюмов, ни ярких красок, ни украшений, ни блеска, и тем не менее она была самым незабываемым зрелищем, самым благотворным, возвышенным и великолепным в моей жизни. И это потому, что она имела историческое содержание, потому что она была символом и олицетворяла нечто важное, а также потому, что люди воспринимали ее не физическим, а духовным зрением. Для физического восприятия там не было ничего особенно замечательного, но для восприятия духовного, для воображения открывались целые материки, беспредельные горизонты.

Чтобы быть значительной, процессия должна либо блистать великолепием и радовать глаз, либо символизировать нечто благородное и возвышенное, взывая тем самым к воображению. Если говорить только о зрелищной стороне, я думаю, что процессия в честь королевы не будет столь великолепна, как недавняя коронация русского царя; она, по-видимому, сильно уступит в смысле богатства и привлекательности костюмов процессии из «Тангейзера»; количеством знаменитых людей, принимающих в ней участие, она, вероятно, уступит и некоторым из ранее бывших в Англии процессий. И тем не менее я полагаю, что в своей главной, символической функции, даже если бы все ее участники были одеты в повседневную одежду и шествовали без флагов и музыки, она все равно оказалась бы самой памятной и важной процессией, когда-либо двигавшейся по улицам Лондона.

Ибо она олицетворяет историю Англии, становление Англии, достижения Англии, концентрирует мощь, славу и величие двадцати веков напряженных усилий. Многие в этой процессии наведет на мысль о том, какую большую роль в сегодняшнем мире играет Англия, что в свою очередь заставит человека, даже если у него совсем нет воображения, бросить взгляд на ее долгую историю, отметить этапы ее прогресса, вспомнить, с чего она начинала. В этом отношении и сам Лондон довольно красноречивый объект для изучения.

Полагаю, что Лондон существовал всегда. Трудно представить себе Англию без Лондона. Нет сомнения, что на его месте пять тысяч лет назад было поселение. Оно располагалось на реке, где-то чуть западнее того места, где теперь Тауэр. Оно состояло из грязных крытых соломой хижин, поблизости протекали два прозрачных ручейка, а со всех сторон на многие мили тянулись поросшие свежей зеленой травой равнины; то там, то здесь попадались кучки деревьев, иногда целые рощи. Люди носили шкуры – иногда свои собственные, иногда содранные с других животных. Вождь был монархом и раскрашивал себе лицо голубой краской. Его промышленностью была охота, его отдыхом – война. Некоторые из англичан, которые будут смот-

реть сегодня процессию, несут в своих жилах его древнюю кровь.

Возможно, эта деревушка оставалась такой, какой она была с самого начала, вплоть до римского завоевания две тысячи лет назад. Она мало походила на город и тогда, когда Альфред пек лепешки. Даже когда ее впервые увидел Вильгельм Завоеватель, она мало что из себя представляла. Думаю, что там было не много выдающихся архитектурных сооружений, иначе он не отправился бы короноваться в глубь страны, в Вестминстер. Лет через триста пятьдесят Лондон уже имел некоторое влияние, но я думаю, что больше о нем — тогдашнем — сказать нечего. И все же тот Лондон занимает меня потому, что он увидел первую из двух процессий, которые, как я считаю, переживут все остальные, бывшие в английской истории. Первая датируется 1415 годом, вторая — 1897-м.

Плотно застроенная часть Лондона в 1415 году представляла собой узкую полоску длиной меньше мили, тянувшуюся к востоку и к западу через центр того, что теперь называется Сити. Дома плотнее всего стояли в районе Чипсайда. К югу от этой полосы были разбросаны дома знати, стоявшие на покрытых дерном лужайках, спускавшихся к реке. С севера к стенам города подступали поля и деревенские усадьбы. Представим тогдашний Лондон в виде трех вытянутых в ряд клеток шахматной доски; если теперь раскрыть какую-нибудь нью-йоркскую газету, словно книгу, то пространство, которое она покроет, будет в точности соответствовать Лондону наших дней. Разница такая же, как между вашей рукой и одеялом. Возможно, что в те времена в Лондоне жило 100 тысяч человек, а еще 100 тысяч специально прибыли туда, чтобы увидеть процессию. В современном Лондоне живет пять или шесть миллионов, и было подсчитано, что в связи с сегодняшней церемонией население подскочило до 10 миллионов.

Празднество 1415 года должно было отметить гигантскую победу при Азенкуре, — тогда, да и до сих пор самую грандиозную в английской истории.

С того самого дня вплоть до нашего времени не было ничего, кроме Плесси, хоть сколько-нибудь приближающегося к этой победе по масштабу. Это был последний и величайший из трех чудовищных разгромов, учиненных англичанами французам в Столетней войне: Креси, Пуатье, Азенкур. При Азенкуре, как гласит история, 15 тысяч англичан под предводительством Генриха V разгромили французскую армию числом в 100 тысяч человек. Иногда историки называют другие цифры — 8 тысяч англичан против 60 тысяч французов, — но в обоих случаях сохраняется одно и то же соотношение. Восемь тысяч французских дворян были убиты, а остальные взяты в плен — их было полторы тысячи, и среди них герцоги Орлеанский и Бурбон, маршал Бусико; эта победа отдала всю северную половину Франции во владение Англии. Этот сокрушительный удар по

аристократии вызвал столь значительное оскудение ее рядов, что, когда деревенская девушка Жанна д'Арк явилась, через четырнадцать лет, чтобы свести на нет грандиозные последствия деятельности Генриха, она с трудом могла найти дворян в достаточном количестве, чтобы укомплектовать свой штаб.

Битва при Азенкуре состоялась 25 октября, а через несколько дней потрясающая новость уже распространилась по Англии. Вскоре она уже неслась по стране, как волны цунами, как циклон, как опустошительный пожар. Попробуйте сами подобрать сравнение – все равно в языке не найдется метафоры, которая была бы преувеличением для этой бури радости, гордости и торжества, разражавшейся повсюду, куда доходила великая новость.

Король вернулся домой и привел с собой своих воинов – все они теперь стали кумирами нации. Он привел с собой также полторы тысячи пленных рыцарей и дворян – сегодня мы не увидим такого моря голубой крови, ни пленной, ни свободной. Король три недели отдыхал в своем дворце – лондонском Тауэре, пока народ готовил ему подобающий прием. Все было готово 22 декабря.

Тогда не было ни телеграфа, ни корреспондентов, ни газет – факт, достойный сожаления, но не невозполнимый. В Лондоне в то время находился некий молодой человек, который, родись он на пятьсот лет позже, стал бы журналистом – он помнит все подробности. Он донес их до меня с помощью надлежащего средства духовной связи на с трудом воспринимаемой смеси архаического английского и замшелого французского; я перевел его рассказ на современный английский язык и намереваюсь привести здесь. Объясню, что упоминаемый в рассказе сэр Джон Олдкастль – человек, которого мы не очень хорошо знаем под этим именем и который поэтому не слишком нам интересен; мы, однако, хорошо знаем и чтим его под другим именем – сэра Джона Фальстафа. Кроме того, я замечу, что сегодняшняя процессия в честь королевы пройдет две мили по земле, по которой шла процессия в честь Генриха V; теперь вокруг кирпичи и известь, а во времена Генриха V это была открытая местность, обрамленная тем ни с чем не сравнимым великолепием, которое с сотворения мира было монополией английских лесов. О, где теперь те давно исчезнувшие одеяния и шагавшие в той процессии люди, которые никогда не вернуться назад? Не будем слишком дотошно выяснять. Вот перевод рассказа журналиста-призрака, который сейчас поглядывает на меня со своего высокого пристанища, восхищаясь тем, насколько выросло с его времени искусство орфографии!

Рассказ журналиста-призрака

От своего господина лорд-мэра я получил приказ сделать запись для архивов, а также резвого коня и бумагу, разреша-

ющую направляться куда угодно по своему желанию, без помех и не испрашивая ни у кого позволения, даже по той дороге, где должна проходить процессия (что с утра двадцать первого до вечера двадцать второго числа не разрешается никому, кроме самих участников процессии).

Утром двадцать второго, около полудня, я ехал из Тауэра в город и дальше, до собора святого Павла. На всем протяжении пути я видел по обе стороны окна, балконы и крыши, забитые народом, а там, где не было построек, стояли в несколько рядов покрытые красной материей сиденья, тоже заполненные людьми: все были в ярких праздничных нарядах, а женщины-модницы загораживали вид сидящим позади своими осточертевшими, похожими на башни шляпами, которые за последнее время стали вышиной с ярдовую мерную линейку. Со всех балконов свешивались шелковые расшитые полотнища, красивые и разноцветные. День был холодный, но на редкость солнечный, и колышущаяся двойная стена великолепных, блестящих тканей, сверкающих и переливающихся всеми цветами спектра, представляла собой чудеснейшее зрелище. Часто попадались майские деревья, увешанные гирляндами до самых верхушек, с которых свисали длинные шелковые ленты самых ярких цветов, они скручивались, извивались, причудливо переплетаясь на легком ветру.

Я ехал в одиночестве – должно быть, с большой помпой – и, насколько мог заметить, вызывал зависть. Разумеется, мой проезд не мог не повлечь комментариев, и я выслушал их во множестве: по трюмам текло дармовое вино, и следствия этого все сильнее давали себя знать. Я получил массу непристойных шуток по поводу моей езды, одежды и должности. Все вокруг были счастливы, поэтому лучше было выглядеть счастливым и мне, и я действительно выглядел счастливым, понимая, что намерения этих людей не так дурны, как их выходки.

Для меня было приготовлено место на причудливой постройке во дворе собора святого Павла, где я и расположился в ожидании процессии. Как мне показалось, мы ждали довольно долго, наконец в отдалении послышался глухой рокот, и вскоре мы увидели знамена: показалась голова процессии и раздался приглушенный рев приветственных голосов. Рев постепенно приближался, делаясь все громче и громче, сильнее и сильнее, а с ним приближались визг и грохот оркестров; мы уже находились в центре этого рева – казалось, он опрокинет, затопит, оглушит нас... и тут показался герой Азенкура!

Вся несметная толпа вскочила на ноги, лица раскраснелись, все кричали, неистовствовали, у многих текли слезы, а размеренно шагающие воины и боевые знамена едва виднелись сквозь бушующее море шляп и платочков, как сквозь слепящую снежную бурю.

Король, высокий, стройный, красивый, ехал с поднятым забралом, так что все могли видеть его лицо. Он был с головы

до ног закован в серебряные доспехи, сбоку у него был огромный меч с двумя рукоятками, на луке седла висела секира, щит лежал на руке, а над шлемом мягкой белой массой развевались перья. По обе стороны от короля ехали пленные герцоги, с такими же, как у него, перьями, но в длинных атласных мантиях малинового цвета поверх доспехов; за ними ехал так же одетый французский маршал; далее следовали полторы тысячи французских рыцарей, в разноцветных мантиях поверх доспехов; каждую пару французов сопровождало двое английских рыцарей, иногда тоже в разноцветных мантиях, а иногда — в белых с красным крестом на плече — это были тамплиеры. Каждый из трех тысяч рыцарей нес на левой руке вычищенный до блеска щит, на котором красовался его девиз.

Проезжая мимо церкви, король преклонил голову и поднял щит, и в едином порыве все рыцари сделали то же самое; вытянутые в бесконечную линию щиты внезапно отразили солнце, и это было похоже на вспыхнувший луч света длиной в милю, озаривший своим сиянием пестрое море красок, как «золотой вихрь на западе над погружающимся солнцем!» (Использование этой цитаты весьма любопытно, поскольку оно показывает, что наша современная литература имеет хождение на небесах — безусловно, в самовольных изданиях. — М. Т.)

Рыцари проходили очень долго; их сменили пять тысяч воинов, участвовавших в битве при Азенкуре, которые тоже шли долго; последним появился всем осточертевший бурдюк, безбожный враль, сэра Джон Олдкастль (в третий раз воскресший из мертвых), толсторожий, багровый от прошедших и столь милых его сердцу дней беспробудного пьянства, улыбающийся своей радушной широкой улыбкой всему миру, заглядывающийся на женщин, развалившийся в *седле*, прославляющий свои доблестные подвиги со всей лживостью, на которую он способен, относя к себе одному всю славу Азенкура, называя огромное число убитых им врагов и умножая его на 5, 7, 10, 15 со все возрастающим вдохновением, — самое недостойное человека зрелище в Англии, живущее, дышащее преступление, клевета на человеческий род. За ним последовали, кривляясь и развязно болтая, его бесчестные оруженосцы; за ними его «паладины», как он их называет, — самая паршивая свора нищих и трусов, когда-либо осквернявшая землю, бесчестие возвышенной в истории Англии церемонии. Да отправит господь их души в место, им предназначенное!

После короткой молитвы в Темпле процессия двинулась по деревенской дороге, по обеим сторонам которой теснились приветствующие ее толпы, мимо Черинг-Кросса в Аббатство для великой церемонии.

Это был знаменательный день, и он сохранится в памяти людей.

Вот и все, что я имею от журналиста-призрака: он был вынужден на этом месте остановиться, поскольку должен был петь в хоре и уже опаздывал.

Контраст между старой Англией и Англией теперешней — одна из тех вещей, которые должны сделать сегодняшнее торжество особенно впечатляющим и будящим мысли. Контраст между Англией при нынешней королеве и Англией при любом из предшествовавших ей монархов тоже впечатляющая вещь. Британская история насчитывает две тысячи лет, и тем не менее со дня рождения королевы мир во многих отношениях изменился больше, чем за все предшествующие годы, вместе взятые. Существенная доля этого прогресса приходится на моральную сферу, но, разумеется, материальный прогресс поражает больше и легче может быть измерен. С тех пор как королева впервые увидела солнечный свет, она наблюдала изобретение и введение в использование (за исключением волоконотделителя, ткацкого станка и парохода) массы сугубо современных изобретений, которые своей совместной мощью создали суть современной цивилизации и сделали жизнь простой и сложной, удобной и неудобной, счастливой и горестной, спокойной и нервной, великой и пошлой, в высшей степени благословенной и невообразимо проклятой, — она видела все эти поразительные, немислимые чудеса, скопившиеся за ее век, а ей между тем всего лишь семьдесят восемь лет. Иными словами, она видела больше изобретений, чем любой другой когда-либо живший на земле монарх; больше, чем древнейший из когда-либо живших простолюдинов в старой Англии, включая старика Парра; больше даже, чем сам Мафусаил — больше в пять раз.

Некоторые стороны морального прогресса, свидетелем которого она являлась, тоже сильно впечатляют и видны невооруженным глазом.

Она видела, как невероятно изменилось английское уголовное законодательство: из свода законов вычеркнули преступления, караемые смертью.

Она видела, как в Англии исключительно расширилась свобода — исполнительная и законодательная власть, прежде достояние немногих, снизились до народных масс, и в армии был ликвидирован подкуп.

Она видела рождение учителя масс — прессы, и наконец-то владелец самого тощего кошелька смог воспользоваться ее уроками. А ведь даже спустя много лет после рождения королевы того, что можно было бы с полным основанием назвать «газетой», еще не было.

Она видела освобождение мировой литературы посредством международного авторского права.

Она видела изобретение Америкой арбитража, окончательной замены регулярной армии, этого поработителя народов; и видела, как Англия оплатила первый счет в связи с этим, а

Америка уклонилась от оплаты второго, но только временно, — в этом мы можем быть уверены.

Она видела, как американец из Хартфорда (доктор Уэллс) впервые в истории применил при операции обезболивание, на все времена изгнав ужас перед ножом хирурга; она видела также, как остальной мир проигнорировал это, а доктор из Бостона украл приоритет этого открытия.

Она видела, как медицинская наука и научное здравоохранение более чем наполовину уменьшили смертность в цивилизованных городах, как лекарства преградили холере путь в Европе и взяли в плен Черную Смерть в ее собственном доме.

Она видела, как женщина освободилась от тяготы многих обременительных и несправедливых законов; как она обрела право завоевывать степени в мужских колледжах — но не получать их; кое-где права, предоставленные женщинам, подняли их почти до политического равенства с мужчинами, и для женщин нашлась сотня дающих хлеб занятий, — тогда как раньше едва ли можно было найти одно, — и среди них медицина, юриспруденция и профессиональный уход за больными. Королева сама признала достоинства своего пола: из 501 титула лорда, присвоенного ею за шестьдесят лет, один получила женщина.

Королева видела, как право организовывать профессиональные союзы распространилось на рабочих, будучи в течение шести веков монополией хозяев.

Она видела, как выросло политическое значение рабочих, как затем возросло их политическое влияние и как, наконец, они (в некоторых частях земли) стали важнейшей и главенствующей политической силой; она видела, как двенадцати-, четырнадцати- и восемнадцатичасовой рабочий день сократился до восьмичасового — реформа, сделавшая труд средством продления жизни, тогда как раньше он был способом самоубийства за плату.

Но бессмысленно продолжать этот список — у него нет конца.

В сегодняшней процессии будут участвовать люди, цвет кожи которых говорит о тех огромных расстояниях, на которые распространился по беспредельной поверхности земного шара британский суверенитет с тех пор, когда Британия была отдаленным безвестным обиталищем торгующих оловом дикарей, две или три тысячи лет назад; о том, сколь существенная часть этого распространения связана со сравнительно недавними временами; а также о том, как поразительно увеличилось за время правления королевы число англоязычных людей.

Когда королева родилась, в мире было не более 25 миллионов говорящих по-английски; сейчас их около 120 миллионов. Другая долго правившая королева, Елизавета, владела небольшой территорией в 100 тысяч квадратных миль и имела, по-видимому, пять миллионов подданных; Виктория правит на большей территории, чем любой другой монарх в истории; ее

владения покрывают четверть обитаемой части земного шара, а количество подданных составляет 400 миллионов человек.

Воистину грандиозные владения, и я понимаю теперь, что это англичане упомянуты в Писании:

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».

Церемония в честь юбилея правления будет памятным зрелищем, потому что она олицетворяет великолепие Англии и полна напоминаний о том, с чего все начиналось и каковы были силы, сделавшие ее такой, какая она теперь.

Я занял свое место на Стрэнде как раз вовремя — в пять минут одиннадцатого, — чтобы осмотреться, прежде чем начнется зрелище. Дома напротив, насколько хватал глаз в обоих направлениях, напоминали плотно забитые ложи в театре. Сидевший рядом со мной джентльмен сравнил группы людей с цветочными клумбами и сказал, что он никогда не видел такого скопления ярких красок и великолепных нарядов.

Эта демонстрация мод уходила ввысь, этаж за этажом; все балконы и окна были заполнены людьми, люди стояли даже вдоль барьеров на крышах. Трогуары были запружены стоящими, но без особой давки. Людей отделяли от мостовой солдаты в красных мундирах: двойная яркая полоса, протянувшаяся сплошной линией на шесть миль, которые должна проделать процессия.

Через пять минут показалась и стала приближаться голова колонны, ведомая капитаном Эймсом, самым высокорослым человеком в британской армии. Началось оживление. Совсем немного времени понадобилось мне, чтобы понять, что эту процессию нельзя описать. Она должна была включать в себя так много и такое разное, что я оставил эту идею. Это зрелище предназначалось для фотографического аппарата, а не для пера.

Вскоре у процессии уже не было видимых пределов, она тянулась в обе стороны, насколько хватал глаз, — подразделение солдат в голубой форме, за которым шло подразделение в мундирах цвета хаки, затем подразделение в красном, затем опять в хаки, затем в желтом и так далее — бесконечный поток движущихся, танцующих ярких пятен, переливающихся светом, отражаемым штыками, остриями пик, бронзовыми шлемами и начищенными нагрудниками. По разнообразию и красоте мундиров и непрекращающимся сюрпризам всякий раз нового и неожиданного великолепия это значительно превосходило церемонии, которые мне ранее приходилось видеть.

Я никогда и не мечтал о таком ошеломляющем зрелище. Казалось, мимо проходят все нации. Казалось, все они представлены тут. В этом было какое-то аллегорическое напоминание о Судном дне, и те, кто доживет до него, может быть, вспомнят день сегодняшний, если их разум в этот момент не будет слишком растрожен.

Прошло пять подразделений восточных солдат пяти разных национальностей, цвет кожи которых представлял пять разных

оттенков желтого. Затем было около дюжины подразделений черных солдат из разных частей Африки, цвет кожи которых представлял столько же оттенков черного цвета, и некоторые из них были самыми темнокожими людьми, которых я когда-либо видел.

Затем последовала целая выставка из сотни различных коричневых племен из Индии, с самым прекрасным и удобным цветом кожи из всех, которыми был удостоен человек, лучше всего оттеняющим цветную одежду и более всего гармонирующим со всеми красками.

Китайцы, японцы, корейцы, африканцы, индийцы, жители тихоокеанских островов — все они были здесь, а с ними и представители всех белых, населяющих огромные пространства Британской Империи.

Процессия была выставкой человеческих рас, зрелищем забавным и интересным, достойным такого далекого путешествия. Самые роскошные костюмы были у индийских принцев, и сами они были великолепнее и богаче всех. Они имели величественное сложение и королевскую осанку, и, когда они проходили, аплодисменты усиливались.

Солдаты, солдаты, еще и еще солдаты, пушки, мушкеты и пики — казалось, этому не будет конца. В Лондоне 50 тысяч солдат, и впечатление такое, что все они были в этом строю. Я никогда не видел столько солдат, кроме как в театре, где тридцать пять рядовых и генерал маршируют через сцену, потом за сценой и вновь перед публикой и продолжают так до тех пор, пока не изобразят 300 тысяч.

В головной части процессии ехали премьеры колоний, а следом за ними — несметное количество иностранных принцев, общим числом в тридцать один человек.

В высокой романтике недостатка не было, ибо среди них ехал баварский принц Руперт, который был бы теперь принцем Уэльским и будущим королем Англии и императором Индии, если бы его предки Стюарты выполняли свои королевские обязанности более мудро. Он прибыл как мирный гость, представлять свою мать, принцессу Людвигу, наследницу дома Стюартов, которой английские якобиты до сих пор оказывают бесполезное почтение как истинной королеве Англии.

Дом Стюартов формально и официально отстранен от власти уже почти два столетия назад, но микроб якобитской преданности неистребим ни временем, ни силой, ни доводами.

Наконец, когда процессия была на виду уже полтора часа, начали появляться кареты. Сначала появилась группа карет, запряженных парами лошадей, в которых ехали чрезвычайные послы, и среди них Уитлоу Рид, представляющий Соединенные Штаты; далее шесть карет, содержащих менее значительных иностранных и местных принцев и принцесс; затем пять запряженных четверками карет с представителями боковых ветвей королевской фамилии.

Воодушевление нарастало; интерес поднимался до точки кипения. Наконец показалось ландо с восемью лошадьми светло-гнедой масти, щедро обитое золотистой материей, с форейторами и без кучеров, впереди которого ехал лорд Уолсли, а позади – принц Уэльский; все встали и обнажили головы.

Это прибыла королева Империи. Ее встретили с огромным энтузиазмом. Чувствовалось, что она была сама процессия; что все остальные были просто декорацией; что в ней публика видела самое Британскую Империю. Она была символом, аллегорией величия Англии и могущества понятия «Британния».

Теперь все окончено; Британская Империя исчезла из поля обозрения. Процессия олицетворяла шестьдесят лет прогресса и накопления, морального, материального и политического. Она состояла скорее из пользующихся этими благами, чем из тех, кто их создал.

Известно, что с тех пор, как королева взошла на трон, внешняя торговля Британии выросла фантастическим образом. В прошлом году ее оборот достиг грандиозной цифры в 620 миллионов фунтов стерлингов, но ни банкир, ни промышленник, ни торговец, ни рабочие не были представлены в процессии, чтобы получить свою огромную долю в обретенной славе.

За прошедшие шестьдесят лет Великобритания в день добавляла к своим владениям в среднем по 165 миль территории, то есть за каждый год добавлялась территория, превосходящая по размеру Англию, и за шестьдесят лет накопилась территория, равная семидесятикратному размеру страны.

Но в процессии не участвовал Сесиль Родс; в ней отсутствовала концессионная компания. Не было никого, чтобы получить его долю славы, заслуженную гигантским вкладом в расширение владений империи. Не было даже доктора Джеймсона, хотя он проявил огромное старание в деле присоединения территорий.

В процессии были представлены одиннадцать премьеров колоний, но магистр ордена – премьер-министр империи – отсутствовал; не было лорда – главного судьи, не было спикера палаты общин. Основные силы, укрепившие позиции англиканства в мире, в богослужениях не участвовали. Грандиозная новая индустрия – спекулятивная экспансия – в Соборе представлена не была, если не считать жалкой тени Барнато, незримо проехавшей в составе процессии.

Это была незабываемая демонстрация, и она должна остаться в истории. Она четко и верно представила материальную славу правления. Отсутствие главных создателей этой славы, наверное, не стоит считать серьезным недостатком. Можно с помощью воображения добавить недостающее и тем самым прекрасно пополнить процессию. Можно наслаждаться видом радуги, вовсе не забывая при этом о тех силах, что создали ее.

МОЯ ПЕРВАЯ ЛОЖЬ И КАК Я ИЗ НЕЕ ВЫПУТАЛСЯ

Насколько я понимаю, вам желательно получить у меня сведения о том, как я впервые в жизни солгал и каким образом я из этой лжи выпутался. Я родился в 1835 году; сейчас мне уже немало лет и память у меня не та, что прежде. Лучше бы вы спросили, как и когда я впервые сказал правду, мне было бы куда проще на это ответить, так как эти обстоятельства я помню довольно отчетливо. Так отчетливо, точно это случилось на прошлой неделе. Мое семейство уверяет, что случилось это на позапрошлой неделе, но это попросту лесть с их стороны и, вероятно, объясняется какой-то корыстной задней мыслью. Когда у человека имеется богатый жизненный опыт и он достиг 64-летнего возраста, то есть возраста благоразумия, он хотя и любит по-прежнему получать комплименты от своей семьи, однако они уже не кружат ему голову, как раньше, когда он был наивен и легковверен.

Я не помню сейчас свою самую первую ложь, дело было слишком давно, но вот вторую свою ложь я помню отлично. Было мне тогда девять дней от роду, и я заметил, что, если в меня втыкается булавка и я довожу об этом до сведения окружающих громким ревом, меня нежно ласкают, ублажают и успокаивают, что весьма приятно, и даже выдают сверх программы лишнюю порцию еды. Человеческой природе свойственно жаждать подобных благ, и вот я пал. Я солгал насчет булавки, громогласно возвестив о наличии таковой, когда ее и в помине-то не было. Точно так же поступили бы и вы, даже Джордж Вашингтон поступал таким образом, так поступил бы любой. В течение первой половины моей жизни я не знал ребенка, который был бы в силах отказаться от такого соблазна и удержаться от этой лжи. Вплоть до 1867 года все дети цивилизованных народов были лжецами, включая Джорджа. А потом придумали английскую булавку, которая положила конец этой разновидности лжи. Однако стоит ли чего-нибудь подобная реформа? Нет, никакой добродетели она в себе не таит. Ведь это реформа, произведенная силой. Таким образом, просто-напросто пресечена возможность продолжать эту разновидность лжи, но ни в какой степени не уничтожено самое стремление лгать. В данном случае налицо колыбельный вариант обращения в истинную веру огнем и мечом или насаждения трезвенности с помощью закона о запрещении спиртных напитков.

Итак, вернемся к вопросу о моей младенческой лжи. Окружающие не обнаружили булавок и поняли, что к всемирному легиону лжецов добавился в моем лице еще один. Они уразумели также (результат редкой проницательности!) вполне обыденный, но редко замечаемый факт: что почти всякая ложь — действие, а слово в этом деле не играет никакой роли.

При дальнейшем расследовании они, возможно, сделали открытие, что все люди без исключения — лжецы, и притом с колыбели; что люди лгут с утра, как только просыпаются, и продолжают лгать без пауз и передышек вплоть до ночи, когда укладываются спать. Додумавшись до этой истины, они, вероятно, огорчились, даже наверняка огорчились, если привыкли опрометчиво полагаться на сведения, почерпнутые из книг и в школе. А в сущности — с какой стати человеку огорчаться по поводу положения вещей, в котором он, в силу извечного закона природы, создавшей его, ничего не может изменить? Не сам же человек выдумал этот закон, а раз он существует, значит, надо спокойно подчиниться ему и молчать об этом, значит, надо присоединиться к всемирному заговору и молчать, молчать так упорно, что это введет в заблуждение других заговорщиков и они, может быть, вообразят даже, что он и не знает о существовании сего извечного закона. Все мы так поступаем — мы, знающие о его существовании. Я имею в виду ложь молчаливого согласия или утверждения. Ведь можно солгать, не выговорив ни единого слова. Все мы так делаем — Мы, знающие о существовании закона. По грандиозности масштабов своего распространения ложь молчаливого согласия — самая величественная из всех, какие любая цивилизованная нация считает своим священным и важнейшим долгом оберегать, сохранять и распространять.

Приведу пример. Немыслимо, казалось бы, чтобы гуманный и разумный человек нашел рациональное оправдание рабству; а между тем, если вы припомните, когда в Северных Штатах началась борьба за отмену рабства, аболиционисты получали очень слабую поддержку. Как бы они ни доказывали, ни умоляли и ни убеждали, они не в силах были сломить царившее вокруг этого вопроса всеобщее безмолвие. От церковных кафедр, через печать, во все решительно слои общества сверху донизу распространялось липкое безмолвие, порожденное ложью молчаливого согласия. Молчаливого согласия в том, будто ничего не происходит такого, что вызывало бы беспокойство или заслуживало интерес гуманных и разумных людей.

С самого начала дела Дрейфуса и вплоть до его завершения вся Франция, за исключением нескольких десятков подлинно рыцарских душ, была окутана густой пеленой лжи молчаливого утверждения, что никто не совершает несправедливости по отношению к затравленному и ни в чем не повинному человеку. Такой же пеленой лжи недавно была окутана Англия; добрая половина ее населения делала вид, будто не знает о том, что мистер Чемберлен пытается сфабриковать войну в Южной Африке и готов платить бешеные деньги тем, кто ему в этом поможет.

Итак, мы располагаем примерами того, как три ведущие якобы цивилизованные страны оперируют ложью молчаливого согласия. Можно ли в этих трех странах найти еще подобные

образчики? Я полагаю, что можно. Немного, быть может, ну, скажем, чтобы не преувеличивать, — с миллиард, что ли. Применяют ли эти страны упомянутую разновидность лжи дено и ношно, в тысячах и тысячах вариантов, непрерывно и постоянно? Да, мы знаем, что так оно и есть. Всемирный заговор лжи молчаливого согласия действует активно всегда и всюду, и притом неизменно в интересах глупости или обмана, в интересах же чего-либо возвышенного или достойного — никогда. Является ли такая ложь наиболее гнусной и подленькой из всех? Похоже, что так. В течение многих столетий эта ложь безмолвно работала в интересах деспотизма, аристократии, рабовладельческих режимов, военных и религиозных олигархий. Благодаря ей они и по сей день существуют, мы видим их и тут и там — словом, повсюду на земном шаре. Они и будут существовать, пока не выйдет в тираж ложь молчаливого согласия, ложь молчаливого утверждения, будто кругом ничего не происходит такого, что заслуживало бы вмешательства и пресечения со стороны справедливых и мыслящих людей.

Собственно говоря, я веду свою речь вот к чему: при таком положении вещей, когда целые расы и народы участвуют в заговоре по распространению грандиозной молчаливой лжи в интересах тиранов и обманщиков, к чему тревожиться о пустяковых, мелких неправдах, допускаемых отдельными личностями? К чему попытки доказать, будто отказ от лжи является добродетелью? К чему такой самообман? Почему, интересно знать, мы не стыдимся способствовать распространению лжи в государственных масштабах, но стесняемся немного приврать от себя лично? Не лучше ли быть честными и прямыми и лгать всякий раз, как представляется к тому возможность? Я хочу сказать, почему бы нам не быть последовательными и либо лгать постоянно, либо не лгать вовсе? И если в течение целого дня мы помогаем государству лгать и обманывать, так почему же считается предосудительным позволить себе на сон грядущий какую-нибудь небольшую индивидуальную, личную ложь в собственных интересах? Этакую малюсенькую освежающую ложь, хотя бы для того, чтобы отбить неприятный привкус, оставшийся во рту за целый день?

Живя здесь, в Англии, я наблюдаю самые любопытные нравы. Англичане ни за что не солгут вслух, никакими силами не заставишь их это сделать. Если, разумеется, речь не идет о высоких материях вроде политики или религии. Солгать вслух, чтобы получить от этого какую-нибудь личную выгоду, им кажется невозможным. Мне даже иногда совестно за себя, такие они фанатики в этом отношении. Даже для смеха они не солгут, не солгут и тогда, когда ложь не принесет ни малейшего вреда кому бы то ни было. Это бессмысленно, однако действует на меня сдерживающим образом, и я серьезно опасаясь, как бы мне и самому не разучиться лгать — от недостатка практики!

Разумеется, они, как и другие люди, позволяют себе разнообразную мелкую ложь, не высказанную вслух. Но они этого просто не замечают, пока их не надоумишь. Меня они довели уже до того, что я почти никогда не позволяю себе солгать вслух, а если уж решусь на это, то лгу только наполовину; и представьте, даже к такой полудлжи они относятся неодобрительно. Но пойти на большее, даже во имя укрепления дружественных отношений между обеими нашими странами, я не способен, должен же я в конце концов сохранить хоть каплю уважения к самому себе, да и о здоровье и нервах надо подумать. Я могу просуществовать на строгой диете, но совсем без пищи жить не могу.

Бывает, конечно, что даже англичанам приходится произнести ложь вслух — ведь время от времени такое случается с каждым из нас, — случилось бы и с ангелами, если бы они почаще к нам прилетали. Да, именно с ангелами, так как та ложь, которую я имею в виду, произносится в порядке самопожертвования, в возвышенных, а не низменных целях. Что же касается англичан, то они пугаются даже такой лжи, она как-то сбивает их с толку. Я с изумлением наблюдаю за ними и прихожу к выводу, что все они просто сумасшедшие. Положительно, Англия — это страна самых любопытных предрассудков.

У меня есть приятель англичанин, с которым я дружу уже лет двадцать пять. Вчера, когда мы с ним ехали на империале омнибуса в Сити, я рассказал ему об одной своей полудлжи. Это была типичная полудложь, этакая ложь-полукровка, ложь-мулат, так сказать. В последнее время я только на подобную ложь и способен, на настоящую здесь нет никакого спроса.

Итак, я ему рассказал, как, будучи в прошлом году в Австрии, я выпутался из очень затруднительного положения. Не знаю, что бы со мной случилось, если бы я своевременно не сообразил сообщить полиции, что принадлежу к тому же роду, что и принц Уэльский. После этого все пошло как по маслу: все стало чрезвычайно любезно, меня отпустили, принесли извинения и просто не знали, как и чем меня ублажить, и тысячу раз принимались объяснять, как могла произойти такая неприятная ошибка с их стороны, и обещали чуть ли не повесить того полицейского, который меня задержал, и выразили надежду, что я не затаю обиды и не стану на них жаловаться. Я со своей стороны заверил их, что они могут вполне на меня положиться.

Вслушав меня, мой друг сказал строго:

— И это ты называешь полудложью? А где же тут половина правды?

Я разъярил, что самая форма моего заявления полиции является полудложью-полуправдой.

— Я ведь не говорил, что являюсь членом королевской семьи, я сказал, что принадлежу к тому же роду, что и принц Уэльский, имея в виду род человеческий. Если бы у этих людей была хоть капля сообразительности, они бы сразу все поняли.

Не могу же я в самом деле обеспечить полицию мыслительными способностями, нечего от меня ожидать этого.

– А как ты себя чувствовал после этого инцидента?

– Ну, конечно, я несколько огорчился, увидев, что полиция поняла меня превратно. Но, поскольку я не говорил никакой заведомой лжи, я считал, что у меня нет оснований не спать по ночам и терзаться угрызениями совести.

Мой друг несколько минут обдумывал сказанное мной, после чего заявил, что в его понимании моя полуложь является полной ложью, а кроме того, я допустил умышленное и дезориентирующее замалчивание разъясняющего факта. Таким образом, с его точки зрения, я солгал не один раз, а два.

– Я бы так не поступил, – заявил он, – я ни разу в жизни не солгал и был бы весьма огорчен, если бы оказался в подобном положении.

В этот момент он приподнял шляпу, расплылся в улыбке, закивал головой и с выражением радостного изумления приветствовал какого-то джентльмена, проезжавшего мимо нас в экипаже.

– Кто это такой, Джордж? – осведомился я.

– Понятия не имею.

– Зачем же ты приветствовал его?

– Видишь ли, я заметил, что ему кажется, будто мы знакомы, и он ожидал, что я с ним поздороваюсь. Если бы я не поздоровался, ему было бы обидно. Мне не хотелось ставить его в неловкое положение на виду у всех.

– У тебя доброе сердце, Джордж, и ты поступил правильно. Это поступок достойный, похвальный, благородный. Я сам поступил бы точно так же, но все-таки это была ложь.

– Ложь? Но ведь я ни единого слова не вымолвил. Как это у тебя получается?

– Я знаю, что ты не произнес ни слова, тем не менее ты своей мимикой весьма отчетливо и даже восторженно сказал: «А-а, значит, вы уже в городе? Страшно рад видеть вас, старина, когда же вы вернулись?» В твоих действиях было запрятно «умышленное и дезориентирующее замалчивание разъясняющего факта» – того факта, что ты никогда в жизни его не встречал. Ты выразил радость, увидев его, – чистейшая ложь; ты добавил к этому умолчание – еще одна ложь. Налицо точное повторение того, что сделал я. Но ты не сокрушайся, все мы так поступаем.

Часа через два после этого, во время обеда, когда обсуждались совсем иные вопросы, Джордж рассказал, как однажды он успел буквально в последнюю минуту оказать большую услугу одной семье, своим давнишним друзьям. Глава этой семьи скоропостижно скончался, причем обстоятельства его смерти были таковы, что, преданные огласке, они бы скомпрометировали его самым скандальным образом. Ни в чем не повинная семья в этом случае была бы покрыта позором, не говоря уже о

сопутствующих душевных переживаниях. Спасение было только в одном – солгать самым беззастенчивым образом, и вот он, фигурально выражаясь, засучил рукава и взялся за это дело.

– И семья так ничего и не узнала, Джордж?

– Нет. За все эти годы они ничего даже не заподозрили. Они всегда гордились им и всегда имели к тому основания; они продолжают и теперь гордиться им, его память священна. Образ его остался для них незапятнанным и прекрасным.

– Им очень повезло, Джордж.

– Да, я действительно подоспел вовремя.

– А ведь могло случиться, что вместо тебя подвернулся бы как раз один из этих бессердечных и бесстыдных фанатиков правды. Я знаю, Джордж, ты миллионы раз в своей жизни говорил правду, но эта великолепная, блестящая ложь искупает все. Продолжай в том же духе и дальше.

Возможно, я покажусь кое-кому безнравственным, но такая точка зрения не выдерживает критики. Имеется множество разновидностей лжи, к которым и я отношусь неодобрительно. Мне не нравится ложь, наносящая ущерб (за исключением тех случаев, когда наносится ущерб не мне, а кому-нибудь другому). Мне не нравится ложь беспашающая, равно как и ложь ханжески-праведная. Ложь последнего типа применялась Брайантом, а первого – Карлейлем.

Мистер Брайант как-то сказал: «Повергни истину – она восстановит».

Лично я получал медали за разнообразную ложь на тринадцати всемирных выставках и смею утверждать, что не лишен способностей в этой области. Но никогда в жизни я не сказал такой грандиозной лжи, как мистер Брайант, явно стремившийся с ее помощью завоевать себе дешевую славу; правда, все мы к этому стремимся. Что же касается Карлейля, смысл того, что он говорил, сводится к следующему (я не помню точных его слов); «Существует незыблемая истина – ложь не может быть долговечной».

Я отдаю дань почтительного восхищения книгам Карлейля, его «Революцию» я прочел восемь раз. Поэтому мне хочется думать, что он был немного не в себе, когда изрек приведенную выше фразу. Для меня совершенно очевидно, что он сказал это в состоянии крайнего возбуждения, когда выгонял со своего заднего двора американцев. Они имели привычку ходить туда к нему на поклонение. В глубине души Карлейль, возможно, и любил американцев, но он очень ловко это скрывал. Он всегда держал для них наготове запас кирпичей, но броски его не отличались меткостью, и история сохранила сведения о том, что американцы успешно увертывались от ударов, а брошенные кирпичи уносили с собой на память. Любовь к сувенирам – наша национальная черта, и мы не слишком привередливы насчет того, как к нам относится человек, от которого мы их

получаем. Я твердо уверен, что свое более чем странное убеждение, будто ложь недолговечна, он высказал в сердцах, промахнувшись по какому-нибудь американцу. Он сказал это более тридцати лет тому назад – и что же? Эта ложь до сих пор живет, процветает и, вероятно, переживет любой исторический факт. В спокойном состоянии Карлейль был правдив, но, окруженный достаточным количеством американцев и снабженный соответствующим запасом кирпичей, он приходил в такое состояние, что мог бы не хуже меня получать медали.

Что же касается того знаменитого случая, когда Джордж Вашингтон сказал правду, то в него следует внести некоторую ясность. Как известно, этот случай – драгоценнейшая жемчужина в короне Америки. Вполне естественно, что мы стараемся выжать из нее все, что можно, как сказал Мильтон в своей «Песне последнего менестреля». То была правда своевременная и расчетливая, в таких обстоятельствах я и сам сказал бы правду. Но я бы этим ограничился. Это была величественная, вдохновенная, высокая правда, настоящая Эйфелева башня. Мне кажется, было ошибкой отвлечь внимание от божественности этой правды и построить рядом с ней еще одну Эйфелеву башню, в четырнадцать раз выше первой. Я имею в виду его заявление, что он «не может солгать». Таковую вещь вы можете рассказать своей бабушке или в крайнем случае предоставить это Карлейлю – это как раз в его стиле. Такая ложь могла бы стяжать медаль на любой европейской выставке и способна была бы даже удостоиться почетной грамоты в Чикаго. Но не будем придирааться: в конце концов, Отец и Основоположник нашей родины был в тот момент взволнован. Я сам бывал в таком положении и вполне его понимаю.

Против сказанной им правды о вишневом деревце у меня, как я уже указывал, нет ровно никаких возражений. Но мне кажется, она была сказана по вдохновению, а не преднамеренно. Обладая острым умом военного, он, вероятно, сначала думал свалить вину за срубленное дерево на своего брата Эдварда, однако вовремя оценил таящиеся тут возможности и сам использовал их. Расчет мог быть такой: сказав правду, он удивит своего отца, отец расскажет соседям, соседи распространят эту весть дальше, она будет повторяться у каждого очага, и в конце концов именно это и сделает его президентом, причем не просто президентом, а Первым Президентом. Да, мальчонка отличался дальновидностью и вполне способен был все заранее обдумать. Таким образом, с моей точки зрения, его поступок оправдал себя. Отнюдь не так обстоит дело с Эйфелевой башней номер два. Это было ошибкой. А впрочем, по зрелом размышлении, может быть, тут и не было ошибки. В самом деле, если вдуматься, то именно вторая Эйфелева башня обессмертила первую. Ведь если бы он не заявил: «Я не могу солгать», не было бы всего последующего переполоха. Именно это ведь вызвало землетрясение, потрясшее нашу планету. Подобные

изречения живут вечно, а приуроченные к ним факты имеют шанс разделить их бессмертную славу.

Подводя итоги, я должен сказать, что в целом я доволен созданным положением вещей. Существуют, правда, некоторые предрассудки относительно словесной лжи, но против других разновидностей лжи никто не возражает, а мне, в результате тщательного изучения вопроса и сложных математических расчетов, удалось установить, что словесная ложь относится к другим разновидностям, как 1 к 22894. Таким образом, словесная ложь фактически не имеет никакого значения, и нет смысла поднимать вокруг нее шум и делать вид, будто она — предмет, достойный внимания. Швырять кирпичи и проповеди надо в другое — в колоссальную молчаливую Национальную Ложь, являющуюся опорой и пособником всех тираний, всех обманов, всяческого неравенства и несправедливости, разъедающих человечество. Но будем благоразумны и предоставим эту задачу кому-нибудь другому.

Кроме того... а впрочем, я слишком удалился от первоначальной темы. Так каким же образом я выпутался из своей второй лжи? Кажется, я выпутался из нее с честью, но я в этом как-то не уверен — очень уж давно все это было, и некоторые подробности изгладились из моей памяти. Припоминаю, что меня повернули лицом вниз, и я лежал у кого-то поперек колен, потом еще что-то произошло, но точно не припомню, что именно. Кажется, играла музыка, но все передо мной сейчас в тумане, все представляется неясным и призрачным после стольких лет, и, возможно, последнее обстоятельство — всего лишь плод старческой фантазии.

СВЯТАЯ ЖАННА Д'АРК

Глава I

Свидетельства, представленные на процессах по обвинению и реабилитации, выявляют в ясных и мельчайших подробностях

Примечание: Официальный протокол процесса по реабилитации Жанны д'Арк — самая замечательная история, существующая на каком-либо языке; однако очень мало людей в мире могут сказать, что они читали ее: в Англии и Америке о ней вряд ли даже слышали.

Триста лет назад Шекспир не знал подлинной истории Жанны д'Арк, в его время она была неизвестна даже во Франции. В течение четырехсот лет рассказ об этих событиях существовал скорее в виде неясно очерченной романтической истории, нежели как определенная и достоверная хроника. Подлинная история оставалась погребенной в официальных архивах Франции с момента реабилитации в 1456 году до тех пор, пока Кишера не откопал ее лет шестьдесят назад и не подарил ее миру на ясном и понятном современном французском языке. Это — история, завораживающая душу. Но лишь в официальном протоколе процесса она существует во всей своей полноте. — М. Т.

странную и прекрасную историю Жанны д'Арк. Среди множества биографий, заполняющих полки библиотек мира, *та-единственная, достоверность которой подтверждена присягой*. Она дает нам яркую картину жизненного пути и личности, столь выдающихся, что они находятся вне пределов, доступных вымыслу, и уже один этот факт лишний раз подтверждает их реальность. Та часть этой жизни, что прошла на виду, занимает чрезвычайно короткий промежуток времени – всего лишь два года, но какая это была жизнь! Личность, прожившая ее, достойна благоговейного изучения, любви, изумления, но даже с помощью самого тщательного анализа трудно до конца понять и объяснить происшедшее.

В шестнадцатилетней Жанне д'Арк ничто не обещало романтического будущего. Она жила в убогой деревушке на краю цивилизации, нигде не была и ничего не видела, не знала никого, кроме пастухов, никогда не встречала ни одной важной персоны, вряд ли представляла себе, как выглядит солдат, никогда не ездила верхом и не держала в руках оружия, умела прясть и шить, но не умела ни читать, ни писать, знала катехизис, молитвы и невероятные истории о святых – вот и все ее образование. Такова была Жанна в шестнадцать лет. Что знала она о законе? О даче показаний? О судопроизводстве? О ремесле адвоката? Ничего. Меньше чем ничего. В столь исключительной степени вооруженная невежеством, она предстала перед судом в Туле, чтобы опровергнуть ложное обвинение в нарушении обещания выйти замуж; она сама вела свое дело, без чьей-либо помощи или совета, без чьего-либо дружеского сочувствия, – и выиграла его. Она не приглашала своих свидетелей, но сумела разбить обвинение, используя с неотразимой эффективностью его же показания. Удивленный судья прекратил дело и в дальнейшем называл ее не иначе, как «это чудесное дитя».

Она явилась к старому воину, коменданту Вокулера, и попросила дать ей в сопровождение солдат, сказав, что она должна прийти на помощь королю Франции, поскольку бог predetermined ей миссию отвоевать для него утраченное им королевство и возложить на его голову корону. Комендант удивился: «Кто? Ты? Да ты же еще ребенок». И посоветовал ей вернуться домой и заткнуть уши. Но она ответила, что должна послушаться бога, и будет приходиться снова и снова, пока в конце концов не получит солдат. Она сказала правду. Со временем, после нескольких месяцев проволочек и отказов, комендант сдался, выделил ей солдат и, обнажив свой меч, перedal его ей, сказав: «Иди – и будь что будет». Жанна пределала долгое и рискованное путешествие по занятой врагом стране, имела беседу с королем и убедила его начать борьбу. После этого ее вызвали в университет Пуатье, дабы увериться, что она имеет поручение от бога, а не от сатаны, и там ежедневно в течение трех недель она без страха представала

ла перед ученым собранием и уверенно, как подсказывали ей необразованный, но живой ум и простое, честное сердце, отвечала на глубокомысленные вопросы; и вновь она выиграла свое дело, вызвав удивление и восхищение всего этого достойного собрания.

И вот в семнадцать лет Жанну сделали главнокомандующим, имеющим в подчинении принца из королевского дома и многоопытных генералов Франции; во главе первой армии, какую она видела в своей жизни, она проследовала к Орлеану, в результате трех отчаянных приступов штурмом взяла важнейшие крепости врага и в десять дней сняла осаду, которая семь месяцев бросала вызов могуществу Франции.

После мучительного и объяснимого лишь безумием бездействия, вызванного нерешительностью короля и предательскими советами его министров, ей снова разрешили начать военные действия. Она штурмом взяла Жаржо, Менг, заставила сдать Божанси; затем – в открытом поле – выиграла памятную битву у Патэ против Тальбота, «английского льва», чем внесла перелом в ход Столетней войны. Эта кампания заняла всего лишь семь недель; если бы она длилась пятьдесят лет, политические результаты не были бы столь значительны. Для английской власти во Франции Патэ – эта невоспетая и давно забытая битва – была тем же, чем была для Наполеона Москва; от удара, полученного в этот день, ей уже не суждено было оправиться. Это было началом конца чужеземного господства, от которого Франция страдала с небольшими перерывами триста лет.

Затем последовала великая луарская кампания, взятие штурмом Труа и триумфальный марш через сдающиеся города и крепости в Реймс, где в соборе Жанна возложила корону на голову своего короля под неистовое ликование публики, в присутствии своего старого крестьянина-отца, который пришел туда, чтобы увидеть все это собственными глазами и, если возможно, поверить. Она вернула королю корону и восстановила утраченную им власть; король единственный раз за свою ничтожную и убогую жизнь испытал чувство благодарности и предложил ей назвать вознаграждение и получить его. Не потребовав для себя ничего, она попросила, чтобы ее родная деревня была навсегда освобождена от налогов. Просьба была удовлетворена и исполнялась в течение трехсот шестидесяти лет. Затем обещание было нарушено и продолжает нарушаться до сих пор. Тогда Франция была очень бедна, теперь она очень богата, однако продолжает: взимать эти налоги уже более сотни лет.

Жанна попросила еще об одной милости: ввиду того, что теперь ее миссия исполнена, разрешить ей вернуться в свою деревню, чтобы вести там скромную жизнь с матерью и друзьями детства, ибо ей не доставляют удовольствия жестокости войны, а вид крови и страданий терзает ее сердце. Иногда в

битве она даже не обнажала меч, чтобы в благородном безумии атаки не забыться и не отнять жизнь у кого-нибудь из врагов. На суде в Руане одним из удивительнейших ее изречений – природа его в девической мягкости Жанны – было наивное замечание о том, что она «никогда никого не убивала». Ее мольба о разрешении вернуться к миру и покою деревенской жизни не была уважена.

Тогда она решила двинуться на Париж, взять его и изгнать англичан из Франции. Ей мешали всеми средствами, на которые только способно предательство и игравшие ему на руку колебания короля, но Жанна проделала все-таки путь до Парижа и была тяжело ранена при сулившей успех осаде городских ворот. Конечно, ее воины сразу же пали духом – ведь весь их боевой дух заключался в ней одной. Они отступили. Она умоляла разрешить ей остаться на переднем крае, убеждая, что победа неизбежна. «Я возьму Париж теперь или умру», – сказала она. Но ее силой увели с поля боя; король приказал отступить и фактически распустил армию. В соответствии с прекрасным военным обычаем Жанна освятила свои серебряные доспехи и повесила их в соборе в Сен-Дени. Их великие дни кончились.

Затем, повинуясь приказу, она последовала за королем и его легкомысленным двором и некоторое время, насколько позволял ее свободолюбивый дух, выдерживала почетный плен; когда же бездействие становилось невыносимым, она собирала людей, выезжала на штурм опорных пунктов и захватывала их.

Наконец, во время вылазки против врага под Компьнем, 24 мая (когда ей исполнилось восемнадцать), она сама, после доблестного сражения, была захвачена в плен. Это была ее последняя битва. Ей не суждено было больше шагать под грохот барабанов.

Так закончилась самая короткая в истории эпохальная военная карьера. Она длилась лишь год и месяц, но началась, когда Франция была английской провинцией, и заложила основу новой Франции, той, которую мы знаем сегодня. Тринадцать месяцев! И правда, это была короткая карьера; но в течение прошедших с той поры веков жили и умерли пятьсот миллионов французов, осчастливленные ее благодеяниями; и пока будет существовать Франция, ее громадный долг Жанне будет расти. Франция благодарна Жанне д'Арк; она не устает говорить об этом. Но бережлива: не забывает взимать налоги с Домреми.

Глава II

Жанна была обречена провести остаток своей жизни за решеткой. Она была военнопленной, а не преступником, поэтому ей в заточении оказывали почести. По законам войны ее должны были держать до выкупа, и если бы была предложена достойная сумма, она была бы принята. Жан Люксембургский

оказал ей справедливую честь, потребовав за нее выкуп, как за принца. В те дни это соответствовало вполне определенной сумме – 61 125 франкам. Предполагалось, конечно, что либо король, либо благодарная Франция, вместе или по отдельности, прилетят с деньгами и освободят свою честную юную благодетельницу. Но этого не произошло. В течение пяти с половиной месяцев ни король, ни страна не пошевелили пальцем и не предложили ни гроша. Дважды Жанна пыталась бежать. Однажды с помощью уловки она на миг обрела удачу, заперла своего тюремщика, но ее обнаружили и схватили; в другой раз она спускалась из башни высотой в шестьдесят футов, но веревка была слишком коротка, девушка упала, ушиблась и не смогла убежать.

Наконец, Кошон, епископ Бове, заплатил деньги и выкупил Жанну, – формально для церкви, чтобы судить ее за ношение мужского платья и другие нечестивые поступки, а фактически для англичан, для врага, в чьи руки бедная девушка так боялась попасть. Теперь ее держали в заточении в темнице Руанского замка, в железной клетке, прикованной за руки, за ноги и за шею к столбу; и с этого момента в течение многих месяцев ее заключения, до самого конца, несколько грубых английских солдат день и ночь стояли на страже около нее – и не возле двери, а прямо в комнате. Это было невыносимое, страшное заключение, но оно не сломило ее: ничто не могло сломить этот непобедимый дух. В общей сложности оно длилось год; три последних месяца Жанна провела, отстаивая свою жизнь перед грозным сонмом церковных судей, во всех подробностях объясняя существо вопроса, защищаясь с блестящим искусством и неустрашимой отвагой. Образ этой одинокой девушки, всеми забытой и лишенной друзей, адвокатов и советчиков, не имеющей в руках даже копии обвинения против нее и записей всех этих запутанных и долгих ежедневных заседаний суда, записей, которые хоть немного ослабили бы невыносимое напряжение ее поразительной памяти, – девушки, спокойно и невозмутимо ведущей долгую битву против исключительно сильного противника, вызывает ни с чем не сравнимое сочувствие и поражает возвышенностью; ему нет равных ни в летописях исторических событий, ни в порождениях человеческой фантазии.

Как чудесны и изумительны были ее ответы на вопросы судей, как ясны и бодры – а ведь она была так изнурена физически, так исстрадалась, устала и измучилась! Ответы эти выражают весь диапазон чувств – от презрения и пренебрежения, высказанных с солдатским задором и откровенностью, до оскорбленного достоинства, полного благородной трогательности: так, когда ее вывели из равновесия докучливые расспросы обвинителей, пытавшихся установить, какими дьявольскими чарами она пользовалась, чтобы поднять боевой дух своих оробевших солдат, она выкрикнула в ответ: «Я сказала: «Гоните

этих англичан», — и гнала их сама!»; а когда ее тревожили расспросами, почему на коронации в Реймском соборе был ее штандарт, а не штандарты других военачальников, она произнесла трогательную фразу: «Он вынес это бремя — он заслужил эту честь», — фразу, сорвавшуюся с ее губ непроизвольно и тем не менее своим волнующим величием и простым изяществом превосходящую все, на что может быть способно искусство высокого слога.

Хотя речь шла о ее жизни и смерти, она была единственным свидетелем с обеих сторон; единственным свидетелем, вызванным давать показания перед специально подобранным судом, имеющим определенную задачу: признать ее виновной независимо от того, виновна ли она. Она должна была сама признать свою вину, иначе цели достичь было нельзя. Все преимущества, которые ученость имеет перед невежеством, возраст перед молодостью, опытность перед наивностью, искушенность перед безыскусностью, все трюки, ловушки и западни, на которые способны зло и коварство острого ума, поднагоревшего в расставлении сетей для не слишком осторожных, — все это без стыда было использовано против нее; когда же эти уловки одна за одной оказались бессильны перед чудесной интуицией ее живого и зоркого ума, епископ Кошон опустил до последней низости, которую отказывается описывать человеческий язык. Священник, который якобы пришел из родных мест Жанны, якобы был ее преданным другом и страстно желал помочь ей в беде, был допущен в темницу и воспользовался священной обязанностью исповедника, чтобы вырвать признание. Жанна рассказала ему о том, что ей запретили рассказывать Голоса и что обвинители так долго и тщетно пытались от нее услышать. Подосланный провокатор записал все это и представил Кошону, который использовал добытые таким образом секреты Жанны для того, чтобы погубить ее.

Что бы на протяжении суда ни говорила Жанна, судьба которой была предрешена, все, что было возможно, истолковывалось иначе и превращалось в свидетельство против нее; если же ответ никак не мог быть искажен, его не разрешали записывать. Именно об этом так трогательно говорит она Кошону: «О, вы записываете все, что против меня, и не хотите записывать ничего, что в мою пользу».

В подтверждение тому, что это неопытное юное создание обладало поразительными дарованиями полководца и проявило искусство военачальника в той степени, какая может быть достигнута лишь в результате многолетней деятельности на этом поприще, мы имеем клятвенные показания двух ее ветеранов-подчиненных: один из них — герцог Алансонский, другой — величайший французский генерал того времени Дюнуа, незаконный отпрыск Орлеанского дома; то, что она была столь же — а возможно, и еще более — гениальна во время борьбы в зале заседаний, мы можем заключить на основании

протоколов суда в Руане — длительного сеанса интеллектуально-го фехтования, выдержанного с честью против самых острых умов Франции; о том, что ее моральное величие было равно ее интеллекту, мы можем опять-таки судить по Руанскому процессу, где была проявлена сила духа, способного на протяжении двенадцати недель стойко выносить изнуряющее действие плена, цепей, одиночества, болезни, темноты, голода, жажды, холода, стыда, оскорблений, брани, недосыпания, предательства, неблагодарности, изматывающих перекрестных допросов, угроз пытки, с дыбой впереди и стоящим наготове палачом, — и не сломившегося. Эта измученная юная девушка в последний день была так же непобедима, как и в первый, ибо непобедим был ее дух.

Величие, свойственное многим ее деяниям, более всего проявилось в том, о чем уже говорилось, — в спокойной стойкости, терпеливости, гранитной силе духа. Трудно надеяться, что удастся найти еще кого-нибудь, равного ей в этих качествах; устремив глаза в самую высь, мы находим только странный и любопытный контраст — пленного орла, бьющего сломанными крыльями на острове Святой Елены.

Глава III

Суд закончился смертным приговором. Но так как Жанна ни в чем не уступила и ни в чем не призналась, это была ее победа, это было поражение Кошона. Однако ресурсы зла не истощились. Жанну уговорили подписать не имеющий большого значения документ и в последнюю минуту предательски подменили его другим, содержащим покаяние и полное признание во всем, в чем ее обвиняли во время суда и что она отвергала со всей стойкостью на протяжении трех месяцев; эту фальшивую бумагу она, не зная того, подписала. Это была победа Кошона. Он с рыаной беспощадностью довел дело до конца, расставив ловушку, которой Жанна не смогла избежать. Поняв это, девушка прекратила свою долгую борьбу, обвинила судей в заговоре, затеянном против нее, отказалась от мнимого признания, подтвердила истинность прежних своих показаний, данных во время заседаний суда и пошла навстречу своей мученической смерти с божественным спокойствием, со словами любви и молитвы на устах; молитвы за труса, которого она короновала, и за нацию неблагодарных, которую она спасла.

Когда огонь подобрался к ней и она стала умолять дать ей крест, чтобы прижаться к нему обессиленными губами, не друг, а враг, не француз, а чужеземец, не товарищ по оружию, а английский солдат отозвался на эту мольбу. Он разломил о колено палку, связал обломки в форме столь дорогого для нее символа и передал ей; его великодушный поступок не забыт и забыт не будет.

Глава IV

Двадцать пять лет спустя был назначен процесс реабилитации, поскольку росло сомнение в законности власти короля, спасенного и возведенного на престол ведьмой, которая, как было доказано церковью, общалась с силами зла. Старые генералы Жанны, ее секретарь, несколько престарелых родственников и крестьян из Домреми, оставшиеся в живых судьи и секретари процессов в Руане и Пуатье – тьма свидетелей, в числе которых были ее враги и преследователи, – принесли присягу и были допрошены, а их показания записаны. Эти заверенные клятвой свидетельства полностью прояснили волнующую и прекрасную историю Жанны д'Арк с самого детства до мученического конца. Она была признана незапятнанно чистой помыслами и сердцем, речами, поступками и духом и такой останется до скончания времен.

Жанна – Чудо Веков. А если принять во внимание ее происхождение, обстановку, в которой прошло ее детство, ее пол и совсем юный возраст, когда она совершила подвиги, на которых покоится ее слава, мы поймем, что, пока существует человеческий род, она будет не только Чудом, но и *Загадкой* Веков. Когда мы размышляем о достижениях Наполеона, Шекспира, Рафаэля, Вагнера, Эдисона или какой-нибудь другой выдающейся личности, мы понимаем, что один талант не только не определяет конечный результат, но и не является наиболее важным обстоятельством; нет, все объясняется атмосферой, в которой был взращен талант, образованием, которое он получил, пока подрастал, духовной пищей, почерпнутой из чтения, учения, примеров; ободрением, получаемым от самоутверждения, признанием окружающих на каждом этапе развития; зная все это, мы понимаем, каким образом человек был подготовлен к своей миссии, когда пробил его час. Мы должны предположить, что окружение Эдисона и атмосфера вокруг него в существенной степени причастны к открытию его дара им самим и всем миром; и мы едва ли ошибемся, предположив, что он мог жить и умереть непризнанным в стране, где изобретатель не находит участия, сочувствия, благоприятствующей честолюбию атмосферы признания и восхищения, – например, в Дагомее. Дагомей не открыла бы Эдисона; в Дагомее Эдисон не открыл бы самого себя. Говоря обобщенно, гений рождается не зрячим, а слепым и прозревает в результате неудовимого влияния множества стимулирующих внешних обстоятельств.

И это не предположение, это общеизвестный факт, трюизм. Лотарингия была Дагомеей Жанны д'Арк. Вот здесь-то и возникает *Загадка*. Можно понять, что Жанна могла родиться с военным гением, с львиной храбростью, с несравненной силой духа, с умом, который в некоторых отношениях был чудом, – умом, который включал в себя дар юриста в обнаружении ловушек, подстраиваемых противником с помощью коварного и

предательского переосмысления, казалось бы, невинных слов, ораторский дар красноречия, дар адвоката в объяснении сути дела в ясной и сжатой форме, дар судьи в отборе и взвешивании доказательств и, наконец, некое особое умение, превосходящее обычное умение политического деятеля понимать ситуацию и извлекать выгоду из тех шансов, которые она дает; но трудно объяснить, как все эти качества могли стать полезными и эффективными сразу, без сочувственной атмосферы и тех навыков, которые приходят от занятий, обучения, практики — многих лет практики — и незаменимого в деле совершенствования таланта бесчисленного количества ошибок. Мы понимаем, что в скромном горьком миндале скрыты будущие совершенства персика, но мы не в состоянии понять, как персик может получиться из миндаля сразу, без долгих лет прилежного культивирования. Мы не можем представить себе, как из пастушеской деревни, затерянной в глуши и увядшей от столетий застоя и невежества, могла выйти Жанна д'Арк, до последней мелочи подготовленная к своей поразительной карьере, и трудно надеяться, что нам удастся объяснить эту загадку, сколько бы мы ни старались.

Это вне нашего понимания. Судьба этой девушки опровергает все правила. В мировой истории ее пример единичен. Были, разумеется, люди, снискавшие лавры в первом же публичном проявлении таких своих качеств, как искусство ведения войны, героизм, юридический талант, дипломатические способности, стойкость; но всегда их предшествующие годы были в большей или меньшей степени подготовкой к этому. Из этого правила не было исключений. Но Жанна одержала верх в судебном процессе уже в шестнадцать лет, никогда прежде не видав ни кодекса законов, ни здания суда; она не обучалась военному делу и никак не была связана с ним, однако оказалась мудрым генералом в первой же своей кампании; она проявила чудеса храбрости в первой же своей битве, хотя никогда не училась быть храброй — даже так, как учится быть храбрым мальчик благодаря непрекращающимся напоминаниям о том, что только девочке позволительно быть трусишкой; без друзей, одна, необразованная, совсем юная, Жанна в течение многих недель являлась пленницей в цепях перед собранием судей, врагов, добывавшихся ее смерти, сильнейших умов Франции, и противостояла им со всей безыскусной мудростью, которая превосходила их ученость, опровергала их трюки и предательство природной пронизательностью, повергавшей их всякий раз в изумление, каждый день одерживала победу над превосходящими силами противника и безоговорочно удерживала за собой поле боя. Сколько бы мы ни искали в истории примеров человеческого интеллекта, необученного, неопытного, использующего только врожденные качества и еще не опробованные способности, мы не найдем ничего, что хоть отдаленно приближалось бы к примеру Жанны. Жанна д'Арк пребывает в

одиночестве, и должна оставаться в одиночестве, уже в силу одного лишь факта, что ее величие не было подготовлено ни обучением, ни практикой, ни опытом. Некому сравниться с ней, нет для нее меры; ведь все прочие знаменитости шли к своим высотам при обстоятельствах, способствовавших раскрытию их дара, вскармливавших его и содействовавших ему, сознательно или бессознательно. Бывали и другие молодые генералы, но они были мужчинами, к тому же, прежде, чем стать генералами, они были солдатами; Жанна же начала генералом: она командовала первой армией, которую видела в жизни, вела ее от победы к победе и ни разу не проиграла ни одной битвы. Бывали молодые главнокомандующие, но ни один не был так молод, как она: Жанна д'Арк — единственный воин в истории, осуществлявший верховное командование армией страны в возрасте семнадцати лет.

Есть еще одна черта, выделяющая ее и ставящая вне сравнений: существовало множество разных пророков, но она была единственной, кто отваживался предсказывать не только само событие, но и его характер, предел времени, в течение которого оно произойдет, место — *и исполнять предсказанное*. В Вокулере она сказала, что должна идти к королю и стать его генералом, свергнуть власть англичан и короновать своего повелителя «в Реймсе». Все так и произошло. Это должно было случиться «на будущий год» — и случилось. Она предсказала свое первое ранение, его характер и дату за месяц вперед, и это пророчество было записано в судебный протокол. Она повторила его утром назначенного дня, и все свершилось прежде, чем наступила ночь. В Туре Жанна предсказала конец своей военной карьеры, сказав, что она завершится через год после того, как началась, — и была права. Она за три месяца предсказала свое мученичество, употребив именно это слово и назвав дату, — и снова оказалась права. В период, когда Франция, казалось, безнадежно и навсегда находилась в руках англичан, она дважды, находясь в тюрьме, заявила перед судьями, что не позднее чем через семь лет англичане потерпят катастрофу, большую, чем падение Орлеана: катастрофа произошла через пять лет — падение Парижа. И другие пророчества оказались точными — и в названных событиях, и в предсказанных сроках.

Жанна была глубоко религиозна и верила, что ежедневно общается с ангелами, видит их лицом к лицу, что они дают ей советы, утешают, ободряют и передают приказания прямо от бога. Она по-детски верила в небесное происхождение своих видений и Голосов, и никакая угроза самой страшной смерти не могла вытравить эту веру из ее сердца. Она была прекрасным, простым и любящим существом. Это со всей ясностью и полнотой следует из протокола суда над ней. Она была мягка, привлекательна, ласкова; она любила свой дом, друзей, свою деревенскую жизнь; она не могла спокойно видеть боль и мучения людей; она была полна сострадания: на поле боя во

время своей самой замечательной победы она забыла о триумфе ради того, чтобы подержать на коленях голову умирающего врага и утешить его отлетающую душу ободряющими словами; в век, когда было принято уничтожать пленников, она бесстрашно выступила против этого зла, оставляя их в живых; она была снисходительна, благородна, самоотверженна, великодушна; в ее чистом облике не было ни пятнышка. И всегда она оставалась *девой*, милой и достойной, как и подобает деве. Когда ее ранили и она впервые увидела кровь, хлынувшую из ее груди, она сначала испугалась, но ведь она была Жанной д'Арк! Заметив, что ее генералы уже командуют отход, она, шатаясь, поднялась на ноги и повела свое войско, которое продолжило натиск и штурмом захватило цель.

В этом совершенном и прекрасном образе нет недостатков.

Как странно, что художники почти неизменно помнят только одну-единственную подробность, связанную с личностью Жанны д'Арк: то, что она была из крестьян, — и забывают все остальное, изображая ее крепкой, средних лет женщиной в соответствующей одежде, с лицом, лишенным и тени одухотворенности. Они мыслят односторонне и упускают из виду, что великие души никогда не поселяются в грубых телах. Не бывает таких костей и мускулов, которые могли бы вынести эту гигантскую работу, они совершают свои чудеса с помощью духа, который в пятьдесят раз сильнее и стойче мускулов. Наполеоны бывают маленькими, а не высокорослыми: они работают двадцать часов из двадцати четырех и остаются бодрыми, когда высокие солдаты с маленькими сердцами валяются с ног от усталости. Мы знаем, как выглядела Жанна д'Арк, не спрашивая я, — по делам, которые она совершила. Художник должен отразить ее *дух*, тогда он не сможет неверно изобразить ее тело. Она восстанет над нами видением, которое должно покорять: гибкая, юная, стройная, преисполненная «неподдельной грации юности», милая, веселая и любящая, прекрасная лицом и озаренная светом яркого ума и огнем неугасимого духа.

Если учесть, как я уже предложил раньше, все обстоятельства — происхождение, молодость, пол, отсутствие образования, обстановку ранних лет и те сложные условия, при которых Жанна воспользовалась своими высокими дарованиями и одерживала победы на поле битвы и перед судом, решавшим вопрос о ее жизни и смерти, — она естественно и безусловно окажется самой выдающейся личностью, которую когда-либо породил род человеческий.

УБИЙСТВО, ПОТЯСАЩЕЕ ВСЕХ

Чем больше думаешь об этом убийстве, тем более впечатляющим и гигантским событием оно представляется. Уничтожение города — огромное событие, но все же несколько раз за тысячу

лет оно повторяется. Гибель трети целого народа от чумы и голода – огромное событие, но и такое уже бывало в истории не раз; убийство короля – огромное событие, но королей убивают часто.

Убийство монархини – самое огромное из всех событий. Чтобы отыскать в истории подобный случай, нужно вернуться почти на два тысячелетия назад. Генеалогическое древо самой старой живущей в Риме христианской семьи уходит корнями в толщу времени на семнадцать столетий, но никто из членов этой семьи не был свидетелем смерти императрицы – исключая живущих ныне. За семнадцать веков на это семейство не однажды обрушивались новости о невероятных событиях – уничтожение городов, падение престолов, убийства королев, свержение династий, искоренение религий, рождение новых форм правления; эти события повторялись один раз, другой, десятый, и каждое поколение, обсуждая их, вспоминало, что такое уже было. Но вот и эта семья столкнулась с новостью, еще не ставшей привычной, не похожей ни на какие события, хранимые семейной памятью.

Это событие метит особой метой каждого, живущего ныне на свете: при нем произошло нечто такое, с чем двадцать столетий не сталкивались его предки, даже те, чей след давно затерялся, а возможно, не столкнутся и его потомки в последующие двадцать.

Со времен Римской империи на земле изменилось многое. Тогда убийство коронованной особы – даже убийство самого Цезаря – не могло так взбудоражить мир, как взбудоражило убийство нынешнее. Во-первых, будоражить было особенно некого; мир был невелик, да и населяло его не так много народа; кроме того, новости распространялись так медленно, что за недели и месяцы пути сенсация постепенно угасала, и когда новость достигала отдаленных районов, от нее почти ничего не оставалось. Это была уже не новость, а воспоминание из далекого прошлого, это была история. Но сейчас мир огромен и населен сверх меры – это первое; второе – вести, добрые или злые, разносятся с быстротой молнии. «Императрица убита!» Когда в прошлую субботу эти ошеломляющие слова настигли меня в австрийской деревушке, спустя три часа после несчастья, я знал, что в Лондоне, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Японии, Китае, Мельбурне, Кейптауне, Бомбее, Мадрасе, Калькутте эту новость уже успели обсудить и что весь земной шар в один голос клеймит злодея. С тех пор, как телеграф начал утверждаться на земле, все больше районов мира стало испытывать встряски огромной силы; но впервые в истории, прослышав об этом событии, в одну секунду содрогнулся целый мир.

Кто же этот чудодей, которому мир обязан столь волнующими ощущениями? Ответ на этот вопрос – сама ирония. Убийца находится на нижней ступени человеческой лестницы – ниже

некуда: молодой бездельник, оборванец, ничего не умеющий, ни к чему не способный, необразованный, безправственный, безхребетный, лишенный обаяния, врожденного или благоприобретенного, которое покоряет, соблазняет или привлекает; никаких достоинств ума, сердца или рук, способных вызвать зависть хотя бы бродяги или проститутки; изменник в строю рядовых, горе-работник, неуклюжий лакей; короче говоря, убогий, хамоватый, пустой, немый, вульгарный, грубый, трусливый, рабочий мерзавец. И этой насмешке над родом человеческим оказалось по силам и возможностям дотянуться — да-да, дотянуться — и ударить из своего угла по общепризнанному идеалу славы, мощи, великолепия и святости! Это лишний раз показывает, что мы — всего лишь жалкие оболочки и тени. Без нашей одежды, без наших пьедесталов мы беззащитны и незначительны; наши титулы ничего не стоят, наша пышность и блеск — мишура. Во всем нашем великолепии мы все равно не солнца — хотя делаем вид, что это так, проповедуем это и сами в это верим, — но всего лишь свечи, загасить которые способен любой бродяга.

И еще одно, о чем мы часто забываем или стараемся забыть: нет человека, чей мозг хоть частично не поражен заболеванием; все люди по-своему безумны. Многие теряют рассудок из-за денег. Когда это сумасшествие проявляется в мягкой форме, оно не опасно, и человек сходит за нормального; но если оно развивается бурно и захватывает человека целиком, он способен на мошеничество, грабеж, убийство; когда же, завладев состоянием, человек вдруг снова его лишается, он вполне может оказаться в сумасшедшем доме либо в гробу — наложив на себя руки. Любовь — тоже сумасшествие. Если ей препятствовать, болезнь развивается быстро; она может превратиться в безумие отчаяния и заставить вполне нормального и талантливого принца, например Рудольфа, отбросить имперскую корону и загубить собственную жизнь. Весь список желаний, наклонностей, антипатий, честолюбивых замыслов, страстей, привязанностей, сожалений, угрызений совести — это зарождающееся безумие, готовое расти, распространяться и поглощать, как только представится возможность. Здоровых умов нет, и спасает человека лишь случай — когда болезнь его по чистой случайности не подвергается большему испытанию.

Одна из самых распространенных форм безумия — желание быть замеченным; то, что его заметили, и доставляет человеку удовольствие. Пожалуй, это не просто распространенная, но всеобщая форма болезни. По крайней мере в простом своем проявлении. Каждому ребенку доставляет удовольствие, когда его замечают; многие несносные дети все свое время затрачивают на мучительные и идиотские усилия, имеющие целью привлечь внимание гостей; мальчишки всегда «рисуются»; по видимому, все мужчины и женщины счастливы и довольны, когда им удастся совершить нечто, извлекающее их на миг из

пучины безвестности и делающее предметом полных изумления разговоров. Эта распространенная форма сумасшествия может развиваться в жажду известности у одного и тщеславие у другого — тут все зависит от воспитания. Именно этому виду безумия — быть замеченным и быть у всех на устах — мы обязаны появлением королевского титула и тысячи других разукрашенных, пышных званий; именно из-за него короли залезают в карманы друг другу, бьются насмерть из-за корон и земель, устраивают резню; именно оно породило профессиональных боксеров и поэтов, деревенских мэров, малых и больших политиков, учредителей больших и малых приютов, чемпионов по велоспорту, главарей банд, приграничных головорезов и наполеонов. Прославиться любой ценой, лишь бы деревня, поселок, город, штат, государство, вся планета заметили: «Смотрите, вот он идет — тот самый!» И за каких-то пять минут, безо всякого напряжения умственных или физических сил этот жалкий итальянский бродяга переплюнул всех, всех превзошел, оставил с носом, ибо со временем все имена забудутся, но этому, благодаря дружеской помощи безумных газет, судов, королей и историков, обеспечена долгая, полная громкой известности жизнь — покуда будет звучать человеческая речь! Это было бы смешно, если бы не было столь трагично.

Императрица была безвинна, прекрасна умом и сердцем, душой и телом; с короной на голове или без нее, да и безо всякого титула, она была украшением рода человеческого, почти оправданием деяния господня; была бы, не оборви ее жизнь это животное. И опять сомневаешься — стоило ли создавать этот мир?

В ее характере имелись черты, какие будят в людях уважение к женщине, почтение, расположение, благоговение перед ней. Ее вкусы, манеры и устремления были высоки и изысканны, она отдавала сердце и мозг делам благородного свойства. Она знавала тяжелые времена, но дух ее не ожесточился, мир воздавал ей почести, однако она оставалась, какой была. Она всех понимала и покоряла все сердца. Жена английского рыбака сказала: «Когда человек попадал в беду, она не посылала за помощью, а приносила ее сама». Короны призваны украшать, она же сама была украшением для своих корон.

Убийца стал знаменитостью в мгновение ока. И это вызывает любопытство. До полудня прошлой субботы ни одному человеку в мире не приходило в голову хвастаться знакомством с этим типом; никто и не думал гордиться таким знакомством; наискромнейший трудяга, чистильщик сапог, и не вспоминал о случайной встрече с ним; будущий убийца был окутан безвестностью. Три часа спустя о нем говорил весь мир, его имя было на устах расфранченных генералов, адмиралов и губернаторов, все короли, королевы и императоры отложили неотложные

дела, чтобы посудачить о нем. Кем бы ни был человек, которого судьба когда-то свела с этим подонком, к какому бы лагерю он ни принадлежал – сильных мира сего или отверженных, – теперь он вспоминал об этом знакомстве с тайным удовлетворением и говорил о нем: оно выделяло его из окружающих! Неужели человеческое достоинство так низко ценится? Поначалу это не укладывается в сознании, но дело обстоит именно так. Если есть на земле король, который вспомнил вдруг, что когда-то давно видел этого подонка, – за прошлую неделю он с небрежным и безразличным видом сказал об этом не менее десяти раз. Что ж, король – всего лишь человек, устроен он точно так же, как и любой другой, а человеку нравится быть лично причастным к удивительным событиям. В глубине души этим гордится каждый из нас: все мы одинаковы, король стал королем по чистой случайности, а мы – все остальные – по чистой случайности королями не стали. Мы все сделаны из одного теста, притом довольно низкого качества.

А не-короли обмениваются сегодня такими фразами, я уверен, как будто слышал сам:

Главкомандующий: «Он служил в моей армии».

Генерал: «Он служил в моем корпусе».

Полковник: «Он служил в моем полку. Грубиян. Я хорошо его помню».

Капитан: «Он служил в моей роте. Отъявленный мерзвец, хорошо помню».

Сержант: «Знал ли я его? Не хуже, чем вас. Черт возьми, да каждое утро я его...» – и так далее и тому подобное; забавная длинная история, которую жадно слушают.

Домовладелица: «Да уж сколько раз он у меня жил! Хотите, покажу вам его комнату, кровать, на которой он спал? А вон угольная отметина на стене – это он ее сделал. Мой сынок Джонни видел своими глазами. Правда, Джонни?»

Судя по газетам, и мировой судья, и полицейские, и тюремный надзиратель ценят на вес золота все, что сегодня сказал и сделал убийца, – именно это позволяет им покачаться на блаженных волнах популярности. То же и газетчик, берущий интервью; он делает вид, что нимало не гордится привилегией общаться с человеком, глазеть на которого позволено немногим, но и газетчик – человек, и сдерживать рвущееся наружу тщеславие он способен не дольше, чем вы или я.

Некоторые считают, что это убийство – яростный бунт против преступного милитаризма, который разоряет Европу и доводит голодающую бедноту до бешенства. Думаю, такое объяснение годится для многих преступлений – но не для этого. Было бы ошибкой приписывать этому человеку благородный гнев, порожденный несправедливым отношением к бедным; было бы ошибкой приписывать ему какие-либо благородные импульсы. Когда он увидел свою фотографию и заявил: «Я буду знаменитым», импульс, толкнувший его на убийство, стал сразу

ясен. Это была жажда прославиться – не более того. Известен еще один случай подобного рода, который старше самой истории, – поджог храма Артемиды Эфесской.

Из множества малоудачных попыток назвать причину убийства самой высокой оценки заслуживают те, которые характеризуют его, как «особенно жестокое преступление», а потом добавляют, что оно «было predetermined свыше». Боюсь, такое заключение едва ли понравится «наверху». Если деяние predetermined свыше, как может подсудимый нести за него ответственность, хотя бы отчасти? Женевский суд не сможет вынести приговор, не совершив при этом очевидного преступления. Логика есть логика, ее законами нельзя пренебрегать, иначе даже самого набожного и образцового теолога заподозрят в таких обвинениях, отважиться на которые можно лишь под прикрытием шеренги громоотводов.

Я наблюдал за похоронами в обществе друзей из окон «Кранца», нового роскошного отеля в Вене. Мы приехали в город поздним утром, и с вокзала я шел пешком. На домах висели черные флаги; во всем чувствовалась некая торжественность; люди на улицах были притихшие, шли медленно; почти никто не курил; многие дамы были в траурных одеяниях, почти все мужчины – в черных костюмах; быстро катили экипажи, лакеи и кучеры – тоже в черном, на головах – черные шляпы с поднятыми полями; магазины закрыты; во многих окнах выставлены портреты императрицы: прекрасная семнадцатилетняя невеста, безмятежная и величественная дама, еще молодая, и наконец, женщина в глубоком трауре, безо всяких украшений – этот наряд она носила постоянно с тех пор, как девять лет назад трагически погиб ее сын и жизнь почти полностью утратила для нее смысл. Перед этими портретами собирались люди; женщины и девушки украдкой смахивали слезы.

Перед «Кранцем» простирается открытая площадь; чуть поодаль – церковь, где и состоятся похороны. Церковь небольшая, старинная и строгая в своей простоте, поверх слоя штукатурки она побелена или покрашена, никаких украшений – только статуя монаха в нише над дверью, а чуть выше – маленький черный флаг. Но в ее склепе покоится несколько великих из династии Габсбургов, среди них Мария Терезия и сын Наполеона, герцог Рейхштадтский. Когда-то в этих краях стояли лагерем римляне, здесь умер император Марк Аврелий – за тысячу лет до того, как в Вене стал править первый Габсбург, чьи потомки не уступают трон вот уже шесть с лишним столетий.

Церквушку обступили большие современные магазины и дома, и в каждом окне – люди, люди, люди. За огромными зеркальными стеклами в окнах верхних этажей углового дома видны изысканно одетые мужчины и женщины, их силуэты тускло поблескивали, будто под водой. Площадь хранила безмолвие, хотя была полна народу; раздетые чиновники

сновали взад и вперед, выполняя поручения, а на ступеньках сидел какой-то человек, босой, с опущенной головой, очевидно, достигший крайней степени бедности. Он был молод, лет восемнадцати или двадцати, и через бинокль можно было разглядеть, как он разрывал на куски найденные где-то объедки и жадно поедал их. Яркие мундиры проносившихся мимо чиновников являли разительный контраст с его лохмотьями, свидетельством полного краха, но он ни на что не обращал внимания; он пришел сюда не для того, чтобы оплакивать постигшую страну потерю; у него хватало своих забот, куда более серьезных. С двух сторон длинные цепочки пехоты молча прокладывали себе путь сквозь спрессованную людскую массу; раздался негромкий решительный приказ – и толпа, освобождая площадь, отступила на тротуары, исчез и плакальщик-одиночка. Еще один приказ – и строй распался, солдаты окружили площадь человеческим забором в два ряда. Все произошло быстро, бесшумно, четко – будто сработала прекрасно отлаженная машина.

Миновал полдень. Прошло еще два часа тишины и ожидания. Потом начали появляться экипажи, на которых прибыло человек двести или триста: лица, представленные ко двору, и прочая знать, имевшая право присутствовать на церемонии в церкви. Потом площадь стала заполняться военными и морскими офицерами в яркой, красивой форме. Они заполнили площадь до предела, осталась лишь узкая дорожка для подъезда экипажей к церкви, – только военные, гражданских на площади не было. Да это и к лучшему; от унылых одежд красочное зрелище изрядно бы поблекло.

В толчее перед входом в церковь, на ступенях и тротуаре, бросались в глаза мундиры, поражавшие буйством красок – густо-красные, золотистые, белые, они словно излучали величие; а напротив, на другой стороне дорожки, над бледно-голубыми плечами развевались на ветру ярко-зеленые перья, – еще одно сверкающее пятно, полыхавшее на фоне общего сияния. Все вокруг было бушующим морем цвета, но эти две группы взлетали гребнями волн. Зеленые перья украшали головы сорока или пятидесяти австрийских генералов, в группе напротив находились главным образом мальтийские рыцари и рыцари какого-то германского ордена. Головы на площади – легион голов – были покрыты золочеными шлемами и военными фуражками, словно облитыми зеркальной глазурью; при каждом движении уборы эти отражали солнечные лучи, и площадь напоминала сад роскошных цветов, по которым гуляло множество ослепительных сверкающих маленьких солнц.

Подумать только – такое величие было вызвано этим итальянским бездельником, восседавшим на своем имперском троне в женевской тюрьме; короли и императоры, входившие в церковь с боковой улочки, прибыли сюда по его воле. Странно, непостижимо.

В три часа экипажи все еще продолжали стекаться к церкви узеньким ручейком. В три часа пять минут появился кардинал со свитой; потом несколько епископов; следом архидиаконы — все в сочных нарядах, внесших в зрелище свою лепту. В три десять прошла процессия священников с распятием. Тут же следующая, затем еще две, а в три пятьдесят — последняя, очень длинная, со множеством крестов, в расшитых золотом рясах, — пена кружев, ярких полотнищ, уплывающая вдаль.

Раздается негромкий гул пришедших в движение колоколов. В три пятьдесят восемь — пауза. Появляется длинная процессия мужчин в вечерних костюмах, они приближаются к площади, становятся впереди охраняющих проход солдат — и снежинками вспыхивают белые манишки, особенно заметные на фоне такого количества теплых красок.

Снова ожидание. В четыре часа двенадцать минут наконец то показывается похоронная процессия. Впереди отряд кавалерии — четверо в ряд, — чтобы расширить дорогу. Следом большой отряд улан; голубые мундиры, позолоченные шлемы. Затем три траурных экипажа, каждый запряжен шестеркой лошадей; сопровождающие верховые и кучера — в черном, на головах — белые парики, шляпы с поднятыми полями. За ними офицеры в великолепных мундирах, красных с белым и позолотой. Незабываемое зрелище!

Люди обнажают головы. Солдаты берут на караул, раздается едва слышная барабанная дробь, и появляется пышно убранный катафалк, ведомый восемью черными лошадьми; лошади идут медленно, чуть покачиваются украшающие их черные страусиные перья; гроб вносят в церковь, двери закрываются. Остальная часть процессии продолжает движение. Впереди — венгерский караул в неопишимо красочной, нарядной и богатой форме — наследие пришедшей из глубины веков варварской роскоши, — за ним другие конные подразделения, длинная и расфранченная армада.

Потом сверкающая толпа на площади рассыпалась, словно лопнула радуга, растеклась искристыми ручейками, и не успел я глазом моргнуть, как на освободившемся пространстве принялись отплясывать три самые грязные, самые оборванные и самые задорные трущобные девчонки в Австрии. Это был день контрастов.

Дважды с большими почестями императрица въезжала в Вену. Первый раз — в 1854 году, семнадцатилетней невестой, и тогда приезд ее был обставлен с безмерной пышностью, гремела музыка, в воздухе трепетали праздничные флаги и гирлянды, в центре города вдоль улиц выстроились толпы народа, люди встречали императрицу восторженными возгласами, выкрикивали слова приветствия. Второй же раз — в прошлую среду, она прибыла в гробу и ехала по тем же улицам, только вокруг была темная ночь да развевались черные флаги; снова ее встречали плотные людские стены, но теперь уже — полной тишиной.

Тишину эту не нарушал, а скорее подчеркивал приглушенный стук копыт – кавалькада двигалась по мостовым, усыпанным песком, – да негромкие рыдания седовласых женщин, помнивших первый приезд императрицы сорок четыре года назад, когда все они были молоды и не знали, что ожидает их впереди.

В недавней сказочной драме барона фон Бергера «Габсбург» один из персонажей рассказывает об этом первом появлении императрицы-королевы, и описание его чудесно: я не в состоянии дать точный перевод, но постараюсь передать дух стиха:

Я помню величавое явление
Монархини во всей красе и славе.
Я взора оторвать не мог
От этой розы одухотворенной,
От этой дивной, выспренной картины,
Подобной пику Альп на фоне неба,
Когда из утренней прозрачной дымки
Встает он гордо в вышине лучистой
К восторгу тех, кто трудится в долине¹.

СЕМИДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Выступление в Нью-Йорке 5 декабря 1905 года на ужине по случаю семидесятилетия Марка Твена. Представил Марка Твена Уильям Дин Хоуэлл:

«А теперь, леди и джентльмены, а также полковник Харви, я хочу пожелать крепкого здоровья нашему почетному и, принимая во внимание солидный возраст, почтенному гостю, при этом позволю себе пожадничать от вашего имени. Я не скажу: «Король, живи вечно!», но: «Король, живи, сколько захочешь!» (Все бурно аплодируют, машут салфетками, поднимаются и пьют за здоровье Марка Твена.)

Что ж, будь я автором этой шутки, я бы зачислил ее в разряд своих лучших, да и подана она превосходно. Но до такого высокого уровня я не поднялся. Тем не менее оценить шутку могу, я ее запомню – и при случае обязательно ею воспользуюсь.

За целую жизнь дней рождения у меня было предостаточно. Особенно хорошо помню первый и всегда думаю о нем с негодованием; все было так грубо, неэстетично, по-дикарски. Никакого сравнения с сегодняшним торжеством. Никаких приличествующих моменту приготовлений; вообще ничего. Да-да, для человека, который явился на свет с возвышенными и утонченными инстинктами, абсолютно ничего не было готово – представьте, даже колыбельку не удосужились покрасить. У меня не было ни волос, ни зубов, ни одежды – в таком виде я и присутствовал на своем первом банкете. От желающих попасть

¹ Перевод Г. Кружкова.

на него отбоя не было. Дело было в скромном селеньице – нет, это громко сказано, в крошечной деревушке, где-то на задворках штата Миссури, где никогда ничего не происходило, поэтому людям было все интересно, они оглядывали меня – появилось, ли в моем роду хоть что-то новенькое? Представьте, в этой деревеньке никогда ничего не происходило, и я, только я и был единственным стоящим, что там произошло за многие месяцы. Может быть, мне не следовало бы этого говорить, но более важного события в жизни этой деревеньки не случилось как минимум два года. Итак, эти люди пришли, собрались, обуреваемые откровенно провинциальным любопытством, с откровенно провинциальной непосредственностью оглядели меня и высказали свои замечания. Их никто не спрашивал, а я был бы не прочь услышать хоть один комплимент в свой адрес, но такового не последовало. Замечания были зелеными от зависти и предубеждения, я ощущаю их и поныне. Короче говоря, я терпел... держался вежливо, покуда было возможно. Терпел целый час, и тут мое терпение лопнуло – петух прокричал. Я сам был этим петухом, пришла моя очередь, и я заорал. Я прекрасно знал, в чем моя сила, знал, что во всем этом городке есть лишь один непорочный, чистый и незапятнанный человек – это я, и заявил об этом вслух. Им нечего было возразить, ибо я был прав. Краска стыда залила их лица. Это была моя первая в жизни послеобеденная речь. Да, кажется, дело было после обеда.

От той первой юбилейной речи до нынешней утекло немало времени. То была моя колыбельная песнь, а это, надо полагать, песнь лебединая. К лебединым песням я привык; я пел их несколько раз.

Сегодня мой семидесятый день рождения, и мне хочется, чтобы вы прочувствовали весь смысл этих слов, оценили всю значимость этой фразы – семидесятый день рождения.

Семидесятый день рождения! Это время жизни, когда человек достигает новой и жуткой стадии величия; когда можно сбросить оковы приличий, угнетавших вас в течение целого поколения, и без страха и смущения стоять на своей семиступенчатой вершине, поглядывая вниз и поучая. Можно рассказать миру, как вы достигли этой вершины, что все и делают. Человек готов без устали повторять, благодаря какому тонкому искусству и каким подлинным добродетелям ему удалось взобраться так высоко. Со старческим восторгом он во всех подробностях объяснит, как проходило восхождение. Я давно жаждал поделиться с окружающими своей методикой и вот наконец получил на это право.

Я дожид до семидесятилетия обычным путем: строго придерживаясь способа бытия, который убил бы любого другого человека. Не думайте, что это преувеличение, это общее правило, позволяющее дожить до старости. Когда кто-то из словоохотливых стариков знакомит нас со своей жизненной

программой, мы всякий раз приходим к выводу, что привычки, продлившие жизнь ему, обязательно завели бы нас в могилу; образ жизни, позволяющий им, по выражению мистера Чоуэта, так долго жить на средства своих наследников, без сомнения, отправил бы нас на тот свет раньше времени. Поэтому предлагаю следующий мудрый афоризм: каждый идет к старости своей дорогой.

Сейчас я начну вас поучать, познакомлю со своим образом жизни, и желающие поскорее перейти в мир иной смогут воспользоваться схемой, которая позволила мне целых семьдесят лет водить за нос и доктора, и палача. Возможно, что-то вам покажется далеким от истины, но имейте в виду: я здесь не для того, чтобы лгать, я здесь для того, чтобы учить.

До сорокалетнего возраста наши привычки не назовешь устоявшимися. Но постепенно они закаливаются, потом твердеют — тогда-то все и начинается. После сорока лет я всегда отхожу ко сну и просыпаюсь, придерживаясь заведенного порядка — и это чрезвычайно важно. Я взял за правило ложиться спать, когда сидеть больше не с кем, и вставать, когда этого требуют обстоятельства. В результате получился строго упорядоченный беспорядок. Мне он сохранил здоровье, другого сделал бы калекой.

Что касается диеты — тоже весьма важный вопрос, — я всегда настойчиво потреблял продукты, с которыми конфликтовал, пока кто-то из нас не брал верх. До последнего времени верх всегда брал я. Но прошлой весной я перестал развлекаться со сладким пирогом после полуночи; прежде я был уверен, что он не взрывоопасен. Последние тридцать лет я в восемь утра съедаю бутерброд и запиваю его кофе — и до половины восьмого вечера не беру в рот ни крошки. Одиннадцать часов. Для меня это нормально и вполне безвредно, потому что у меня в жизни не болела голова, если же вы страдаете головными болями, едва ли вам с комфортом добраться до семидесяти этой дорогой — нет смысла и пробовать. И вот что я хочу довести до вашего сведения — думаю, это будет мудрый совет: если вы видите, что по дороге к станции «семьдесят» вам придется ехать без удобств, не ездите вовсе. И если вас высаживают из пультмановского вагона и помещают в невесть чем пропахший вагон для курящих — соберите вещички, проверьте свой банковский счет и выходите на ближайшей станции, где есть кладбище.

Я взял за правило никогда не выкуривать более одной сигары сразу. Никак иначе себя в курении не ограничиваю. Не помню, в каком именно возрасте я начал курить, знаю только, что мой отец был еще жив и курить приходилось тайком. Он расстался с этим миром в начале 1847 года, когда мне едва стукнуло одиннадцать; с тех пор курю в открытую. Я вовсе не сторонник умеренности, но здесь могу быть примером для подражания: я взял за правило никогда не курить во сне и

никогда не ограничивать себя после пробуждения. Это хорошее правило. Разумеется, для меня; но многим из вас прекрасно известно: оно подходит не для всякого, кто стремится дожить до семидесяти.

Я курю в постели, пока не придет время спать; просыпаясь ночью, иногда один раз, иногда дважды, а то и трижды, всегда пользуюсь этой возможностью, чтобы покурить. Эту старую привычку я очень ценю, без нее мне было бы тяжело, как тяжело было бы вам, с э р , — я говорю о председателе, — лишиться единственной вашей добродетели, если таковая у вас имеется; я этого не утверждаю. Признаюсь, время от времени я бросал курить, самое большее на несколько месяцев, но не из принципиальных соображений, а просто порисоваться; хотелось щелкнуть по носу критиков, заявлявших, будто бы я — раб своих привычек и не способен избавиться от сковывающих меня уз.

Вот уже шестьдесят лет я — заядлый курильщик. Никогда не покупаю сигары с антитабачным фильтром, ибо давным-давно выяснил — для меня это слишком дорого. Я всегда покупал дешевые сигары — в разумных, во всяком случае, пределах. Шестьдесят лет назад это удовольствие обходилось мне четыре доллара за бочонок, но с тех пор мои вкусы претерпели изменение к лучшему, и теперь я плачу семь. Шесть или семь? Кажется, семь. Но это вместе с бочонком. Дома я часто устраиваю вечеринки для курильщиков; но все эти люди, как правило, только что дали зарок воздержания от спиртного. Интересно, какая тут связь?

Что касается спиртного, у меня нет никаких правил. Когда пьют другие, я готов прийти им на помощь; в остальных случаях я остаюсь «сухим», по привычке и предпочтению. Мне это никак не вредит, но может навредить вам, потому что вы — это вы. Так что на меня не ориентируйтесь.

Начиная с семилетнего возраста я крайне редко принимаю лекарства и еще реже в них нуждаюсь. Но до семи лет жил исключительно на аллопатических средствах. Я в них, насколько мне известно, вовсе не нуждался, мне их давали из соображений экономии: какой-то должник отца расплатился с ним аптекой, и рыбий жир стал в доме самым дешевым завтраком. У нас его было девять бочонков, и мне этого хватило как раз на семь лет. Потом этот родник иссяк. Остальным членам семьи приходилось довольствоваться ревенем, рвотным корнем и тому подобными снабдьями — любимцем все-таки был я. И подобно компании «Стандард ойл», прибрал к рукам самое лучшее. К тому времени, когда аптечные запасы истощились, я уже успел укрепить свое здоровье и с тех пор на него почти не жалуюсь. Но вы прекрасно понимаете: наивно полагать, что такой старт хорош для каждого ребенка, который жаждет дотянуть до семидесяти. Для меня этот старт оказался подходящим, но ведь это чистая случайность; такое может не повториться целый век.

Я никогда не делал никаких упражнений, если не считать сна и отдыха, и делать не собираюсь. Они вызывают у меня отвращение. Какая от них польза, если чувствуешь себя усталым? А усталым я чувствовал себя всегда. Но если моей тропой пойдет другой человек, хочу посмотреть, надолго ли его хватит.

Еще раз повторю здесь мой афоризм, чтобы обратить на него ваше внимание: каждый идет к старости своей дорогой. Мои привычки охраняют мою жизнь, вас они могут свести в могилу.

Я всегда вел добродетельный образ жизни. Но если другие попытаются пойти этим путем или я им такое порекомендую — это будет ошибкой. Мало кто преуспеет: нужно иметь колоссальный запас добродетелей: если их у вас кот наплакал — ничего не получится; они должны быть все целиком и храниться в вашей шкатулке. Добродетели — дело благоприобретенное, вы прибавляете их на свой счет, как музыку, иностранный язык, набожность, покер, паралич, — ни один человек с ними не рождается. Я — не исключение, начинал я очень скромно. У меня не было ни одной добродетели. Едва ли в этом зале найдется человек, который был более обделен, чем я. Да, именно так я и начинал: передо мной весь мир, а за душой — ни одной добродетели, я даже не был застрахован. До сих пор Помню, как я приобрел первую. Все помню — и обстановку, и погоду, и как все выглядело. Это была старая добродетель, изрядно потрепанная, скрипучая и разболтанная, и вообще она мне не подходила. Но если с такой штучкой обращаться осторожно, хранить ее в сухом месте и беречь для всевозможных процессий, благотворительных лекций и концертов, всемирных ярмарок и тому подобного, если ее время от времени дезинфицировать, подкрашивать свежей краской — вы не представляете, какой стойкой она окажется, как долго сохранит приятность. По крайней мере не навредит. Перед тем, как достаться мне, эта старая и замшелая добродетель долго бездействовала и совсем перестала расти, но я вдохнул в нее жизнь, у меня она работала вовсю, даже по воскресеньям. В таких условиях она окрепла и разрослась до неслыханных размеров, служила мне верой и правдой целых шестьдесят три года и все это время была предметом моей гордости и радости; но потом она попала в общество президентов страховых компаний и скоро оскудела плотью и духом, на нее стало жалко смотреть, а уж деловые качества она утратила полностью. Я был в большом убытке. Но не в полном. Я ее продал — увы, к тому времени она превратилась в жалкий скелет — бельгийскому королю Леопольду, этому разбойнику, а он перепродал ее Метрополитен-музею, причем музей был счастлив, потому что даже безо всякого тряпья у нее было 57 футов в длину и 16 футов в высоту, и они приняли ее за бронтозавриху. Что ж, какое-то сходство есть. Говорят, вырастить ей самца под пару удастся только через девятнадцать геологических периодов.

Добродетели исключительно ценны, потому что в каждом человеке с рождения сидит куча греховных микробов, и добродетели – единственное средство, способное эти микробы истребить. Скажем, если взять стерилизованного христианина... Собственно, выбирать не из кого, стерилизованный христианин всего один. Дорогой сэръ, пожалуйста, не надо на меня так смотреть.

Итак, семь десятков!

Это библейский порог. Переступил его – и никто не потребует от тебя полезных деяний; жизнь, полная усердных трудов, для тебя окончена. Твое время истекло, и, как говорил Киплинг применительно к армии, ты отслужил свой срок, лучше или хуже, и теперь ты демобилизован. Теперь ты – почетный гражданин республики, ты свободен, больше не будет приказов, не зазвучит для тебя призывный сигнал горна, разве что «погасить огни». Ты платишь по полуистлевшим долговым распискам, если желаешь, а нет такого желания – уклоняешься, причем на законных основаниях, потому что срок действия этих расписок давно вышел.

Теперь уже не нужно отказываться от приглашений под предлогом занятости, а ведь сколько раз за сорок лет из-за этих отказов тебя мучила совесть. Теперь об этом можно позабыть навсегда; по эту сторону могилы никакие предлоги тебе больше не потребуются. И если сердце твое сожмется при мысли о ночи, о зиме, о позднем возвращении с банкета, где сияли огни и звучал смех, – о возвращении по пустынным безлюдным улицам к одиночеству, которое напомнит, что больше не нужно красться на цыпочках, боясь беспокоить близких, которые уже спят, ибо беспокоить некого, – если сердце защежит при всех этих мыслях, ты просто ответь: «Ваше приглашение делает мне честь, мне приятно, что вы еще помните меня, но мне семьдесят лет, семьдесят; поэтому лучше я уютно устроюсь в уголке возле камина, закурю трубку, раскрою книгу, отдохну, а вам от души пожелаю всего самого лучшего». И еще: «Когда придет ваш черед отправляться от пирса под номером семьдесят, я хочу, чтобы вы ступили на борт ожидающего вас судна умиротворенным и поплыли навстречу заходящему солнцу с сердцем, преисполненным покоя».

БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Раза два в году я получаю письма особого рода – письма, очень схожие между собой и по форме и по существу; и все-таки я не могу к ним привыкнуть – всякий раз они вызывают у меня удивление. Такое письмо действует, как паровоз, – мы говорим про себя: «Я тебя уже видел тысячу раз, ты всегда такой, и все же ты – нечто сверхъестественное, невероятное; измыслить

тебя человеческому гению, безусловно, не под силу, тебя не может быть, тебя нет, — и, однако, вот он ты!»

Одно письмо такого рода, довольно старое письмо, лежит сейчас передо мною. И мне страшно хочется его опубликовать. Ну какой от этого может быть вред? Написавшая его уже, конечно, много лет как умерла, и если я скрою ее имя и адрес — ее адрес в этом мире, — тень ее, по-моему, не будет на меня в претензии. А заодно я хотел бы опубликовать и ответ, который я тогда написал, но, видимо, не отправил. Если он и был отослан — что маловероятно, — то разве в копии, поскольку оригинал лежит у меня, подколотый к упомянутому письму. На письма такого рода мы все пишем ответы, которые не посылаем из опасения обидеть, когда обижать не хочется; со мной не раз бывали такие истории, и это, несомненно, одна из них.

Письмо

...Калифорния, 3 июня 1879 г.

Мистеру С. Л. Клеменсу, Хартфорд, Коннектикут

Дорогой сэръ, Вы, конечно, удивитесь, когда узнаете, кто взял на себя смелость написать Вам письмо с просьбой об услуге. Пусть Ваша память вернет Вас к тем дням, когда Вы жили в Гумбольдте на приисках в 62—63 годах. Помните, Вы тогда вместе с Клаггетом и Оливером и со старым кузнецом Тиллу жили в сарае, он еще стоял на дне ущелья, и там в поселке было шесть бревенчатых домиков, расположенных довольно далеко один от другого во всю длину ущелья, от самого его выхода в низину и до последнего застолбленного участка на водоразделе. Сарай, где Вы жили, был тот самый, с брезентовой крышей, сквозь которую один раз ночью провалилась корова, как описано Вами в книге «Налегке», мой дядя Симмонс помнит это отлично. Он как раз жил в бревенчатом доме, возле которого был Ваш сарай, на полпути к водоразделу, и с ним там еще жили Диксон, и Паркер, и Смит. Дом был из двух комнат: в одной кухня, а другая — где койки, остальные-то все дома там однокомнатные. Вы и Ваши товарищи сидели с ними в тот вечер, когда у них было торжество и угощали пирогом с начинкой из сушеных яблок, дядя Симмонс часто об этом рассказывает. Кажется смешно, что какой-то яблочный пирог мог представляться бог весть чем, однако так оно и было, и это показывает, каким захолустьем был тогда Гумбольдт, как туда трудно было добираться и что за скудное там было обычное меню. Шестнадцать лет прошло — срок немалый. Я тогда была еще ребенком, мне было четырнадцать лет. Я Вас не встречала, мы жили в Ушо. Но дядя Симмонс, бывало, то и дело сталкивался с Вами, пока Вы с Вашими компаньонами работали несколько недель на Вашем участке, который оказался такой же,

как и все. Месторождение то уже давным-давно выработано, там и всего-то серебра было кот наплакал. Вы не встречались с моим мужем, но, после того как Вы уехали, он там был и жил в *том самом сарае* — еще тогда на холостом положении; а теперь он женат на мне. Он часто говорит, как жаль, что в поселке тогда не было фотографа, он бы снял этот сарай. Он чуть не получил увечье у старого Хола Клейтена на участке, который потом тоже был заброшен, как и остальные, — заложил взрывчатку и не успел выбраться из ямы, хотя карабкался как только мог. Его отшвырнуло прямо на дорогу и угодило в прохожего индейца. Несколько недель думали, что он не выживет, но он выжил, и сейчас он вполне здоров. Ни разу не болел после того случая. Это довольно длинное вступление, но у меня нет иного способа представиться Вам. Моя просьба, в которой, я уверена, Вы, с Вашим щедрым сердцем, мне не откажете, состоит вот в чем: дайте мне совет относительно книги, которую я написала. Я не говорю, что это невесть какая хорошая книга, только в ней почти что все — истинная правда, а интересу в ней не меньше, чем в любой другой, какие теперь издаются. В литературном мире меня не знают, а Вы понимаете, что это значит, если только у тебя не найдется какого-нибудь влиятельного знакомого (вроде Вас), который замолвит за тебя словечко. Я согласна передать мою книгу, — условившись об отчислении в мою пользу приличного процента с выручки, — любому издателю, какого Вы мне порекомендуете.

От моего мужа и от всей семьи это секрет. Думаю, им будет приятный сюрприз, если книгу напечатают.

Понимаю, что Вы не останетесь безразличны, так что, если возможно, напишите мне рекомендательное письмо на имя какого-нибудь издателя или еще лучше, если б Вы могли поговорить с ними обо мне, а потом меня поставьте в известность.

Взываю к Вам, окажите мне такую услугу. С глубочайшей признательностью благодарю Вас за внимание.

Не справляясь на почте, можно с уверенностью сказать, что письма, подобные этому щекоотливому посланию, все время летят туда и сюда, пересекая страну во всех направлениях, летят дено и ношно, непрерывно, неустанно, ежечасно. Их получает каждый мало-мальски известный коммерсант, или путевский начальник, или промышленник, или финансист, каждый мэр, член конгресса, губернатор, издатель, писатель, биржевой маклер, банкир, — словом, каждый человек, которого можно считать «влиятельным». Написаны они всегда по одному образцу: «Вы меня не знаете, но *Вы когда-то были знакомы с моим родственником...*» и так далее. Всякий из нас хотел бы помочь, мы были бы рады оказать услугу, рады отправить именно такой ответ, какого от нас ждут, но... в том-то и беда,

Что помочь тут совершенно не в нашей власти, ибо не было еще случая, чтобы подобное письмо пришло от человека, которому можно помочь. Тот, кто готов постоять за себя и за свое дело, не нуждается в помощи, хотя ему-то как раз вы могли бы помочь; но такому человеку просто не придет в голову обратиться за поддержкой к постороннему. У него есть талант, и он это знает и сам рвется в бой; он будет отстаивать свое в борьбе и не отступится, не побойтся, — сам за себя, полагаясь только на самого себя. А это жалкое письмо, которое приходит к вам от неспособных, от беспомощных, — как вы, кому оно знакомо, на него отвечаете? Какие слова вы находите для ответа? Ведь так не хочется причинить боль, и делаешь все, чтобы этого избежать. Какие же слова вы находите? Как выбираетесь из этого затруднительного положения, не отягчая своей совести? Пытаетесь ли вы вразумить их? Мой старый ответ на одно такое письмо покажет, что я однажды сделал подобную попытку. Был ли я удовлетворен тем, что у меня получилось? Может быть; а может быть, и нет; вероятно, нет, скорей всего нет. Я уже давным-давно забыл. Во всяком случае, этот мой эпистолярный опыт прилагаю.

Ответ

Я знаком с мистером X., и я пойду к нему, любезная госпожа, если по размышлении Вы все же найдете, что Вам этого хочется. Между нами состоится разговор. Я знаю, какие формы он примет. Он будет протекать следующим образом:

Мистер X. Какое у вас впечатление от ее книг?

Мистер Клеменс. Я с ними незнаком.

X. Кто был ее издателем раньше?

Кл. Не знаю.

X. Но у нее был издатель, надеюсь?

Кл. Д-думаю, что не было.

X. Гм. Значит, это ее первый роман?

Кл. К-кажется, да. По-моему, первый.

X. О чем же он? Что он собой представляет?

Кл. Я не знаю.

X. Вы его не читали?

Кл. Собственно, я... нет, не читал.

X. Гм-гм. Давно вы с ней знакомы?

Кл. Я с ней незнаком.

X. Незнакомы?

Кл. Нет.

X. Э-э... гм. Каким же образом получилось, что вы хлопчете о ее романе?

Кл. Понимаете ли, она... она написала мне, просит найти ей издателя и упоминает вашу фамилию.

X. Почему же она обратилась к вам, а не ко мне?

Кл. Она хотела, чтобы я употребил свое влияние.

Х. Господи! Да при чем же тут влияние?

Кл. Ну, она, очевидно, считает, что на вас для верности нужно повлиять, тогда вы обязательно уделите внимание ее роману.

Х. Но ведь мы для того тут и сидим, чтобы уделять внимание книгам — всяким книгам, какие к нам попадают. Это наша должность. Нужно быть глупцом, чтобы не поинтересоваться книгой только потому, что ее автор нам неизвестен. Издатели так не поступают. А как она могла рассчитывать на ваше влияние, если она с вами незнакома? Видимо, она думает, что вы знаете, как она пишет, и можете замолвить словечко в ее пользу? Так, что ли?

Кл. Нет, не так. Она знает, что я не знаю, как она пишет.

Х. Но в чем же тогда дело? Было же у нее какое-то основание считать, что вы можете рекомендовать издателям ее творчество и что вы считаете себя обязанным это сделать?

Кл. Это верно. Я... я был знаком с ее дядей.

Х. С ее дядей?

Кл. Да.

Х. Ну, знаете ли! Так вы знакомы с ее дядей? А дядя знаком с ее писаниями, он передоверил их вам, цепь ясна, ничего больше не требуется, вы удовлетворены, и таким образом...

Кл. Нет, это не все, нас связывает и еще кое-что. Я знал дом, в котором ее дядя жил на прииске; я знал также его компаньонов; мало того, я чуть не познакомился с ее мужем, когда он еще не был на ней женат, и, уж конечно, я знаю ту заброшенную шахту, где раньше времени произошел взрыв, которым его подбросило в воздух и швырнуло на дорогу, прямо на спину проходившему по ней индейцу, и последствия были едва ли не смертельные.

Х. Для него или для индейца?

Кл. Этого она не написала.

Х. *(со вздохом)*. Да-с, доложу я вам... Ее вы не знаете, ее книги не знаете, кто именно получил увечье во время взрыва — тоже не знаете. Вы, я вижу, не знаете ровным счетом ничего, на чем мы могли бы основываться в суждениях об этой книге...

Кл. Я знал ее дядю. Вы забываете дядю.

Х. Э, да какой от него прок? Вы с ним долго поддерживали знакомство? И давно это было?

Кл. Н-ну, я не могу сказать, чтобы я действительно поддерживал с ним знакомство, но, должно быть, я встречался с ним все-таки. Я думаю, именно так оно и было; в подобных случаях нельзя быть уверенным, знаете ли, разве только если это происходило совсем недавно.

Х. А когда же это все происходило?

Кл. Шестнадцать лет тому назад.

Х. Вот так основание для того, чтобы судить о книге! Сначала вы говорили, что знали его, а теперь вы и сами не знаете, знали вы его или нет.

Кл. Да нет же, я его знал; по крайней мере, по-моему, я думал, что я его знал; ну да, я теперь в этом совершенно уверен.

Х. Что вызывает у вас такую уверенность в том, что вы думали, что вы его знали?

Кл. Да она сама мне об этом писала.

Х. Ах, она писала!

Кл. Вот именно, и я в самом деле знал его, хотя сейчас и не помню об этом.

Х. Послушайте, откуда же вы знаете, если вы не помните?

Кл. Ну, это уж я не знаю. То есть не знаю, как это получается, но я знаю много такого, чего я не помню, и помню много такого, чего не знаю. Так бывает со всяким образованным человеком.

Х. (после некоторого молчания). Вам ваше время дорого?

Кл. Нет... то есть не очень.

Х. А мне мое дорого.

Ну вот, и тогда я ушел, потому что у него был очень усталый вид. Переутомился на работе, наверно; я себя до этого никогда не довожу — я видел, к каким плачевным последствиям это приводит. Моя мать всегда боялась, как бы я не надорвался на работе, но со мной этого ни разу не случилось.

Любезная сударыня, Вы сами теперь видите, как все обернется, если я туда пойду. Он будет задавать мне все эти вопросы, я буду стараться отвечать на них как надо, а он будет меня подковыривать при всяком удобном случае, постепенно совсем собьет меня с толку, и под конец у него будет усталый вид от переутомления на работе; тем все дело и кончится, а толку-то чуть. Мне бы очень хотелось быть Вам полезным, но, понимаете ли, их совершенно не интересуют дядюшки и тому подобные материи, их этим не взволнуешь, это не производит ни малейшего впечатления; ведь их не интересует ничего, кроме литературных достоинств самой книги, а заступничество «влиятельных» они едва ли не презирают. Но вот книгами они, безусловно, интересуются, всегда рады получить новую рукопись и ознакомиться с нею, откуда бы она к ним ни попала, из-под чьего бы пера ни вышла. Так что если Вы надумаете послать Вашу рукопись издателю — любому издателю, — он, несомненно, подвергнет ее внимательному рассмотрению, в этом я могу Вас заверить.

СОВЕТ МОЛОДЫМ

Узнав, что от меня здесь ждут выступления, я поинтересовался, о чем, собственно, говорить? Мне ответили; о чем-то подходящем для молодых — что-нибудь правоучительное, наста-

вительное, нечто вроде доброго совета. Прекрасно, я давно собирался поделиться своими мыслями с молодыми, чтобы наставить их на путь истинный – ведь именно в нежном возрасте подобные наставления лучше всего пускают корни, приживаются, да и вообще более ценны. Итак, первым делом хочу сказать вам, мои молодые друзья... Нет, настойчиво прошу вас: всегда слушайтесь родителей, пока живете с ними бок о бок. В конце концов это оказывается самым разумным, потому что они все равно настоят на своем. Обычно родители считают, что разбираются в жизни лучше вас, и вы добьетесь большего, поддерживая это заблуждение, нежели действуя по собственному разумению.

Проявляйте уважение к старшим, если таковые имеются, к незнакомым людям, а иногда и ко всем остальным. Если вас кто-то обидел и вы сомневаетесь, намеренно он так поступил или нет, не прибегайте к крайним мерам; просто дождитесь своего часа и огрейте обидчика кирпичом. Этого будет достаточно. Если же выяснится, что он не намеревался вас обидеть, проявите великодушие, скажите, что были не правы, признайте свою ошибку, как и подобает мужчине, объясните, что вы этого не хотели. Да – всегда избегайте насилия; в наш век доброты и благотворительности подобные явления уже устарели. Оставьте динамит простолоюдинам и дикарям.

Рано ложитесь спать, рано вставайте – это мудро. Кто-то из тех людей, мнению которых мы привыкли доверять, предлагает подниматься с восходом солнца, другие предлагают что-то другое, третьи – третье. Но лучше всего подниматься с жаворонками. Если люди будут знать, что вы встаете с жаворонками, вам обеспечена прекрасная репутация. А если к тому же подобрать себе толкового жаворонка и как следует с ним поработать, вы легко добьетесь, чтобы он не подавал голос раньше половины десятого. Поверьте, это очень просто.

Теперь что касается лжи. Здесь нужно быть очень осторожным, иначе вас почти наверняка поймают. А поймают – вам уже никогда не быть в глазах добродетели тем, кем вы были раньше. Нередко молодые наносят себе непоправимый ущерб, однажды примитивно и неуклюже солгав (результат легкомыслия, за которым видна плохая подготовка). Авторитеты считают, что молодые вообще не должны лгать, но это, конечно, пережим. Я не сторонник подобной крайности, однако считаю – и уверен в своей правоте, – что молодые должны обращаться с этим великим искусством очень осторожно, пока с практикой и опытом к ним не придут уверенность, изящество и точность выражений. Лишь тогда ваше детище будет элегантным и принесет плоды. Терпение, усердие, внимание к мелочам – вот важнейшие требования: следуя им, сонскатель со временем добьется выдающихся успехов; эти киты, и только они, составят надежную основу для покорения будущих высот. Подумайте, сколько утомительных лет учебы, тренировки мысли, практиче-

ской работы, опыта потребовалось на то, чтобы оснастить всем необходимым несравненного мыслителя древности, навязавшего миру благородный и звучный афоризм: «Правда сильна и восторжествует». Пожалуй, более вдохновенно исказить факты не удавалось еще никому из рожденных женщиной, ибо история нашей цивилизации и опыт каждого человека в отдельности полны свидетельствами того, что убить правду не так уж сложно и что истинная ложь бессмертна. В Бостоне воздвигнут памятник человеку, открывшему анестезию; совсем недавно обнаружилось, что этот человек анестезию не открывал, а просто стащил открытие у другого. Сильна ли эта правда, восторжествует ли она? Увы, нет, дорогие слушатели, памятник отлит из прочного материала, а уж воспеваемая им ложь протянет не меньше миллиона лет. Поэтому стремитесь избегать лжи неуклюжей, хлипкой, расплывчатой; у такой лжи шансов не больше, чем у средней правды. Бывает, конечно, что и правда сходит человеку с рук. Но хлипкая, глупая, неумелая ложь не продержится и двух лет – исключение составляет клевета. Она практически неуязвима, но это уже не ваша заслуга. И последнее: начинайте овладевать этим достойным и прекрасным искусством как можно раньше – прямо сейчас. Начни я пораньше, сейчас владел бы им в совершенстве.

Не обращайтесь легкомысленно с огнестрельным оружием. Сколько горя и страданий было порождено невинными, однако непростительно беспечными играми молодых людей с оружием! Всего четыре дня назад, на ферме, по соседству с которой я провожу лето, старая, седая и милая старушка, одна из добрейших душ в округе, сидела за работой, как вдруг к ней подкрался ее внук со старым, ржавым, выдавшим виды ружьем в руках, к которому никто не прикасался много лет и которое считалось незаряженным. Так вот, внук направил ружье на бабушку, смеясь и угрожая выстрелить. В испуге старушка бросилась к двери на другом конце комнаты, и в тот самый момент, когда она пробегала мимо внука, он направил ружье почти прямо ей в грудь и спустил курок. Ведь он полагал, что ружье не заряжено. И оказался прав – оно не было заряжено. Так что никто не пострадал. Правда, это исключительный случай, я о подобных больше не слышал. Поэтому держитесь подальше от старого и незаряженного оружия; ничего более смертоносного и безошибочно разящего цель человеческий гений еще не изобрел. Ведь тут не нужно прилагать абсолютно никаких усилий; не нужно настраиваться на выстрел, подлаживаться под прицел, не нужно даже целиться. Нет, просто выберите какого-нибудь родственника и ба-бах! – наверняка попадете. Какой-нибудь юнец может битый час мазать в кафедральный собор с расстояния в тридцать ярдов из автоматического ружья «Гэтлинг», но стоит ему взять старый незаряженный мушкет – и он будет садить без промаха в собственную бабушку со ста ярдов. Представьте себе, чем обернулось бы

Ватерлоо, если бы одна армия состояла из мальчишек, вооруженных якобы незаряженными старыми мушкетами, а другая — из их родственниц женского пола. Сама мысль об этом приводит в трепет.

Существует много разных книг, но молодежи пристало читать книги хорошие. Запомните это. Они — великое, неопенимое, несравненное средство на пути к совершенству. Поэтому, мои молодые друзья, отбирайте книги тщательно, будьте осторожны, ограничьте круг чтения исключительно «Проповедями» Робертсона, «Отдыхом святого» Бакстера, моими «Простакими за границей» и тому подобными произведениями.

Однако я говорю уже достаточно долго. Надеюсь, вы по достоинству оцените полученные от меня наставления, они укажут вам путь и облегчат постижение истины. Начинайте созидать себя на основе этих заповедей, проявляя должное тщание и усердие, и вскоре, когда этот процесс завершится, вы с удивлением и радостью увидите, до какой степени стали похожи на окружающих.

ПРЕДСТАВЛЯЯ СОБРАВШИМСЯ ДОКТОРА ВАН-ДАЙКА

Официальная цель моего появления здесь — представить вам сегодняшнего оратора, его преподобие доктора Ван-Дайка из Принстонского университета, не рассказывая вам, кто он такой — это вы уже знаете; не расхваливая его прелестные книги — они говорят за себя лучше всех моих комплиментов. Так будет ли польза от моего присутствия здесь? Да, будет, ибо мое дело — поговорить и занять время, пока доктор Ван-Дайк обдумает свою речь и решит, стоит ли вообще произносить ее или нет.

Случайное обстоятельство подсказало мне тему для проповеди и, — тему, дающую мне возможность выступить в роли учителя; а уж если я питаю к чему страсть, так это к поучениям. Учить себя самого — благородное дело, но еще более благородное — учить других; кстати, последнее куда легче. Эту тему мне подсказала полученная мною от газеты «Дейли ревью» из Иллинойса телеграмма такого содержания: «В какой из ваших книг можно найти определение слова «джентльмен»?» За последний месяц или два я получил множество писем, в которых мне задавал тот же самый вопрос. Ни на одно из них я не ответил. Но раз уж в эту историю ввязался телеграф, то, видимо, придется что-то сказать. Думаю, что я нашел подходящее для этого время и место.

Поводом для всех обращений ко мне послужила заметка агентства Ассошиэйтед Пресс, напечатанная в газетах несколько недель тому назад. Смысл ее заключался в следующем: в городке Джуплин, штат Миссури, скончался недавно какой-то человек,

завещающий десять тысяч долларов на внедрение в умы молодых американцев твеновского представления о том, что такое настоящий джентльмен. Сообщение это меня крайне удивило, ибо я за всю свою жизнь ни разу не давал в печати определения слова «джентльмен», имевшего когда-то весьма конкретный смысл, но ныне утратившего всякое ясное, четкое значение и в Америке, и за ее пределами. В старину в Англии, да и на раннем этапе истории Америки словом «джентльмен» пользовались, чтобы весьма определенно и точно охарактеризовать происхождение человека, но отнюдь не его моральный облик. Джентльмен мог совершать самые чудовищные преступления и зверства, какие только известны в летописях Ньюгетской тюрьмы, все от мала до велика могли презирать его и ненавидеть, но отнять у него звание джентльмена никто не имел права. Не то в наши дни. Как сейчас определить смысл этого распылчатого, бесцветного, затрепанного слова? Только самонадеянный, воинствующий невежда возьмет на себя задачу уточнить его значение и, конечно, будет ломать себе голову зря.

Шли недели, а я все еще пребывал в недоумении; но тут я получил эту телеграмму, и разом меня осенило! Думаете, я вспомнил какое-нибудь свое высказывание по поводу этого слова? Отнюдь нет! Мне пришло на память вот что: четыре года тому назад, в марте месяце, некая нью-йоркская леди сообщила в газетном интервью свою точку зрения по данному вопросу; основную мысль она сформулировала так: тот не джентльмен, кто не имеет высшего образования. Вот так штука! Например, Адам! И Аркрайт, и Уатт, и Стефенсон, и Уитни, и Франклин, и Фултон, и Морзе, и Элиас Хоу, и Эдисон, и Грэхем Белл, и Линкольн, и Вашингтон, и... и я. Ну и ну! Отобрать и выделить группу великих, группу исполинов, чтобы народу было кого чтить и восхвалять, а затем унизить их, сделать банальными; смешными, нелепыми, вычеркнуть имена тех, кто творил историю, облагораживал людские души, создавал и защищал цивилизацию. Надо же такое придумать! Вычеркнуть нас из списков! У меня имелись все основания смеяться, и я смеялся — правда, про себя. Принимая во внимание, что особа, взявшаяся определить слово «джентльмен», должна быть исключительно эрудированной и до тупости самоуверенной, я заподозрил, что это, наверно, покойник Саймон Хэнкс с мыса Код, перевоплотившись в женщину, вновь сошел на землю. Поэт сказал:

Тайн для бога нет и не бывает.
Бог во всем уверен и непогрешим.
На земле же Саймон Хэнкс все знает:
После господа он числится вторым.

Казалось, вопрос решен. Но нью-йоркские газеты уже давно привыкли к тому, что ни одна важная проблема не может считаться окончательно решенной, пока не установлено мое

мнение, — так уж у них повелось; и всякий раз редакторы, натываясь на затруднения, посылают ко мне за справками. И вот приехали ко мне в Ривердейл репортеры, чтобы услышать мой приговор. Я лежал в постели, убаюывая свой бронхит; и это позволило мне избежать беседы с приезжими. Я не сказал никому ни слова по этому поводу. Тем не менее на следующее утро в одной из газет появилось длинное вымышленное интервью со мной. Это был единственный случай за много лет, когда у нас или за океаном какая-нибудь газета проявила невежливость и нечестность по отношению ко мне. В высказывании от первого лица приводилось мое мнение по поводу того, что такое джентльмен.

Вы согласитесь, что эта ситуация не лишена юмора, юмора извращенного и низкопробного. Ведь все, кто когда-либо пытался расшифровать современное понятие «джентльмен», пришли к единому заключению, что обязательными качествами его должны быть честность, правдивость, вежливость. Прекрасно. Но вот вам редактор, который посылает ко мне своего представителя — явного мошенника и, следовательно, надувает своих читателей; а между тем если б я заявил, что этот редактор не джентльмен, то все его друзья, естественно, заставили бы меня обосновать мое обвинение! И тут бы я попал впросак, ибо я сам не знаю, что такое джентльмен в современном смутном понимании этого слова. Честно говоря, для меня все это — четвертое измерение плюс квадратура круга плюс небулярная гипотеза.

Отмечу еще две юмористические детали. Журническое интервью в газете ввело в заблуждение доверчивого обывателя из города Джаплина и нанесло ущерб его законным наследникам. Они не могут получить наследство, ибо оно должно быть использовано на внедрение моей идеи касательно того, что такое джентльмен. Предполагаемым «курсам джентльменства» тоже ничего не достанется, потому что на этот счет нет и не было моих программных высказываний. Капитал заморожен — и, видимо, навсегда. Более мрачной, язвительной, душераздирающей шутки я, пожалуй, никогда не слышал!

Однако неужели нам не удастся определить, что такое американский джентльмен? В целом — нет. Но лучшие, ценнейшие его черты попытаемся выделить. Все остальное тонет в тумане, окутано мраком и неопределенностью. Это — и то и другое, это — все и ничего, как нам ответит наобум любой невежда. А когда мы убедимся, что клубок основательно запутан, но чего-то еще как будто не хватает, припудрим все сверху высшим образованием и поставим точку.

Что же мы называем лучшими, ценнейшими, самыми основными чертами американского джентльмена? Предположим, что это вежливость и безупречная репутация. Но что такое вежливость? Внимание к другим людям. А много ли такого внимания у американцев? По моим наблюдениям, ответ на этот вопрос

должен быть отрицательным. Разве это американская черта – внимание к другим? Насколько мне известно, самая американская из всех американских черт – полное отсутствие такого внимания. Даже иностранцы утрачивают свою приятную вежливость, как только нам удастся их американизировать. Если вам приходилось хотя бы год прожить за границей – будь то среди гольх дикарей или же одетых жителей цивилизованных стран, – то первое, что бросится вам в глаза по возвращении в Америку, – это грубое, хамское обращение на каждом шагу. Оскорбления начинаются уже в таможне и преследуют вас неотступно. Те из вас, кому пришлось побывать за границей, с гневом и стыдом подтвердят правду моих слов; остальные признают ее в будущем, когда им придется возвращаться домой из-за океана. Вот вы сели в трамвай, онемев от восторга, ваше сердце переполнено счастьем, слезы застилают глаза, в мозгу поет: «Неужели я снова дома?» Но тут раздается лай кондуктора: «Эй ты, поворачивайся!» И вам становится ясно, что да, действительно вы дома. Вам становится ясно, что ни в какой другой стране мира, первобытной или цивилизованной, никто не стал бы так изощренно оскорблять ваших кротких родителей или вашу юную сестру, и этого не стерпели бы никакие люди, кроме американцев. Мы позволяем попираť наши элементарнейшие права повсеместно и ежечасно; гражданская честь – понятие, нам совершенно неведомое. Мы никогда не претендовали на звание самой невежливой нации, самой грубой нации, хотя мы вне конкуренции. Не потому ли мы молчим, что мы также – самая скромная нация в мире? Вероятно, да. Вот почему мы до сих пор сохраняем старый, тихий, изысканно вежливый и отнюдь не характерный для Америки национальный девиз: *Ex pluribus unum* – «Из множества – единое», вместо того чтобы заменить его другим, современным, истинно американским девизом: «Эй ты, поворачивайся!»

Денно и ночью, не ожидая ни похвал, ни оплаты, я тружусь в поте лица на высокоом поприще, которое я добровольно избрал, – на поприще исправления американских нравов. Прошу оказать мне помощь в этом. Вы спросите меня: «А вежлив ли ты сам?» Пожалуй, нет. Ведь я – американец! Почему же тогда я не займусь сперва переделкой собственного нрава? А это я уже объяснил вначале: учить себя самого – благородное дело, но еще более благородное – учить других; кстати, последнее куда легче.

Итак, закончив эту неофициальную и непрошеную лекцию, я приглашаю настоящего лектора подняться сюда и произнести свою речь; но я это делаю вежливо, – вы никогда не услышите, чтоб я сказал доктору Ван-Дайку, которого я, как и вся наша страна, глубоко уважаю: «Эй ты, поворачивайся!»

НОВАЯ ПЛАНЕТА

(Астрономы в Гарвардском университете обнаружили «возмущения в орбитальном движении Нептуна», которые могут быть вызваны наличием близости новой планеты).

Я верю в новую планету. В 1846 году, когда мне было одиннадцать лет, Леверрье, Адамс и Мэри Сомервиль открыли Нептун по тому волнению и беспокойству, которые он причинял Урану. «Возмущение» – так они назвали этот вид беспокойства. У меня у самого случались возмущения и длились чуть ли не по два месяца – фактически весь сезон арбузов, – потому что в это время на некоторых участках хозяева держат собак. Обратите внимание: недавние возмущения Нептуна астрономы посчитали значительными, так как они измерялись дугой в три секунды. Но ведь это пустяк: мне часто доводилось возмущаться целых полчаса, если это мое возмущение было вызвано собакой. Нет такого Нептуна, который мог бы не возмутиться из-за собаки, уж я-то знаю, ибо основываюсь не на слухах. Да если бы существовала планета даже на расстоянии в двести пятьдесят «световых лет» от Нептуна, профессор Пиккеринг открыл бы ее в одну минуту, вызови она у Нептуна такое же возмущение, какое порой может вызвать собака у человека. Если нужно кого-нибудь возмутить, дайте мне собаку! Пусть она внезапно выскочит на вас из темноты при лунном свете, и вы поймете, какая ничтожная вещь – три угловые секунды: дрожь, которая пройдет по вашему телу, смогла бы расклеить швы самого Ноева ковчега от носа до кормы, и вы отшвырнете свой арбуз так, словно он никогда не вызывал у вас ничего, кроме случайного любопытства. Я-то знаю это хорошо, ибо пишу не легенду, а историю.

А теперь заметьте следующее. Примерно в конце августа 1846 года со мной произошла перемена: я твердо решил вступить на праведный путь и перевоспитался. И тем не менее все осталось по-прежнему, ибо хозяева участков стали держать не только собак, но и ружья. И хотя я перевоспитался, возмущения не прекращались! Это не поражает вас? Они не прекращались, они продолжались и продолжались, целых три недели, до самого двадцать третьего сентября. Тут был открыт Нептун, и все разъяснилось. Это показывает, что я чувствителен настолько, что начинаю возмущаться, едва лишь причиняется беспокойство любой другой планете. Это продолжается всю мою жизнь. Бывает это только в сезон арбузов, но не имеет к арбузам никакого отношения: геологи, антропологи и садоводы – все говорят мне, что это наследственное, и сам я с этим согласен. Этим летом я опять начал возмущаться, и опять это длилось весь сезон арбузов, и где, как вы думаете? Да у меня на ферме, в Коннектикуте. Существенно ли это? Без сомнения, да,

потому что на этой ферме нельзя добыть арбуз даже с помощью буровой вышки.

Это возмущение было вызвано во мне новой планетой. В обсерватории имени Вашингтона могут сомневаться, но мне все равно: я знаю, что новая планета существует. Я знаю это потому, что просто так я не возмущаюсь. Для этого должна иметься либо собака, либо планета – либо то, либо другое. Здесь поблизости нет никаких собак, значит, где-то должна быть новая планета. Я надеюсь, что ее назовут в мою честь; меня устроило бы и это, раз уж нельзя получить целое созвездие.

Памфлеты



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОММОДОРУ ВАНДЕРБИЛЬТУ

Как болит мое сердце за вас, как мне вас жаль, коммодор!

Почти у каждого человека есть хотя бы небольшой круг друзей, преданность которых служит ему хотя бы небольшой поддержкой и утешением в жизни. Вы же, по-видимому, лишь кумир толпы низкопоклонников, жалких людишек, которые с наслаждением воспевают ваши самые вопиющие гнусности, или молитвенно славят ваше огромное богатство, или расписывают вашу частную жизнь, самые обыкновенные привычки, слова и поступки, как будто бы ваши миллионы придают им значительность; эти друзья рукоплещут вашей сверхъестественной скарденности с таким же восторгом, как и блестящим проявлениям вашего коммерческого гения и смелости, а наряду с этим и самым незаконным нарушением коммерческой честности, ибо сии восторженные почитатели чужих долларов, должно быть, не видят различия между тем и другим и одинаково, снимая шляпы, поют «аллилуя» всему, что бы вы ни сделали. Да, жаль мне вас! Жалости достоин всякий, у кого такие друзья. Вам, должно быть, стали ненавистны газеты. Мне кажется, вы не рискуете и заглядывать ни в одну – из опасения, что увидите до неприличия восторженный панегирик по поводу какого-либо вашего поступка, либо самого обиденного, либо такого, которого следовало бы стыдиться. Хотя мы с вами и не знакомы, искреннее сострадание к вам дает мне право так говорить. Скажите, вы когда-нибудь пытались трезво поразмыслить о репутации, которую создают вам газеты? Разобрались, из *чего* она создается? А это интересно, уверяю вас. Вот, например, в один прекрасный день кто-либо из ваших «подданных» посвящает два-три газетных столбца подробностям вашего «восхож-

дения» от нищеты к богатству и, восторгаясь вами, как будто вы самое совершенное и прекрасное из всего, что создал бог, он, сам того не замечая, показывает, как безмерно низок должен быть человек, чтобы достигнуть того, чего достигли вы. Затем другой ваш подданный описывает, как вы катаетесь по парку: поразительный вид, опущенная голова... Вы не смотрите ни влево, ни вправо, не хотите порадовать тысячи людей, жаждущих удостоиться хотя бы одного вашего взгляда, и мчитесь вперед, бесшабашно пренебрегая всеми правилами езды. Все ваше поведение ясно говорит: «Пусть никто не попадается мне по дороге, а если попадется и я его спшибу, изувечу – не важно, откуплюсь». И как же этот рассказчик столь умилительных эпизодов пресмыкается перед вами, лежа в пыли у ваших ног, как славит вас, Вандербильт! Далее один из ваших людей помещает в газете длинную заметку, в которой описывается, как вы каким-то тайным, хитрым способом «обошли» людей, затеяв какую-то махинацию с акциями «Эри», и прибавили еще один грязный миллион к толстым пачкам своих банкнотов. И – заметьте! – этот писака только превозносит вашу ловкость; ни единого слова о том, что темные дела на столь высоком посту, как ваш, опасный пример для подрастающего поколения коммерсантов, более того – они убийственны для всего нашего народа, пока существуют такие пресмыкающиеся, как ваши поклонники, которые в печати ставят вам эти делишки в заслугу, как величайшую добродетель. В «Харперс» один субъект рассказывает в качестве забавного анекдота, как одна дама держала пари на пару перчаток, что сумеет тронуть вас рассказом о нуждах благотворительного общества, которое организуют благородные и самоотверженные люди для помощи несчастным, и тогда вы, расшедрившись, уделите ему крохи от ваших несметных богатств. А вы дослушали до конца ее рассказ о нужде и страданиях – и что же? Вы дали этой даме один жалкий доллар (такой поступок уже сам по себе – оскорбление. Представьте, что с моей сестрой или вашей кто-нибудь поступил бы так!) и сказали: «Теперь можете объявить тому, с кем вы держали пари, что перчатки – ваши». Рассказав в печати этот анекдот, ваш верноподданный покатывается со смеху – такой забавной кажется ему мысль, что вы способны поддаться уговорам чувствительного адвоката в юбке и мужественно уделить от своих щедрот целый доллар в помощь хотя бы одному существу под солнцем. Вот какие у вас преданные друзья, Вандербильт! От одного из них мы узнали, например, что, когда вам принадлежали пароходы Калифорнийской линии, вы приказывали кассирам составлять фальшивые списки пассажиров, фактически же перевозили на несколько сот человек больше, чем разрешается законом. Так вы нарушали законы нашей страны и подвергали опасности жизнь пассажиров, до отказа набивая людьми пароходы, которым предстоял долгий путь по тропическим морям в страшную жару и под угрозой

эпидемии на борту. И, разумеется, ваш друг-журналист отдал дань восхищения столь замечательной ловкости! А я помню, как ругали и проклинали вас жертвы вашей алчности, пассажиры, добравшиеся до Панамского перешейка, в особенности женщины и девушки, которым всю дорогу приходилось спать на палубах вповалку, бок о бок с какими-то мужчинами, подонками общества, которые, если верить бедным женщинам, лежали даже рядом с ними на койках. И можете мне поверить, о великий Вандербильт, — вы, кого воспевают и кому завидуют, — что в Калифорнии не было человека, который усомнился бы в этих словах. Женщины эти нам с вами чужие, но если бы было иначе, мы были бы возмущены и скандализированы таким обращением с ними, не правда ли? Чтобы правильно судить о таких фактах, давайте попробуем себе представить, что на месте этих пассажиров — наши родственницы или любимые женщины, тогда уж нам будет не до смеха и кровь наша закипит от негодования. Так-то, мой милый коммодор!

Восхищенные почитатели рассказывают про вас и другие истории, но умолчим о них, они вас только позорят. Они ясно показывают, как опасно человеку богатство, как он мельчает, если деньги для него — не слуги, а божество. Да, ваши подвиги свидетельствуют, каким бездушным делает человека богатство, — вспомним хотя бы прелестную историю о том, как один молодой адвокат потребовал с вас за какие-то услуги пятьсот долларов, а вы нашли, что это слишком много. И вот вы пустили в ход хитрый трюк: завоевав доверие молодого человека, убедили его занять деньги и вложить их в акции «Эри», которые, как вы заведомо знали, в то время падали. Адвокат попал в расставленную вами западню, стал нищим, а вы были отомщены и злорадствовали. Почитатели ваши, конечно, не преминули огласить этот случай в печати, превознося до небес вашу изобретательность.

Ну, пожалуй, будет приводить примеры! Не помню, чтобы я хоть раз прочел о вас что-нибудь такое, чего вы не должны были бы стыдиться.

Сейчас я хочу настойчиво посоветовать вам лишь одно: преодолите свои врожденные инстинкты и сделайте что-нибудь похвальное, чтобы поступок этот не заставил вас краснеть, когда вы прочтете о нем в печати. Сделайте что-нибудь такое, что может пробудить искру благородства в сердце ваших почитателей. Хоть один-единственный раз подайте добрый пример тысячам молодых людей, которые до сих пор стремились с вами соревноваться только в энергии и неутомимости. Пусть в мусоре ваших дел сверкнет хотя бы единая крупинка чистого золота. Сделайте это, молю вас, иначе среди нас — не дай бог! — скоро появится пятьсот новых Вандербильтов, следующих по вашему пути. Прошу вас, решайтесь, совершите хоть один достойный поступок. Наберитесь духу — и великодушно, благодарно, смело пожертвуйте четыре доллара на какое-

нибудь большое благотворительное дело. Знаю, это разобьет вам сердце. Ну да ничего, все равно вам жить осталось недолго, и лучше умереть скоропостижно от порыва благородства, чем жить еще сто лет, оставаясь тем же Вандербилтом. Послушайтесь же меня, и, честное слово, я тоже начну петть вам дифирамбы.

Бедный Вандербильт! Мне, право, жаль вас, честное слово! Вы — старый человек, и пора бы вам уйти на покой. А вам приходится лезть из кожи, лишать себя покойного сна и мира душевного, отказываться от многого в вечной погоне за деньгами. Я всегда сочувствую беднякам, как вы, которых заездила их «нищета». Поймите меня правильно, Вандербильт. Мне известно, что у вас семьдесят миллионов. Но мы с вами знаем, что человек богат не тогда, когда у него большие деньги, а когда ему этих денег достаточно. Апока он жаждет увеличить свой капитал, он еще не богат. Будь у него даже семьдесят раз семьдесят миллионов, они еще не делают его богатым, пока он томится жаждой накопить больше. Моих средств только-только хватило бы, вероятно, на покупку самой плохой лошади из вашей конюшни, но я могу сказать положа руку на сердце, что больше одной лошади мне не нужно. Значит, я богат. А вы! У вас есть семьдесят миллионов, но вам непременно нужно пятьсот, и вы из-за этого искренне страдаете. Такая нищета просто ужасает. Честно вам говорю, вряд ли я мог бы прожить и сутки под тяжким бременем презренной жажды добыть еще четьреста тридцать миллионов. Это убило бы меня. Ваша злополучная нищета так меня удручает, что, встретив вас сейчас, я охотно бросил бы в вашу жестянку десять центов и сказал бы: «Да смилуйся над вами господь, горемыка вы несчастный!»

Прошу вас, Вандербильт, не сердитесь на меня. Уверяю вас, я все это говорю, желая вам добра, и слова мои искреннее, чем все, что до сих пор говорилось вам и о вас. Так что давайте-ка сделайте что-нибудь такое, чего не пришлось бы стыдиться! Сделайте нечто подобающее обладателю семидесяти миллионов, человеку, чьи самые незначительные поступки запоминаются людьми более молодыми во всей стране и служат примером для подражания. Не обольщайтесь мыслью, будто все, что вы делаете и говорите, замечательно, не верьте ослам, которые без конца твердят это в газетах. Не обманывайте себя. Очень часто ваши идеи по существу вовсе не блестящи, они попросту сияют отраженным блеском ваших семидесяти миллионов. Подумайте об этом на досуге. Вам подражает вся наша молодежь. Я тоже пробовал подражать вам и стать знаменитым. Но мои подвиги не привлекли ничьего внимания. Однажды я дал нищей калеке два цента и шутливо посоветовал ей пойти в отель «Пятая авеню» и прожить там на эти деньги целую неделю. Но про мою выходку нигде не писали. А если бы так поступили вы, все стали бы кричать, что это самая остроумная шутка на свете. Ибо

вам, Вандербильт, можно изрекать неслыханные пошлости — в газетах их тут же объявят образцом остроумия. А вот недавно я говорил в Чикаго о своем плане откупить железную дорогу «Юнион-Пасифик» до самых Скалистых гор и эксплуатировать ее самостоятельно, на свой риск. Столь замечательная идея, столь смелый проект не рождались даже в вашем хваленном мозгу, — а вызвали они сенсацию в газетах? Ничуть не бывало. Зато если бы это придумали вы, во всем газетном мире поднялась бы буря восторгов. Нет, сэр, другие люди не уступают вам в блеске идей и речей, но им не хватает ореола семидесяти миллионов. Так что не верьте хору похвал. Большая часть их относится не к вам, а к вашим миллионам. Говорю это, чтобы предостеречь вас против суетного тщеславия, и нездорового и беспочвенного: ибо если бы вы лишились своих миллионов, вы с удивлением и горечью убедились бы, что отныне все ваши слова и дела будут казаться банальными, ничем не замечательными.

Заметьте, я ничего не говорю о вашей душе, Вандербильт. Не говорю, ибо у меня есть все основания думать, что души у вас нет. Никто меня не сможет убедить, что человек с вашей беспримерной коммерческой сметкой, если бы у него была душа, упустил бы такую сверхвыгодную сделку с господом богом: ведь вы могли бы обеспечить себе миллионы лет покоя, мира, блаженства в раю ценой такого пустяка, как десяток лет, безгрешно прожитых на земле! А вам вряд ли осталось жить больше какого-нибудь десятка лет — ведь вы глубокий старик...

Впрочем, быть может, душа у вас все-таки есть. Но знаю я вас, Вандербильт, отлично знаю: вы попытаете торговаться, купить спасение души подешевле. Миллионы лет райского блаженства вас, конечно, прельщают, и вы готовы пойти на эту сделку — еще бы, такая дивная перспектива! Но вы будете выжидать, тянуть до своего смертного часа и тогда предложите за нее то, что у вас осталось, — один час и сорок минут. Знаю я вас, Вандербильт! Впрочем, так поступают люди и похуже вас. Преступники, которых ждет виселица, всегда в последнюю минуту посылают за священником.

Поверьте, Вандербильт, я говорю все это ради вашего же блага, а вовсе не для того, чтобы вас позлить. Право, вы ведете себя не умнее, чем Асторы. Впрочем, лучше быть подлецом, но живым человеком, чем палкой, даже если эта палка с золотым набалдашником.

Ну вот, я свою задачу выполнил. Я хотел вас расшевелить и привести в хорошее настроение. Ведь вам, наверно, иногда до тошноты надоедает приторная лесть и подхалимство, и вы для разнообразия не прочь услышать честную критику, даже брань. Еще одно скажу вам на прощание: вы, стоящий во главе финансовой аристократии Америки, наверно, испытываете порой смутную потребность свершить что-нибудь замечательное, подвиг коммерческой честности, гуманности, мужества, чести и

достоинства, — подвиг, который сразу прославит вас во всей стране, и через сто лет после вашей смерти матери все еще будут твердить о нем своим юным и честолюбивым сыновьям. Думаю, что у вас бывают такие минуты, — ведь это вполне естественно, — и поэтому горячо советую вам претворить эту мысль в действие. Решайтесь, удивите всю страну каким-нибудь добрым делом. Перестаньте совершать поступки и говорить слова, недостойные человека и крайне ничтожные, слова и поступки, которые вашими друзьями восхваляются в печати. Уймите этих подхалимов или удавите их.

Ваш *Марк Твен*

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ГОВЯЖЬЕГО КОНТРАКТА

Хочу кратко поведать моим соотечественникам о моем скромном участии в этом деле, которое так взволновало общество, породило столько противоречивых суждений и попало на страницы американских и европейских газет в искаженном виде и с нелепыми комментариями.

Я торжественно заявляю, что каждое мое слово может быть полностью подтверждено официальными материалами из федеральных архивов.

Эта грустная история началась так.

Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью-Джерси, заключил примерно 10 октября 1861 года контракт с федеральным правительством на поставку генералу Шерману тридцати бочек с говядиной.

Отлично!

Он отправился с говядиной к Шерману, но когда привез ее в Вашингтон, Шерман ушел в Манассас; он поехал в Манассас; но Шермана там уже не было; он последовал за Шерманом в Нешвилл, из Нешвилла в Чаттанугу, из Чаттануги в Атланту, он так и не догнал Шермана. В Атланте он перевел дух и проделал за Шерманом весь путь к морю. Он опоздал опять — всего на несколько дней. Прослышав, что Шерман в компании других паломников отправился на пароходе «Квакер-Сити» в Святую Землю, он отплыл с говядиной в Бейрут, рассчитывая опередить Шермана. Когда он прибыл в Иерусалим, то узнал, что Шерман не ездил на «Квакер-Сити», а вместо того отправился в прерии воевать против индейцев. Он возвратился в Америку и поехал к Скалистым горам. После семидесятидневного тяжелого странствия в прериях, всего в четырех милях от штаба Шермана, индейцы размозжили ему голову томагавком, оскальпировали его и захватили говядину. Одну бочку, впрочем, армия Шермана у индейцев отбила, и, таким образом, уже будучи мертвым, отважный путешественник частично выполнил свой контракт. В

завещании, которое было найдено в его дневнике, он поручил все расчеты с правительством Бартоломью В., своему сыну, и Бартоломью накануне своей кончины составил следующий окончательный счет:

«Соединенные Штаты, согласно обязательству, выданному покойному Джону Уилсону Маккензи из штата Нью-Джерси, остались должны:

За тридцать бочек говядины для генерала Шермана по 100 долларов за бочку	3000 долл.
Расходы по перевозке говядины и личные путевые издержки	14 000 долл.
<hr/>	
Итого:	17 000 долл.
Прошу оплатить».	

Этот счет он оставил в наследство Уильяму Джону Мартину, который пытался получить по контракту деньги, но умер, не преуспев в этом деле. Мартин оставил контракт Баркеру Дж. Аллену, и тот тоже сделал попытку получить свои деньги. Не выжил. Баркер Дж. Аллен оставил контракт Энсону Дж. Роджерсу, которому посчастливилось продвинуть контракт до канцелярии девятого ревизора, когда беспощадная смерть прервала и окончила все его земные дела. Он оставил контракт своему родственнику из штата Коннектикут по имени Мстительный Гопкинс. Мстительный Гопкинс продержался четыре недели и еще двое суток, показав лучшие результаты в сезоне. По завещанию контракт перешел к его дяде, которого звали Веселый Джонсон. Его последние слова перед смертью были: «Не рыдайте, я счастлив покинуть сей мир». Бедняга сказал это искренне, от всего сердца. В дальнейшем контракт наследовало еще семь человек. Ни один не остался в живых. Ко мне контракт перешел от родственника по фамилии Хаббард, Вифлеем Хаббард из Индианы. Он долго таил неизбывную злобу против меня и, умирая, призвал к своему одру, сказал, что все мне прощает, и вручил мне контракт на говядину.

На этом оканчивается рассказ о том, как я стал владельцем контракта. Сейчас я поведаю все, что касается моего участия в этом деле. Захватив контракт на говядину и счет за издержки, я отправился напрямик к президенту Соединенных Штатов Америки.

Он сказал:

– Я вас слушаю, сэр.

Я сказал:

– Ваше величество, примерно десятого октября шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью-Джерси, заключил контракт с федеральным правительством на поставку генералу Шерману тридцати бочек с говядиной.

Он прервал мою речь и учтиво, но твердо дал мне понять, что аудиенция окончена. На другой день я отправился к государственному секретарю.

Он сказал:

— Я вас слушаю, сэр.

Я сказал:

— Ваше королевское высочество, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью-Джерси, заключил контракт с федеральным правительством на поставку генералу Шерману тридцати бочек с говядиной.

— Довольно, сэр, хватит. Мое министерство не имеет касательства к поставкам говядины.

Меня вывели под руки. Продумав все заново, на следующее утро я направился к морскому министру, который встретил меня словами:

— Ну, сэр, выкладывайте, не заставляйте меня долго ждать.

Я сказал:

— Ваше высочество, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи, ныне покойный, из Роттердама, округ Чемунг, штат Нью-Джерси, заключил контракт на поставку генералу Шерману тридцати бочек говядины...

Он не дал мне закончить. Его министерство, изволите видеть, тоже не имеет касательства к поставкам для Шермана. Невольно рождалась мысль, что члены правительства ведут себя необъяснимо. Было похоже, что они просто не хотят платить за говядину. На следующий день я пошел к министру внутренних дел.

Я сказал:

— Ваша светлость, примерно десятого октября...

— Хватит, довольно. Я уже слышал о вас. Вон с вашим мерзким контрактом! Министерство внутренних дел не ведает снабжением армии.

Я ушел. Но я ожесточился душой. Я поклялся, что буду преследовать их как тень. Я буду осквернять своим нечистым присутствием все министерства одно за другим, пока контракт на говядину не будет оплачен. Я получу с них что следует или же с честью паду, как пали мои предшественники.

Я атаковал министерство связи. Я устроил подкоп под министерство сельского хозяйства. Я напал из засады на спикера палаты представителей. Все они как один утверждали, что не имеют касательства к воинским поставкам говядины. Тогда я перешел в наступление на директора Бюро по оформлению патентов.

Я сказал:

— Ваше превосходительство, примерно десятого...

— О пламя преисподней! Вы уже добрались и до нас! Но мы

не имеем решительно никакого отношения к говяжьим контрактам для армии, дорогой сэръ.

— Пусть так, но кто-то заплатит мне за эту говядину! Послушайте, если мне не уплатят немедленно, я конфискую ваше бюро вместе со всем имуществом.

— Послушайте, дорогой сэръ...

— Не желаю никаких объяснений. Я считаю, что Патентное бюро отвечает за этот контракт. Можете не соглашаться, как угодно, а деньги на бочку!

Излагать дальнейший ход нашей беседы было бы затруднительно. Мы перешли к рукопашной. Победило бюро. Но и я извлек для себя некую пользу. Я узнал там, что мне нужно пойти в казначейство. Продав два с половиной часа, я попал на прием к первому лорду нашего казначейства. Я сказал:

— Благороднейший и досточтимый синьор, примерно десятого октября тысяча восемьсот шестьдесят первого года Джон Уилсон Маккензи...

— Можете не продолжать, сэръ. Я слышал о вас. Обратитесь к первому ревизору.

Так я и сделал. Первый ревизор направил меня ко второму, второй ревизор — к третьему, а третий адресовал меня к первому контролеру Подотдела говядины. Я счел это добрым признаком. Тот проверил все свои книги, но не нашел ничего о говяжьем контракте. Я обратился ко второму контролеру Подотдела говядины. Он проверил бумаги, но опять без успеха. Это меня раззадорило. За неделю я добрался до шестого говяжьего контролера. Вторую неделю я посвятил Отделу претензий. На третью неделю, рассчитавшись с Отделом пропавших контрактов, я вступил в Подотдел посмертных расчетов и прикончил его за три дня. Оставалась последняя крепость — Отдел всякой всячины. Я атаковал начальника Всячины, точнее, его канцелярию, сам начальник отсутствовал. Шестнадцать очаровательных юных девиц вносили реестровые записи во входящие книги, семь обворожительных юношей давали им руководящие указания. Юные девицы улыбались молодым людям, те улыбались девицам, и дело шло весело, как свадебный перезвон. Два-три клерка, углубившись в газеты, окинули было меня недоброжелательным взглядом, но затем вернулись к газетам, и никто во всей Всячине не обращал на меня никакого внимания. С того первого дня, когда я переступил порог Канцелярии говяжьих контрактов, и вплоть до минуты, когда я захлопнул дверь Подотдела посмертных расчетов, я успел досконально узнать, что такое любезность младшего помощника четвертого клерка. Я так поднаторел в этом деле, что мог, почти не качаясь, стоять на одной ноге, пока клерк не поднимет на меня любознательный взгляд — ну, может быть, раз или два сменив уставшую ногу.

Здесь я сменил уставшую ногу ровно четыре раза. Потом я сказал одному из клерков, читавших газеты:

– Эй, голодранец, где великий султан?

– Что такое, сэр? О ком речь? Если вы имеете в виду начальника Всячины, то его нет.

– Посетит он сегодня гарем?

Молодой человек окинул меня негодующим взглядом и уткнулся в газетный лист. Я был спокоен. Я изучил этих клерков. Важно только одно, чтобы он покончил со своими газетами раньше, чем принесут пачку свежих, нью-йоркских. Оставалось всего две газеты. Просмотрев их, он сладко зевнул и спросил, что мне надобно.

– Почтеннейший несмышлениш, примерно...

– Вы человек с говяжьим контрактом? Давайте сюда бумаги.

Он взял у меня бумаги и стал рыться в своей Всякой Всячине. Затем этот клерк совершил открытие, равное открытию Северо-Западного прохода: он обнаружил затерянную запись о говяжьем контракте! Так вот он, подводный камень, на котором терпели крушение все, кто предшествовал мне и не добрался до цели! Я был глубоко потрясен. В то же время я ликовал— ура, я остался в живых! Прерывающимся голосом я сказал молодому клерку:

– Давайте сюда документ! Я улажу все сам с правительством.

Он холодно отстранил меня и сказал, что имеются кое-какие формальности.

– Где теперь Джон Уилсон Маккензи?— спросил он меня.

– Мертв.

– Скончался?

– Убит.

– При каких обстоятельствах?

– Ему размозжили голову томагавком,

– Кто размозжил ему голову томагавком?

– Индеец, понятное дело. Уж не думаете ли вы, что это сделал директор воскресной школы?

– Нет, не думаю. Значит, индеец?

– Я уже это сказал.

– Как звали индейца?

– Как звали индейца? Я не знаю, как его звали.

– Придется узнать. Скажите, видел ли кто, как индейцы размозжили Маккензи голову томагавком?

– Не знаю.

– Вы лично присутствовали?

– Нет, это легко угадать по состоянию моего черепа.

– Почему же вы так уверены, что Маккензи скончался?

– Потому что как только его убили, он сразу стал мертвым, а будучи мертвым, оставался мертвым и далее. Смею вас в этом заверить.

– Нужны доказательства. Индеец при вас?

– Нет, понятное дело.

– Придется его привезти. Томагавк не при вас?

– Томагавк?! Боже милостивый!!

– Томагавк придется представить. И индейца и томагавк. Если с помощью этих улик вам удастся удостоверить кончину Маккензи, вы получите право толкнуть ваше дело в Комиссии по претензиям – с тем, чтобы ваши потомки до своей неизбежной кончины успели получить, что им следует. Впрочем, сперва надлежит доказать кончину Маккензи. Далее замечу, что наше правительство не станет оплачивать вам ни перевозку говядины, ни путешествие столь горячо оплакиваемого вами Маккензи. Допускаю, что вам заплатят за ту бочку говядины, которая досталась солдатам, да и то лишь в том случае, если вы добьетесь специального ассигнования в Конгрессе. За съеденные индейцами двадцать девять бочек говядины правительство платить вам не будет.

– Выходит, мне следует только сто долларов, да и то без гарантии! После всех странствий Маккензи с говядиной по Европе, Азии и Америке! После всех жертв, страданий и перевозок! После избиения невинных младенцев, пытавшихся взыскать деньги по этому счету! Скажите, молодой человек, почему первый контролер Подотдела говядины не сказал мне об этом сразу?

– Он не знал, насколько обоснованна ваша претензия.

– Ну а почему молчал второй контролер, почему молчал третий? Почему молчали все отделы и подотделы?

– Никто не мог ничего сказать вам заранее. Дела ведутся у нас в определенном порядке. Вы теперь познакомились с нашим порядком и знаете все, что хотели узнать. Наш порядок – прекрасный порядок, единственно возможный порядок. Дело вершится постепенно, без спешки. Зато результаты – верные!

– Да, верная гибель! Так погибли мои предшественники, так погибну и я! Я вижу, молодой человек, что вы влюблены без памяти в это прелестное существо с голубыми глазами и стальным пером за ухом. Я читаю страсть в ваших взорах. Вы хотите жениться на ней, но у вас мало денег. Вот, держите, я дарю вам говяжий контракт. Венчайтесь и будьте счастливы! Да благословит вас всевышний, дети мои!

Вот и все, что я знаю о великом говяжьем контракте, который вызвал в свое время столько толков и шума.

Клерк, которому я подарил свой контракт, недавно скончался. Больше я ничего не слышал ни о контракте, ни о его дальнейших владельцах. Скажу только одно: если человек наделен долготелетием и готов всю долгую жизнь тащить свое дело через Министерство околичностей в нашей стране, может статься, ему повезет – и тогда ценою бесчисленных усилий он узнает, приблизившись к кончине, то, что узнал бы немедленно, в первый же день, в самой обыкновенной торговой конторе.

ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ

Первым, кто меня почтил вниманием вскоре после того, как я здесь обосновался, был джентльмен, назвавшийся экспертом, имеющим отношение к департаменту внутренних сборов. Я сказал, что никогда не слышал о такой отрасли коммерции, но тем не менее очень рад с ним познакомиться. Не угодно ли присесть? Он сел. Я не знал, с чего начать разговор, хотя и сознавал, что человек, достигший почтенного положения домовладельца, обязан быть светски непринужденным, разговорчивым и общительным. Поэтому, за неимением лучшего, я спросил, не собирается ли он открыть свое дело в наших краях.

Он ответил утвердительно. (Мне страшно не хотелось выказывать свою неосведомленность, и я надеялся, что в ходе беседы незнакомец сам упомянет, чем он торгует.)

– Как дела? – рискнул я спросить.

– Так себе, – ответил он.

Тут я пообещал, что мы с женой заглянем к нему и если останемся довольны, то он может считать нас своими постоянными клиентами.

Он выразил надежду, что его заведение нам понравится: еще не было случая, чтобы кто-нибудь после знакомства с ним захотел бы иметь дело с другими представителями его профессии.

Это прозвучало довольно нескромно, но если пренебречь такой вполне естественной слабостью, свойственной каждому из нас, то он показался мне человеком порядочным.

Уж не знаю, как это получилось, но мало-помалу лед растаял, мы нашли общий язык, и дальше все пошло как по маслу.

Мы говорили, говорили, и говорили – главным образом я, и хохотали, хохотали, хохотали – главным образом он. Но я ни на минуту не терял головы, и е т, – я включил свой природный ум «на полный ход», как говорят машинисты. Вопреки его туманным ответам, я решил непременно выяснить, чем он торгует, выудить из него все, но так, чтобы он этого не заметил. Я хотел весьма хитроумно заманить его в ловушку: сперва я сам расскажу ему о своих делах, и, конечно, этот порыв доверия с моей стороны так его расположит ко мне, что он в свою очередь, забыв осторожность, поведаст о себе, даже не подозревая, что мне только того и надо.

«Сынок, – подумал я, – знал бы ты, к какой старой лисе угодил в лапы».

– Угадываете-ка, – сказал я, – сколько я заработал за прошлый год чтением лекций!

– Нет... ну откуда же... Гм! Погодите... Ну, скажем, тысячи две? Нет, нет... Право же, вы не могли столько заработать! Скажем, тысячу семьсот?

– Ха-ха! Так и знал – не угадаете. За прошлую весну и эту

зиму я заработал публичными лекциями четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят долларов. Ну, каково?

– Поразительно! Просто поразительно! Мне это надо учесть... И вы говорите, это еще не все?

– Все? Бог ты мой – а газета? «Ежедневный Боевой Клич»? За четыре месяца – около... около... скажем... восемь тысяч долларов! Как вам это нравится?

– Нравится! Да я бы сам не прочь поплавать в этом океане долларов. Восемь тысяч! Тоже надо учесть... Послушайте, и, помимо всего прочего, как я понял, у вас имелись еще и другие доходы?

– Ха-ха-ха! Да вы еще, так сказать, бродите по задворкам! А моя книга «Простак за границей»? От трех с половиной до пяти долларов за экземпляр, в зависимости от переплета. Слушайте! Смотрите мне в глаза! За последние четыре с половиной месяца, помимо проданных ранее, – только за четыре с половиной месяца! – разошлось девятнадцать тысяч экземпляров. Де-вя-но-сто пять тысяч! Только подумайте! В среднем, скажем, по четыре доллара за книгу, стало быть – четыреста тысяч долларов, любезнейший. Я получаю половину.

– Святые спасители! Я должен это учесть... Четырнадцать... семь... пятьдесят... восемь... двести... В итоге – ручаюсь – общая сумма двести тринадцать или двести четырнадцать тысяч долларов. Неужели это мыслимо?

– Мыслимо?! Если я и ошибся, то лишь преуменьшив свои заработки. Двести четырнадцать тысяч наличными – вот мой чистый годовой доход, если я не разучился считать.

Мой гость поднялся, собираясь откланяться. И вдруг в голову мне пришла неприятная мысль: а что, если я распинался перед ним зря, да еще приукрашивал свои успехи, польщенный его изумлением? Но нет! В последнюю минуту этот джентльмен вручил мне конверт и сказал, что в нем находится проспект, ознакомившись с которым я получу представление о роде его занятий. Он просто счастлив иметь меня своим постоянным клиентом, он будет гордиться тем, что среди его клиентов есть человек с таким огромным доходом. Прежде он полагал, что в нашем городе живет немало богачей, но как только они оказывались его клиентами, выяснялось, что они едва сводят концы с концами. И вот после стольких томительных лет ожидания ему наконец довелось воочию видеть богатого человека, беседовать с ним, прикасаться к нему, – и теперь он просто не может не заключить меня в объятия и счел бы за великую любезность, если бы я ему это позволил.

Я был так польщен, что тут же, без всякого сопротивления, позволил этому простаку обнять меня и уронить несколько слез умиления за мой воротник. Потом он ушел.

После его ухода я сейчас же вскрыл конверт. Несколько минут я внимательно изучал проспект. Потом позвал кухарку и сказал:

– Держите меня, сейчас я упаду в обморок! А Мария пусть переворачивает оладьи, чтобы не сгорели..

Придя в себя, я тотчас приказал сходить на угол в трактир и ангажировать – недельной оплатой – маэстро, который бы проклинал этого типа по ночам, а когда я выдохнусь – сменял меня и днем.

Нет, каков прохвост! Его «проспект» оказался не чем иным, как омерзительной налоговой декларацией – целой серией наглейших вопросов о моих сугубо личных делах (на четыре листа большого формата, заполненных мелким шрифтом), – и, должен заметить, вопросов столь каверзных, что самый мудрый старец на свете не уразумел бы, где тут подвох. Вопросы эти были составлены с таким расчетом, чтобы вынудить человека чуть ли не вчетверо преувеличить свои доходы из боязни преуменьшить их и тем самым совершить клятвопреступление. Я пробовал найти лазейку, но ее не было.

Первый вопрос был настолько емким и всеобъемлющим, что накрывал меня вместе с моими доходами, как зонтик муравьиную кучу:

«Какова сумма вашего дохода за последний год от любого вида торговли, дела или занятия, независимо от вашего местожительства?»

Этот вопрос подкреплялся чертовой дюжиной других столь же въедливых вопросов, самые скромные из которых требовали ответа: не совершил ли я кражи со взломом, разбоя на большой дороге, не получил ли я путем поджога и других тайных средств обогащения какой-нибудь собственности, не упомянутой в ответе на вопрос № 1.

Было ясно, что этот человек предоставил мне полную возможность оказаться в дураках. Да, это было совершенно ясно. Я пошел и нанял второго маэстро. Играя на моем честолюбии, незнакомец вынудил меня заявить, что мой годовой заработок составляет двести четырнадцать тысяч долларов. Единственным утешением для меня был пункт, согласно которому доход в пределах одной тысячи долларов не облагается налогом, но что это – капля в море! Итак, я должен был отдать государству пять процентов своего дохода, то есть десять тысяч шестьсот пятьдесят долларов подоходного налога!

(Здесь я кстати замечу, что я этого не сделал.)

Я знаком с очень богатым человеком, дом у него – дворец, стол королевский, траты огромны, – и все же, судя по его налоговому декларациям, этот богач не имеет никаких доходов. К нему-то и обратился я за советом, попав в беду... Он просмотрел чудовищный перечень моих доходов, надел очки, взял перо и... гоп-ля! – я стал нищим. Впервые видел я такой ловкий фокус. Просто он хитроумно обошелся с графой «Скидки». Он написал, что мои налоги – в пользу штата, федеральный и муниципальный – составляют столько-то; мои «убытки при кораблекрушении, пожаре и пр.» – столько-то; убытки «при

продаже недвижимости» – столько-то; убытки «при продаже домашнего скота» – столько-то; «на уплату аренды» ушло столько-то; на «ремонт, переделки, уплату процентов», «взимавшиеся ранее налоги в бытность мою на службе в американской армии, флоте, налоговом ведомстве» и прочие... Он произвел поразительные «скидки» по каждому, буквально по каждому из этих пунктов. Когда он протянул этот лист мне, я с первого же взгляда увидел, что мой чистый годовой доход составляет тысячу двести пятьдесят долларов и сорок центов.

– Так вот, – сказал он, – доход в тысячу долларов не облагается налогом. Теперь вам остается лишь клятвенно заверить этот документ и заплатить налог с двухсот пятидесяти долларов.

(Пока он это изрекал, его маленький сынишка Уилли вытащил из жилетного кармана папаша двухдолларовую бумажку и исчез. Готов биться о любой заклад: случись моему недавнему посетителю завтра явиться к нему, малыш предъявит ему фальшивую декларацию о своих доходах.)

– И вы, сэ р, – спросил я, – тоже обрабатываете графу «Скидки» подобным образом?

– А как же! Если бы не эти одиннадцать спасительных пунктов под заголовком «Скидки», я бы ежегодно разорялся ради того, чтобы содержать наше гнусное, разбойничье, деспотичное правительство. Человек этот выделяется даже среди самых солидных граждан города – людей высокой нравственности, коммерческой честности, незапятнанной общественной репутации, – и я последовал его примеру. Я отправился в налоговое ведомство и, чувствуя на себе осуждающий взор моего недавнего гостя, стал под присягой утверждать ложь за ложью, измышление за измышлением, жульничество за жульничеством, пока душа моя не покрылась трехдюймовой коростой греха, так что я навеки утратил уважение к самому себе.

А собственно, почему? Ведь тысячи самых богатых, гордых, почитаемых граждан Америки каждый год проделывают то же самое. Наплевать! Мне ничуть не стыдно. Но впредь я решил быть поосторожнее и поменьше болтать, дабы не пасть жертвой столь пагубной привычки.

ИСПРАВЛЕННЫЙ КАТЕХИЗИС

Студенты первого курса, изучающие новейшую Моральную философию, встают и читают нараспев:

Какова главная цель человеческой жизни?

Ответ. Стать богатым.

Каким путем?

Ответ. Нечестным, если удастся, честным, если нельзя иначе.

Кто есть бог, истинный и единый?

Ответ. Деньги – вот бог. Золото, банкноты, акции – бог отец, бог сын, бог дух святой, един в трех лицах; господь истинный, единый, всевышний, всемогущий, а Уильям Туид – пророк его.

Назовите имена двенадцати апостолов.

Ответ. Святой Осел – Жеребец Холл, на котором пророк въехал в Иерусалим; святой Конноли – любимейший из апостолов; святой Матвей Карнохэн, восседающий у приема пошлин; святой Петр Фиск – апостол-воитель; святой Павел Гулд, бичеванный не раз и славный своими рубцами; святой Уайнесс Искарриот; святой Яков Вандербильт – вдосталь чтимый апостол; святой Харви – благовзятель; святой Ингерсол – поставщик священных ковров, святая Нью-Йоркская типографская компания, смиренная и кроткая (правая рука ее не ведает, что ханнула левая); святой Петр Хоффман, отрекшийся от своего ирландского учителя, после того как петух общественно мнения пропел шесть или семь раз; святой Барнард – судья премудрый, издающий в годину бедствий специальные судебные определения, дабы спасти душу ближних своих.

Как достичь главной цели человеческой жизни?

Ответ. Поставляйте воображаемые ковры судебным учреждениям и мифические стулья арсеналам; выполняйте невидимые типографские заказы для городского управления.

А что еще можно сделать?

Ответ. Да мало ли что. Подкупите за сходную цену таможенного апостола; сдирайте три шкуры за разгрузку судов; грабьте иммигрантов, прибывающих из-за моря; отведите для бедняков казенное кладбище за десять миль от города и берите за перевоз покойников по сорок долларов с головы; сделайте экспертом по проверке качества стальных конструкций на строительстве; поставляя свинцовые и железные газовые трубы для судебных учреждений, сочиняйте такие счета, как если бы трубы были серебряными и золотыми и сплошь усыпаны брильянтами; приводите в порядок городские скверы по цене пять долларов за квадратный дюйм; за приличное жалованье валандайтесь возле кабака и делайте при этом вид, что вы трудитесь не покладая рук на благо обществу.

Все ли это? А если нет, что еще может сделать человек, чтобы спасти душу?

Ответ. Составьте счет на следуемые вам деньги, впишите в него десятикратную сумму, а получив ее, вручите девять десятых пророку и святому семейству. Тогда спасетесь.

Чьему примеру учили юношей в былые дни, кого считали образцом для подражания?

Ответ. Вашингтона и Франклина.

Кому учат следовать и подражать сейчас, в наше просвещенное время?

Ответ. Твиду, Холлу, Конноли, Карнохэну, Фиску, Гулду, Барнарду и Уайнессу.

Какие произведения рекомендовались особенно горячо в былые дни для воспитания юношества?

Ответ. «Альманах простака Ричарда», «Путь паломника» и Декларация независимости.

Какие произведения рекомендуются особенно горячо для изучения в воскресных школах в наше просвещенное время?

Ответ. Святой Холл – «Подложные отчеты», святой Фиск – «Искусство грабежа», святой Карнохэн – «Путь к взятке», святой Гулд – «Как обирать акционеров», святой Барнард – «Специальные судебные определения», святой Твид – «Курс морали» и одобренное судом издание «Великого крестового похода сорока разбойников».

Значит ли это, что мы движемся по пути прогресса?

Ответ. Будьте уверены!

С совершенным почтением *Марк Твен*

АМЕРИКАНЦЫ И АНГЛИЧАНЕ

Господин председатель, дамы и господа! Благодарю вас за оказанную мне честь и, чтобы доказать свою признательность, не стану терзать вас длинной речью. Как приятно отмечать в мирной обстановке на земле наших предков годовщину эксперимента, рожденного в огне войны, которую наши самоотверженные деды выиграли у этого государства много лет тому назад. Понадобилось почти сто лет, чтобы между англичанами и американцами установились доброжелательные отношения и взаимопонимание, но теперь уже, кажется, этого добились. Очень важно, что последние два конфликта удалось разрешить не посредством пушек, а путем арбитража. Новым важным шагом со стороны Англии я считаю то, что она начала пользоваться нашими швейными машинами, не пытаясь выдавать их, как обычно, за собственное изобретение. Такой же шаг Англия сделала на днях, купив у нас в стране спальный вагон. И сердце мое окончательно возликовало вчера, когда я стал свидетелем такого события: англичанин – без принуждения с чьей-либо стороны, по доброй воле – заказал американский коктейль с хересом, и кроме того, у него хватило сообразительности и здравого смысла потребовать, чтобы бармен непременно добавил туда клубники. Итак, происхождение общее, язык общий, литература общая, религия общая и спиртные напитки общие, – что же нужно еще для полного и прочного сближения обеих наций?

Наш век – век прогресса, и наша страна – страна прогресса. Это к тому же огромная прекрасная страна, породившая Вашингтона, Франклина, Уильяма Гуида, Лонгфелло, Мотли, Джея Гулда, Сэмюэла Помроя, новый состав конгресса, не имеющий (в известных отношениях) равного в истории, и американскую армию, которая покорила шестьдесят индейцев

после восьмимесячной осады, что — клянусь богом! — гораздо культурнее, чем устраивать резню. У нас существует самый лучший в мире уголовный суд присяжных, хотя успеху его деятельности мешает одно обстоятельство: ну где вы найдете каждый день дюжину заседателей — круглых невежд и к тому же неграмотных? Должен также отметить, что в нашем кодексе законов есть одна оговорка — душевная болезнь, по которой можно оправдать самого Канна. Думаю, что имею право сказать — и сказать с гордостью, — что в некоторых наших штатах есть законодательные органы, для подкупа которых установлена самая высокая в мире такса.

Я не в силах говорить без умиления о наших железнодорожных компаниях, которые позволяют американцам оставаться в живых, хотя могли бы действовать иначе, — ведь мы целиком в их власти. В прошлом году во время крушений поездов было загублено всего лишь 3070 душ да при переходе через пути задушено поездами 27 260 разных зевак, никчемных людишек. Железнодорожные компании выразили глубокое сожаление по поводу гибели этих 30 000 человек и даже соизволили уплатить компенсацию за жизнь некоторых, — добровольно, конечно, ведь самый злобный клеветник и тот не посмеет утверждать, что у нас найдется такой коварный суд, который заставит железнодорожную компанию подчиняться закону! Но, слава богу, железнодорожные компании не нуждаются в принуждении: они и сами всегда рады творить добро. Помню случай, сильно меня растрогавший. Один мой дальний родственник, которого я очень любил, попал под поезд. Железнодорожная компания прислала семье корзину с его останками и сопроводительным письмом, в котором было сказано: «Просим сообщить, во сколько Вы оцениваете покойного, и вернуть корзину». Ну где вы еще видели такое трогательное отношение к людям?

Но мне не к лицу хвастать целый вечер. Впрочем, вы должны простить человека, если он захотел похвастать немножко своей родиной в день Четвертого июля. Самое подходящее время для ура-патриотической речи! Позволю себе еще только одно самодовольное замечание, которое должно поддерживать в нас бодрость. Скажу вот что: у нас такая государственная система, которая обеспечивает всем гражданам равные возможности, привилегий у нас нет. Никто не рождается у нас с правом считать себя выше своего соседа и презирать его за незнатность. Пусть же мои соотечественники, не носящие графских титулов, найдут в этом утешение. И как ни растлили нашу страну политиканы, не будем терять надежды: ведь Англия выкарабкалась из куда большей грязи после Карла I, раздававшего куртизанкам титулы и сделавшего все политические должности предметом купли-продажи. Ничего, у нас еще все впереди!

По крайней мере я *собирался* произнести такую речь, но, после того как была прочитана молитва, поднялся наш посол, генерал Шенк,

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ, ЗАПИСАННАЯ СЛОВО В СЛОВО, КАК Я ЕЕ СЛЫШАЛ

Был летний вечер. Сумерки. Мы сидели на веранде дома, стоявшего на вершине холма, а тетка Рэчел почтительно присела пониже, на ступеньках, как подобает служанке, да притом еще цветной. Она была высокого роста и крепкого сложения; и хотя ей перевалило уже за шестьдесят, глаза ее еще не померкли и силы ей не изменили. Нрав у нее был веселый и добродушный, и смеяться ей было так же легко, как птице петь. Теперь она, как обычно по вечерам, оказалась под огнем — иными словами, под градом наших шуток, что доставляло ей огромное удовольствие. Она покатывалась со смеху, закрывала лицо руками и тряслась и задыхалась в припадке веселья. В одну из таких минут я посмотрел на нее и сказал:

— Тетка Рэчел, как это ты ухитрилась прожить на свете шестьдесят лет и ни разу не испытать горя?

Она замерла. Наступила тишина. Потом она повернула голову и, глядя на меня через плечо, сказала, без тени улыбки:

— Мисту Клеменс, вы не шутите?

Я удивился и тоже перестал смеяться.

Я сказал:

— Ну да, я думал... я полагал... что у тебя никогда не бывало горя. Я ни разу не слышал, чтобы ты вздыхала. Твои глаза всегда смеются.

Она повернулась ко мне, полная волнения:

— Знала ли я горе? Мисту Клеменс, я вам расскажу, а вы судите сами. Я родилась среди рабов; я знаю, что такое рабство, потому что сама была рабыней. Ну вот, мой старик, — муж мой — любил меня и был ласков со мной, точь-в-точь как вы ласковы с вашей женой. И были у нас дети — семеро деток, — и мы любили их, точь-в-точь как вы любите ваших деток. Они были черные, но бог не может сделать детей такими черными, чтобы мать не любила их и согласилась расстаться с ними, — нет, ни за что, даже за все богатства мира.

Ну вот, я росла в Виргинии, а моя мать росла в Мэриленде;

и закатил длинную, выпренную, невообразимо скучную речь, закончив ее тем, что, мол, речи не слишком, кажется, воодушевляют собравшихся, а посему выступлений больше не будет, и пусть гости ведут дружеские беседы с соседями за столом и развлекаются без официальной программы. Известно, что в результате погибли, не прозвучав, сорок четыре отличнейшие речи. Скорбь и уныние, воцарившиеся с той минуты на банкете, долго не изглаживаются из памяти многих гостей. Своей необдуманной фразой генерал Шенк разом лишился сорока четырех друзей, самых верных, каких он имел в Англии. Многие из присутствовавших на этом вечере говорили: «И Такую вот личность прислали представлять наше государство в родственной нам великой империи!»

и как же она гордилась тем, что родилась в таком аристократическом месте! Было у нее одно любимое присловье. Выпрямится, бывало, подбоченится и скажет: «Что я, в хлеву родилась, чтоб всякая дрянь надо мной смеялась? Я из тех цыплят, что от Старой Синей Наседки, – вот кто я такая!» Это они себя так величают – те, которые родились в Мэриленде, – и гордятся этим. Да, это было ее любимое присловье. Я никогда его не забуду, потому что она часто повторяла его и сказала в тот день, когда мой Генри ободрал себе руку и чуть не проломил себе голову, а негры не поспешили помочь ему. Да еще сказали ей что-то поперек. А она подбоченилась и говорит: «Слушайте, негры, разве я в хлеву родилась, чтоб всякая дрянь надо мной издевалась? Я из тех цыплят, что от Старой Синей Наседки, – вот кто я такая!» – И унесла ребенка на кухню и сама сделала перевязку. Я тоже повторяю это присловье, когда сержусь.

Ну вот, как-то раз говорит моя мисси: я, мол, разорилась и продаю всех своих негров. Как услышала я, что она повезет всех нас в Ричмонд на аукцион, я – господи боже ты мой! – я сразу поняла, чем это пахнет.

Воодушевляясь рассказом, тетка Рэчел поднималась все выше и теперь стояла перед нами во весь рост – черный силуэт на звездном небе.

– Нас заковали в цепи и поставили на высокий помост – вот как эта веранда, – двадцать футов высотой; и народ толпился кругом. Много народу толпилось. Они подходили к нам, и осматривали нас, и щупали нам руки, и заставляли нас вставать и ходить, и говорили: «Этот слишком старый», или «Этот слабоват», или «Этому грош цена». И продали моего старика и увезли его, а потом стали продавать моих детей и уводить их, а я давай плакать, а мужчина и говорит мне: «Замолчишь ты, проклятая плакса?!» – и ткнул мне в зубы кулаком. А когда увезли всех, кроме маленького Генри, я схватила его, прижала к груди и говорю: «Вы, говорю, не уведете его, я, говорю, убью всякого, кто притронется к нему». Но Генри прижался ко мне и шепчет: «Я убегу и буду работать – и выкуплю тебя на волю». О, милый мой мальчик, он всегда был такой добрый! Но они увели его... они увели его, эти люди; а я билась, и рвала на них одежду, и колотила их своими цепями; и они меня колотили, но я уже и не чувствовала побоев.

Да, так и увезли моего старика и всех моих деток – всех семерых, – и шестерых я с тех пор уже не видела больше; и исполнилось этому двадцать два года на пасху. Тот человек, который купил меня, был из Ньюберна и увез меня туда. Ну вот, время шло да шло, и началась война. Мой хозяин был полковник Южной армии, а я у него в доме была кухаркой. Когда войска северян взяли город, южане убежали и оставили меня с другими неграми в огромном доме совсем одних. Заняли его северные офицеры и спрашивают меня – согласна ли я для них стряпать. «Господь с вами, говорю, а для чего же я здесь?»

Они были не какие-нибудь – важные были офицеры! А уж как гоняли своих солдат! Генерал велел мне распоряжаться на кухне и сказал: «Если кто задумает к вам приставать, гоните его без разговоров; не бойтесь, говорит, вы теперь среди друзей».

Ну вот, я и думаю: если, думаю, моему Генри удалось бежать, так, наверно, он ушел на Север. И вот как-то раз, когда собрались офицеры, вошла я к ним в гостиную и вежливо присела, и рассказала им о моем Генри, а они слушали меня все равно как белую. Я и говорю: «А пришла я вот зачем: если он убежал на Север, откуда вы пришли, то, может, вам случилось встретить его, и вы скажете мне, где он теперь и как его найти. Он был очень маленький, у него шрам на левой руке и на лбу». Лица у них стали грустные, а генерал говорит мне: «Давно ли вы с ним расстались?» А я говорю: «Тринадцать лет». Тогда генерал говорит: «Значит, он теперь уже не ребенок, он взрослый человек».

А мне это и в голову не приходило раньше. Для меня-то он все был маленький мальчуган; я и не думала, что он вырос и стал большой. Но тут я все поняла. Ни один из этих господ не встречался с ним, и они ничего не могли мне сказать о нем. Но все это время мой Генри был в бегах, на Севере, и сделался цирюльником, и зарабатывал деньги, только я ничего этого не знала. А когда пришла война, он и говорит: «Полно мне, говорит, цирюльничать, попробую отыскать мою старуху мать, если она еще жива». Продал он свою цирюльню, нанялся в услужение к полковнику и пошел на войну; всюду побывал – все искал свою старуху мать, нанимался то к одному офицеру, то к другому: весь Юг, мол, обойду. А я-то ничего не знала. Да и как мне было знать?

Ну вот, как-то вечером у нас был большой солдатский бал; солдаты в Ньюберне всегда задавали балы, и сколько раз устраивали их в моей кухне, – просторная была кухня. Мне это, понимаете, не очень-то нравилось: я служила у офицеров, и мне было досадно, что простые солдаты выплясывают у меня на кухне. Ну да я с ними не церемонилась и, если, бывало, рассердят меня, живо выпроваживала вон из кухни.

Как-то вечером, было это в пятницу, явился целый взвод солдат *черного* полка, карауливших дом, – в доме-то был главный штаб, понимаете? – и тут-то у меня желчь расхотелась! Страсть! Такое зло разобрало! Чувствую, так меня и подмывает, так и подмывает – и только и жду, чтобы они меня раззадорили чем-нибудь. А они-то танцуют, они-то выплясывают! Просто дым коромыслом! А меня так и подмывает, так и подмывает! Немного погоды приходит нарядный молодой негр с какой-то желтой барышней и давай вертеться, вертеться – голова кружится, глядя на них; поравнялись они со мной и давай переступать с ноги на ногу и покачиваться, и подсмеиваться над моим красным тюрбаном. Я на них окрысилась: «Пошли прочь, говорю, шваль!» И вдруг у молодого человека лицо разом

изменилось, но только на секунду, а потом он опять начал подсмеиваться, как раньше. Тут вошли несколько негров, которые играли музыку, в том же полку, и всегда важничали. А в ту ночь уж и вовсе разважничались. Я и на них цыкнула. Они засмеялись, это меня раззадорило; другие тоже стали хохотать, — и я взбеленилась! Глаза мои так и загорелись! Я выпрямилась — вот этак, чуть не до потолка, — подбоченилась, да и говорю: «Вот что, говорю, негры, разве я в хлеву родилась, чтоб всякая дрянь надо мной издевалась? Я из тех цыплят, что от Старой Синей Наседки, — вот кто я такая!» И вижу, молодой человек уставился на меня, а потом на потолок — будто забыл что-то и не может вспомнить. Я, значит, наступаю на негров — вот так, как генерал какой; а они пятятся передо мной — и в дверь. И слышу я, молодой человек говорит, уходя, другому негру: «Джим, говорит, сходи-ка ты к капитану и скажи, что я буду в восемь часов утра; у меня, говорит, есть кое-что на уме, и я не буду спать эту ночь. Ты уходи к себе, говорит, и не беспокойся обо мне».

А был час ночи. В семь утра я уже встала и готовила офицерам завтрак. Я нагнулась над печкой, — вот так, пускай ваша нога будет печка, — отворила ее, толкнула дверцу — вот как сейчас толкаю вашу ногу, и только было достала противень с горячими булочками и подняла его, глядь — какое-то черное лицо просунулось из-под моей руки и заглядывает мне в глаза — вот как теперь на вас гляжу; и тут я остановилась да так и замерла, гляжу, и гляжу, и гляжу, а противень начал дрожать, — и вдруг... я *ушала!* Противень полетел на пол, схватила я его левую руку и завернула рукав — вот как вам заворачиваю, — а потом откинула назад его волосы — вот так, и говорю: «Если ты не мой Генри, откуда же у тебя этот шрам на руке и этот рубец на лбу? Благодарение господу богу на небесах, я нашла моего ребенка!»

О нет, мистру Клеменс, я не испытала в жизни горя. Но и радости тоже.

ПОСЛАНИЕ ОРДЕНУ «РЫЦАРЕЙ СВЯТОГО ПАТРИКА»

«Глубоко сожалею, что не могу присутствовать завтра вечером на банкете «Рыцарей святого Патрика». В этом году, когда отмечается столетие существования Соединенных Штатов, нам должно быть особенно приятно почтить память человека, чье доброе имя живет уже четырнадцать веков. Нам это должно быть приятно потому, что в дни юбилея мы, естественно, вспоминаем о святом Патрике с большой симпатией. В свое время он проделал колоссальную работу. Он застал Ирландию богатой республикой и принялся думать, к чему с наибольшей пользой приложить свои силы. Он заметил, что президент

республики имеет привычку укрывать государственных деятелей от заслуженных наказаний, и так отколотил президента своим посохом, что тот умер. Он узнал, что военный министр живет так экономно, что сумел за год скопить двенадцать тысяч долларов при жалованье в восемь тысяч, — и убил его. Он узнал, что министр внутренних дел всегда причитает над каждой бочкой солонины, предназначенной для отправки дикарям, а потом присваивает эту солонину себе, — и уколошил этого министра тоже. Он узнал, что морской министр больше занят разными подозрительными исками, чем вопросами мореходства, — и тут же прикончил этого министра. Он узнал, что при помощи одного гнусного типа, состоявшего личным секретарем при какой-то персоне, был разыгран жульнический судебный процесс, — и уничтожил этого личного секретаря. Он выяснил, что конгресс, прикидываясь сверхдобродетельным, рвется начать расследование деятельности одного посланника, запятнавшего честь своего государства за границей, но этот же конгресс столь же рьяно препятствует назначению на подобный пост любого человека с незапятнанной репутацией; что у этого конгресса нет другого бога, кроме политической партии, и нет других принципов, кроме партийного политиканства; что кругозор его узок и вообще непонятно и неоправданно само его существование. Поэтому он перебил всех членов конгресса до единого.

Завершив эту колоссальную работу, он изрек на своем образном языке: «Вот, смотрите, я истребил всех змей в Ирландии!»

Святой Патрик не участвовал в политике: он стоял за правду, и это само по себе — хорошая политика! Увидев гада, он забывал спросить, демократ это или республиканец, но тут же поднимал свой посох и всыпал ему как следует! Вечная память святому Патрику! Вот бы его к нам сюда, чтобы он и нас к юбилею избавил от гадов! Увы, это невозможно! Бездействует его посох — символ истинных, а не бутафорских реформ. Впрочем, у нас еще сохранился символ Правды — топорик Джорджа Вашингтона, ведь я-то знаю, где его зарыли!

Преданный вам, *Марк Твен*.

16 марта 1876 года.
Хартфорд, Коннектикут

ПЛИМУТСКИЙ КАМЕНЬ И ОТЦЫ-ПИЛИГРИМЫ

Приглашая мистера Клеменса выступить на банкете общества «Новая Англия», председатель Роллинс сказал:

«Этот тост провозглашается за человека, который, собственно говоря, не родился в Новой Англии, и, насколько мне известно, это

относится и к его предкам. Стало быть, *юридически* он не может считаться аборигеном Новой Англии. Однако он нашел великолепный выход из столь трудного положения: сумел сделать так, что все его дети родились в Новой Англии, и таким образом сам он стал новоанглийским *предком*. Этими достижениями он обязан только самому себе. Кроме того — и это еще важнее — своим жизнерадостным, оптимистическим, полезным творчеством он превзошел лучших сынов Новой Англии. А превзойти их в чем-нибудь значительном трудно, ибо — между нами говоря, за закрытыми дверями — всем вам известно, что это наиболее способные и умные люди на нашей благословенной земле; и вот среди таких-то людей мистер Твен сумел подняться и сумел *перерасти* их, став знаменитым благодаря своему блестящему таланту».

Я хочу выступить с протестом. Много лет я молчал, но тому, что здесь происходит, право же, нет достаточного оправдания! Почему вы вздумали чествовать этих людей, ваших предков, это пуританское племя, прибывшее сюда на «Мейфлаузере»? Их-то за что чествовать? Прошу прощения: джентльмен слева подсаживает мне, что вы чувствуете не самих отцов-пилигримов, а их высадку у Плимутского камня 22 декабря 1620 года. Ах так, вы празднуете их высадку! Ну, знаете ли, если первый повод казался эфемерным, то второй и подавно невесом; если первый можно сравнить с папиросной бумагой, с оловянной фольгой, с рыбьим пузырем, то уж второй — тоньше самого тончайшего листика золота. Празднуется, стало быть, высадка? Позвольте осведомиться, что вы находите в ней замечательного? Ну что, скажите? Ведь этих пилигримов мотало по океану три, а то и четыре месяца. Зима была в разгаре, у мыса Код стоял собачий холод. Что же им оставалось делать, как не высадиться на берег? Вот если бы они не высадились, тогда вы имели бы основания отмечать это с помпой! Ибо человечество ни за что не забыло бы такого грандиозного акта идиотизма. Окажись *вы*, господа, на их месте, — уж вы-то, надо полагать, не сошли бы на берег! Но все же вы не имеете ни малейшего права чествовать своих предков за те качества, которые они не проявили, а лишь передали вам по наследству. Да, скажу я вам, праздновать высадку пуритан на берег, пытаться представить этот простой и естественный поступок как нечто необыкновенное, заслуживающее удивления, восторгов и славословий на подобных ежегодных оргиях двести шестьдесят лет подряд, — черт возьми, да ведь лошадь и та додумалась бы выбраться на берег! Даже лошадь... Еще раз прошу прощения: джентльмен справа подсаживает, что это собрание не только в память высадки отцов-пилигримов, но и в память их самих. Противоречие налицо: один говорит — чувствуется высадка, другой — отцы-пилигримы. Подобный разброд в мыслях характерен для вашей упрямой, несговорчивой породы. Ведь у вас обо всем разные мнения, — обо всем, кроме Бостона! Ну хорошо, за что же вы все-таки собрались чествовать пилигримов? Не секрет, что эти господа обладали тяжелым нравом. Я готов признать, что они были

добрее, милосерднее и справедливее своих современников в Европе; я готов признать, что они были порядочнее своих предков. Но что с того? Это ни о чем не говорит. Человечество постоянно прогрессирует. Вы лучше своих отцов и дедов (впервые в жизни позволяю себе оскорблять память усопших, — как правило, я считаю это недозволенным!). Да, те из вас, кто не сидел в тюрьме, — если найдутся такие в этом зале, — наверно, лучше своих родителей. Но неужели это достаточный повод для устройства ежегодных пиршеств в вашу честь? Нет, ни в коем случае! Итак, повторяю: отцы-пилигримы обладали тяжелым нравом. Свои интересы они блюли неусыпно, а предков других людей попросту истребляли. Я мужлан из захолустного штата Миссури, с годами превратившийся в коннектикутского янки. Во мне слились нравственные принципы Миссури и культура Коннектикута. По-моему, господа, это идеальное сочетание. Но где мои предки? Кого я должен чувствовать? Где мне найти исходное сырье?

Первым моим американским предком, господа, был индеец — древний индеец. Ваши предки ободрали его живьем, и я остался сиротой. В жилах нынешнего индейца уже нет ни одной капли моей крови. И я стою перед вами одинокий, несчастный, лишенный прародителя. Ободрали моего предка! Допустим, что им понадобилась его шкура, но он ведь был живой — живой, господа! Содрали с него живого кожу, да еще на глазах у людей! Вот что ужасно! Подумайте, каково ему пришлось, — ведь он тоже что-то чувствовал, и ему было очень неловко. Если бы он был птицей, тогда ладно, — считалось бы, что его просто ошипали. Но он же был человек, господа, — а с людьми так еще никогда не обращались! Пожалуйста, поставьте себя на его место. Уважьте мою просьбу, сделайте это, сделайте это в знак запоздалой справедливости, во имя верности традициям ваших предков! Пусть весь мир полюбуется, что собой представляет «общество Новой Англии» на самом деле, без фраков и белых галстуков! Прекратите посещать эти ежегодные оргии, откажитесь от этого пошлого маскарада, сбросьте с себя эти пышные одежды. Покажитесь во всей красе. Приходите, благоухая летними травами, в простом и естественном, свободном и радующем взгляд облачении, какое заставили носить моего предка предблагие родичи ваши!

Более поздними моими предками были квакеры Уильям Робертсон, Мармадюк Стивенсон и другие. Ваша братия изгнала их из колоний за религиозные убеждения, пригрозив убить, если они вернутся. Ведь ваши предки не боялись опасностей морского пути, сурового климата и дикой природы, они покинули насиженные места во имя того, чтобы даровать каждому человеку на этом необъятном континенте одно из высочайших, драгоценнейших благ — свободу исповедовать любую веру в согласии с велениями его совести, и они не намерены были позволить каким-то крамольным квакерам помешать им в этом.

Ваши предки навеки порвали цепи политического рабства и дали право голоса всем жителям этой обширной страны, всем без исключения... кроме тех, кто не принадлежал к их ортодоксальной пуританской церкви. Ваши предки — нрав у них был тяжелый — предоставили нам свободу религии: то есть свободу исповедовать религию по их указке, и политическую свободу, то есть свободу голосовать так, как велит церковь. И вот я, осиротелый, обездоленный, стою перед вами и пытаюсь по мере сил помочь вам достойно отметить их память.

У меня в роду числится еще Элизабет Хутон из секты квакеров. Ваши предки не очень мягко обошлись с ней — отрицать это вы не можете. Но они добились от бедняжки своего: убедили ее перед самой смертью одуматься и приняли в лоно святой церкви — так что, надо полагать, после смерти она отправилась туда же, куда и они. А жаль, она была хорошая женщина! Роджер Уильямс тоже был моим предком. Не помню точно, какую кару для него изобрели ваши родичи, знаю лишь, что они изгнали его в Род-Айленд, а потом, поняв, очевидно, что это уж слишком жестоко, смилостивились и сожгли его на костре. Да, нрав у них был тяжелый, что и говорить! Моими предками были также все салемиские ведьмы. Ваши родственники дали им жару! Посредством морального давления и виселиц они так блестяще справились со своей задачей, что с тех пор — то есть за сто восемьдесят девять лет! — в нашей семье не появилось больше ни одной ведьмы и нам почти не приходилось иметь дела с виселицей. Первый раб, доставленный вашими предками из Африки в Новую Англию, был моим родственником, — да, да, я гибрид, поразительно сложный и интересный; меня нельзя, словно какую-нибудь поддельную пенковую трубку, перекрасить за неделю, над моим цветом кожи потрудились целых восемь поколений! В свое время я приобрел огромное количество родственников: я покупал их, выменивал, доставал всеми правдами и неправдами и жил припеваючи. Вдруг, с присущим вашему племени непостоянством, вы затеяли войну и отняли их всех у меня. И вот я снова осиротелый и одинокий, и ни одна капля моей крови не течет в жилах живого существа, предназначенного на продажу.

Друзья мои, выслушайте меня и исправьтесь! Не ради своего, а ради вашего блага прошу я вас об этом! Вы уже выслушали речи. Распустите все эти «общества Новой Англии», эти очаги восторженных славословий и безудержных похвал! Если так будет продолжаться, то мы дождемся дня, когда вам изменит прямота характера и вы забудете про свою былую неприязнь к хвастовству. Остановитесь, пока не поздно, пока вы еще проявляете умеренность в оценке ваших предков! Умоляю, устройте аукцион и продайте Плимутский камень! Отцы-пидгиримы были простыми, невежественными людьми. До своей высадки на американском берегу они никогда не видели хороших камней, во всяком случае, таких, которые

никому не принадлежали. Поэтому им простительно, что, высадившись на берег, они обрадовались этому камню и даже обнесли его железной оградой! Но вы-то, господа, люди просвещенные, образованные, вам-то хорошо известно, что на вашей родине, в щедрой, богатой Новой Англии, где камней сколько угодно, этому камню красная цена – тридцать пять центов. Так продайте его, пока он не выветрился, или на худой конец уступите под рекламу фирме патентованных лекарств, – этим хоть налоги окупились!

Внемлите совету друга, вашего верного друга, прислушайтесь к его словам! Распустите все эти общества, рассадники порока и нравственного разложения, увековечивающие такой предрассудок, как культ предков! Здесь, на этом столе, я вижу воду, вижу молоко, вижу вредный ядовитый лимонад. Это только первые шаги на пути к падению. Затем появятся чай, шоколад, кофе... ресторанный кофе. А там еще несколько лет – всего каких-нибудь несколько лет – и, помяните мое слово, вы начнете пить сидр! Остановитесь, господа, пока еще есть возможность! Вы стали на путь, ведущий к разврату, физическому вырождению, моральному распаду, кровавым преступлениям и виселице. Именем ваших встревоженных друзей, именем ваших будущих вдов и сирот заклинаю: остановитесь, пока не поздно! Закройте все «общества Новой Англии», навсегда откажитесь от юбилейных вакханалий, перестаньте лакировать ржавую репутацию ваших давно истлевших предков, этих столпов сверхчеловеческой нравственности с мыса Код, этих святош-разбойников с Плимутского камня! Разойдитесь по домам и постарайтесь вести себя как следует!

Однако шутки в сторону. Думаю, что я чту и цену ваше пуританское происхождение не меньше, чем вы сами; но я целиком присоединяюсь к мнению моего деда – человека строгих взглядов, честной души, отнюдь не склонного к лести. Вот что он сказал однажды: «Пусть там толкуют что угодно про этих пилигримов, а все-таки трудно найти людей лучше, чем они; что же касается меня, так я не боюсь прямо заявить: они были бы самыми лучшими людьми на свете, если бы только родились в Миссури»

ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА

Глава I

Вена, 1899

Прошлым летом, когда я возвращался из горного санатория в Вену после курса восстановления аппетита, я оступился в потемках и упал со скалы, и переломал руки, ноги и все остальное, что только можно было сломать, и, к счастью, меня

подобрали крестьяне, которые искали осла, и они перенесли меня в ближайшее жилище — один из тех больших приземистых деревенских домов, крытых соломой, с комнатами для всей семьи в мансарде и славным маленьким балкончиком под нависшей крышей, который украшают яркие цветы в ящиках и кошки; в нижнем этаже помещается просторная и светлая гостиная, отделенная перегородкой от коровника, а во дворе перед окнами величественно и эффектно высится гордость и богатство дома — навозная куча. Вы, вероятно, заметили, что это типичная немецкая фраза, она говорит о том, что я успешно овладеваю механикой и духом этого языка и уже могу, раз оседлав одну фразу, ехать на ней, не слезая, целый день.

В миле от моего пристанища в деревне жил коновал, но хирурга там не оказалось. Это сулило неважную перспективу — мой случай был явно хирургический. Тут вспомнили, что в деревне проводит лето некая леди из Бостона, эта леди проповедует Христианскую Науку и может лечить все, что угодно. Послали за ней. Она не решилась выйти из дому на ночь глядя, но велела передать на словах, что это неважно, что никакой спешки нет, что сейчас она применит «заочное лечение», а сама придет утром; пока же она просит меня успокоиться, расположиться поудобнее и, главное, помнить, что со мной ровно ничего не случилось. Я подумал, что здесь какое-то недоразумение.

— Вы ей сказали, что я сверзился со скалы высотой в семьдесят пять футов?

— Да.

— И стукнулся о камень на дне пропасти и отскочил?

— Да.

— И стукнулся о другой камень и опять отскочил?

— Да.

— И стукнулся о третий камень и снова, еще раз отскочил?

— Да.

— И переколот все камни?

— Да.

— Теперь понятно, в чем дело: она думает только о камнях. Почему же вы ей не сказали, что я сам тоже расшибся?

— Я сказал ей все слово в слово, как вы велели: что сейчас от вихра на макушке и до пяток вы представляете собой причудливую цепь из сложных переломов и что раздробленные кости, которые торчат из вас во все стороны, сделали вас похожим на вешалку для шляп.

— И после этого она пожелала мне помнить, что со мной ровным счетом ничего не случилось?

— Да, так она сказала.

— Ничего не понимаю. Мне кажется, что она недостаточно вдумчиво диагностировала мой случай. Как она выглядела? Как человек, который витает в сфере чистой теории, или же как человек, которому самому случалось падать в пропасть и

который в помощь абстрактной науке привлекает доказательство из собственного опыта?

– Bitte?¹

Понять эту фразу для Stubenmädchen² оказалось непосильной задачей: она перед ней спасовала. Продолжать разговор не имело смысла, и я попросил чего-нибудь поесть, и сигару, и выпить, чего-нибудь горячего, и корзину, чтобы сложить туда свои ноги, – но на все это получил отказ.

– Почему же?

– Она сказала, что вам ничего не понадобится.

– Но я голоден, я хочу пить, и меня мучает отчаянная боль.

– Она сказала, что у вас будут эти иллюзии, но вы не должны обращать на них никакого внимания. И она особенно просит вас помнить, что таких вещей, как голод, жажда и боль, не существует.

– В самом деле, она об этом просит?

– Так она сказала.

– И при этом она производила впечатление особы вполне контролирующей работу своего умственного механизма?

– Bitte?

– Ее оставили резвиться на свободе или связали?

– Связали? Ее?

– Ладно, спокойной ночи, можете идти; вы славная девушка, но для легкой остроумной беседы ваша мозговая Geschirr³ непригодна. Оставьте меня с моими иллюзиями.

Глава II

Разумеется, всю ночь я жестоко страдал, по крайней мере я мог об этом догадываться, судя по всем симптомам, но наконец эта ночь миновала, а проповедница Христианской Науки явилась, и я воспрянул духом. Она была средних лет, крупная и костлявая, и прямая, как доска, и у нее было суровое лицо, и решительная челюсть, и римский клюв, и она была вдовой в третьей степени, и ее звали Фуллер. Мне не терпелось приступить к делу и получить облегчение, но она была раздражающе медлительна. Она вытащила булавки, расстегнула крючки, кнопки и пуговицы и совлекла с себя все свои накидки одну за другой; взмахом руки расправила складки и аккуратно развесила все вещи, стянула с рук перчатки, достала из сумки книжку, потом придвинула к кровати стул, не спеша опустилась на него, и я высунул язык. Она сказала снисходительно, но с ледяным спокойствием:

– Верните его туда, где ему надлежит быть. Нас интересует только дух, а не его немые слуги.

¹ Как вы сказали? (нем.).

² Служанка (нем.).

³ Оснастка (нем.).

Я не мог предложить ей свой пульс, потому что сустав был сломан, но она предупредила мои извинения и отрицательно мотнула головой, давая понять, что пульс – это еще один немой слуга, в котором она не нуждается. Тогда я подумал, что надо бы рассказать ей о моих симптомах и самочувствии, чтобы она поставила диагноз, но опять я сунулся невпопад, все это было ей глубоко безразлично, – более того, само упоминание о том, как я себя чувствую, оказалось оскорблением языка, нелепым термином.

– Никто не чувствует, – объяснила она, – чувства вообще нет, поэтому говорить о несуществующем как о существующем – значит впасть в противоречие. Материя не имеет существования; существует только дух; дух не может чувствовать боли, он может только ее вообразить.

– А если все-таки больно...

– Этого не может быть. То, что нереально, не может выполнять функций, свойственных реальному. Боль нереальна, следовательно, больно быть не может.

Широко взмахнув рукой, чтобы подтвердить акт изгнания иллюзии боли, она напоролась на булавку, торчащую в ее платье, вскрикнула «ой» и спокойно продолжала свою беседу:

– Никогда не позволяйте себе говорить о том, как вы себя чувствуете, и не разрешайте другим спрашивать вас о том, как вы себя чувствуете; никогда не признавайтесь, что вы больны, и не разрешайте другим говорить в вашем присутствии о недугах, или боли, или смерти, или о подобных несуществующих вещах. Такие разговоры только потворствуют духу в его бессмысленных фантазиях.

В этот момент Stubenmädchen наступила кошке на хвост, и кошка завизжала самым нечестивым образом. Я осторожно спросил:

– А мнение кошки о боли имеет ценность?

– Кошка не имеет мнения; мнения порождаются только духом; низшие животные осуждены на вечную брэнность и не одарены духом; вне духа мнение невозможно.

– Значит, эта кошка просто вообразила, что ей больно?

– Она не может вообразить боль, потому что воображать свойственно только духу; без духа нет воображения. Кошка не имеет воображения.

– Тогда она испытала реальную боль?

– Я уже сказала вам, что такой вещи, как боль, не существует.

– Это очень странно и любопытно. Хотел бы я знать, что же все-таки произошло с кошкой. Ведь если реальной боли не существует, а кошка лишена способности вообразить воображаемую боль, то, по-видимому, бог в своем милосердии компенсировал кошку, наделив ее какой-то непостижимой эмоцией, которая проявляется всякий раз, когда кошке наступают на

хвост, и в этот миг объединяет кошку и христианина в одно общее братство.

Она раздраженно оборвала меня:

– Замолчите! Кошка не чувствует ничего, христианин не чувствует ничего. Ваши бессмысленные и глупые фантазии – профанация и богохульство и могут причинить вам вред. Разумнее, лучше и благочестивее допустить и признать, что таких вещей, как болезнь, или боль, или смерть, не существует.

– Я весь – воображаемые живые мучения, но не думаю, что мне было бы хоть на йоту хуже, будь они реальными. Что мне сделать, чтобы избавиться от них?

– Нет необходимости от них избавляться – они не существуют... Они – иллюзии, порожденные материей, а материя не имеет существования; такой вещи, как материя, не существует.

– Все это звучит как будто правильно и ясно, но сути я все же как-то не улавливаю. Кажется, вот-вот схвачу ее, а она уже ускользнула.

– Объяснитесь.

– Ну, например, если материи не существует, то как может материя что-нибудь порождать?

Ей стало меня так жалко, что она даже чуть не улыбнулась. То есть она непременно улыбнулась бы, если бы существовала такая вещь, как улыбка.

– Ничего нет проще, – сказала она. – Основные принципы Христианской Науки это объясняют, их суть изложена в четырех следующих изречениях, которые говорят сами за себя. Первое: Бог есть все сущее. Второе: Бог есть добро. Добро есть Дух. Третье: Бог, Дух есть все, материя есть ничто. Четвертое: Жизнь, Бог, всемогущее Добро отрицают смерть, зло, грех, болезнь. Вот, теперь вы убедились?

Объяснение показалось мне туманным; оно как-то не разрешало моего затруднения с материей, которая не существует и, однако, порождает иллюзии. Поколебавшись, я спросил:

– Разве... разве это что-нибудь объясняет?

– А разве нет? Даже если прочитать с конца, и тогда объясняет.

Во мне затеплилась искра надежды, и я попросил ее прочитать с конца.

– Прекрасно. Болезнь грех зло смерть отрицают Добро всемогущее. Бог жизнь ничто есть материя все есть Дух Бог Дух есть Добро. Добро есть Бог сущее все есть Бог. Ну вот... теперь-то вы понимаете?

– Теперь... теперь, пожалуй, яснее, чем раньше, но все же...

– Ну?

– Нельзя ли прочитать это как-нибудь иначе, другим способом?

– Любым, как вам угодно. Смысл всегда получится один и тот же. Переставляйте слова, как хотите, все равно они будут означать точно то же самое, как если бы они были расположены

в любом другом порядке. Ибо это совершенство. Вы можете просто все перетасовать – никакой разницы не будет: все равно выйдет так, как было раньше. Это прозрение гениального ума. Как мыслительный *tour de force* оно не имеет себе равных, оно выходит за пределы как простого, конкретного, так и тайного, сокровенного.

– Вот так штука!

Я сконфузился: слово вырвалось прежде, чем я успел его удержать.

– Что??

– ...Изумительное построение... сочетание, так сказать, глубочайших мыслей... возвышенных... потра...

– Совершенно верно. Читаете ли вы с конца, или с начала, или перпендикулярно, или под любым заданным углом – эти четыре изречения всегда согласуются по содержанию и всегда одинаково доказательны.

– Да, да... доказательны... Вот теперь мы ближе к делу. По содержанию они действительно согласуются: они согласуются с... с... так или иначе, согласуются; я это заметил. Но что именно они доказывают... я разумею – в частности?

– Это же абсолютно ясно! Они доказывают: первое: Бог – Начало Начал, Жизнь, Истина, Любовь, Душа, Дух, Разум. Это вы понимаете?

– Мм... кажется, да. Продолжайте, пожалуйста.

– Второе: Человек – божественная универсальная идея, индивидуум, совершенный, бессмертный. Это вам ясно?

– Как будто. Что же дальше?

– Третье: Идея – образ в душе; непосредственный объект постижения. И вот она перед вами – божественная тайна Христианской Науки в двух словах. Вы находите в ней хоть одно слабое место?

– Не сказал бы; она кажется неуязвимой.

– Прекрасно. Но это еще не все. Эти три положения образуют научное определение Бессмертного Духа. Дальше мы имеем научное определение Смертной Души. Вот оно. ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ: *Греховность*. Первое: Физическое – страсти и вожделения, страх, порочная воля, гордость, зависть, обман, ненависть, месть, грех, болезнь, смерть.

– Все это нереальные категории, миссис Фуллер, иллюзии, насколько я понимаю?

– Все до единой. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ: *Зло исчезает*. Первое: Этическое – честность, привязанность, сострадание, надежда, вера, кротость, воздержание. Это ясно?

– Как божий день.

– ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ. *Духовное Спасение*. Первое: Духовное – вера, мудрость, сила, непорочность, прозрение, здоровье, любовь. Вы видите, как все это тщательно продумано и

Фокус (фр.).

согласовано, как взаимосвязано и антропоморфично. На последней, Третьей Ступени, как мы знаем из откровений Христианской Науки, смертная душа исчезает.

– А не раньше?

– Нет, ни в коем случае, – только тогда, когда будут завершены воспитание и подготовка, необходимые для Третьей Ступени.

– И только тогда, значит, возможно успешно овладеть Христианской Наукой, сознательно к ней приобщиться и возлюбить ее, – так я вас понимаю? Иначе говоря, этого нельзя достичь в течение процессов, происходящих на Второй Ступени, потому что там все еще удерживаются остатки души, а значит, и разума, и поэтому... Но я вас прервал. Вы собирались разъяснить, какие получаются прекрасные результаты, когда Третья Ступень разрушает и развевает эти остатки. Это очень интересно; пожалуйста, продолжайте.

– Так вот, как я уже говорила, на этой Третьей Ступени смертная душа исчезает. Наука так переворачивает все воспринимаемое телесными чувствами, что мы искренне принимаем в сердца свои евангельское пророчество: «Первые будут последними, последние – первыми» – и постигаем, что Бог и Его идея могут стать для нас всеобъемлющими, чем божественное действительно является и по необходимости должно быть.

– Это великолепно. И как старательно и искусно вы подобрали и расположили слова, чтобы подтвердить и обосновать все сказанное вами о могуществе и функциях Третьей Ступени. Вторая, очевидно, могла бы вызвать лишь временную потерю разума, но только Третья способна сделать его отсутствие постоянным. Фраза, построенная под эгидой Второй Ступени, возможно, еще заключала бы в себе что-то вроде смысла – вернее, обманчивое подобие смысла; тогда как волшебная сила Третьей Ступени – и только она! – устраняет этот дефект. Кроме того, несомненно: именно Третья Ступень наделяет Христианскую Науку еще одним замечательным свойством, – я имею в виду ее язык, легкий и плавный, богатый, ритмичный и свободный. Вероятно, на то есть особая причина?

– О да! Бог – Дух, Дух – Бог, почки, печень, разум, ум.

– Теперь мне все понятно.

– В Христианской Науке нет ничего непонятного; потому что Бог – един. Время – едино. Индивидуум – един и может быть одним из себе подобных, одним из многих, как, например, отдельный человек, отдельная лошадь; в то время как Бог – един, не один из многих, но один-единственный и не имеющий себе равных.

– Это благородные мысли. Я просто горю желанием узнать больше. Скажите, как Христианская Наука объясняет духовное отношение постоянной двойственности к случайному отклонению?

– Христианская Наука переворачивает кажущееся отноше-

ние Души и тела – как астрономия переворачивает человеческое восприятие солнечной системы – и подчиняет тело Духу. Как Земля вращается вокруг неподвижного Солнца. Хотя этому трудно верить, когда мы смотрим на восходящее светило, точно так же и тело – это всего лишь смиренный слуга покоящегося Духа, хотя нашему ограниченному разуму представляется обратное. Но мы этого никогда не поймем, если допустим, что Душа находится в теле или Дух в материи и что человек – часть неодухотворенного мира. Душа есть Бог, неизменный и вечный, а человек существует с Душой и отражает ее, потому что Начало Начал есть Все Сущее, а Все Сущее обнимает Душу – Дух, Дух – Душу, любовь, разум, кости, печень, одного из себе подобных, единственного и не имеющего равных.

– Откуда взялась Христианская Наука? Это божий дар или она появилась невзначай, сама собой?

– В некотором смысле она – божий дар. То есть ее могущество исходит от Бога, но честь открытия этого могущества и его предназначения принадлежит одной американской леди.

– Вот как? Когда же это случилось?

– В тысяча восемьсот шестьдесят шестом году. Это незабвенная дата, когда боль, недуги и смерть навеки исчезли с лица земли. То есть исчезли те иллюзии, которые обозначаются этими словами. Сами же эти вещи вообще никогда не существовали; поэтому, как только было обнаружено, что их нет, они были легко устранены. История этого открытия и его сущность описаны вот в этой книжке, и...

– Книгу написала эта леди?

– Да, книгу написала она сама – всю, от начала до конца. Название книги – «Наука и здоровье, с толкованием Библии», потому что леди разъясняет Библию; раньше никто ее не понимал. Даже двенадцать апостолов. Я вам прочитаю начало.

Но оказалось, что она забыла очки.

– Ничего, это не важно, – сказала она. – Я помню слова, – ведь все мы, проповедники Христианской Науки, знаем книгу наизусть; в нашей практике это необходимо. Иначе бы мы совершали ошибки и причиняли зло. Итак, слушайте: «В тысяча восемьсот шестьдесят шестом году я открыла Науку метафизического врачевания и назвала ее «Христианской Наукой». Дальше она говорит – и я считаю, что это сказано великолепно: «Посредством Христианской Науки религия и медицина одухотворяются новой божественной природой и сутью, вера и понимание обретают крылья, а мысли общаются непосредственно с Богом», – это ее слова в точности.

– Очень изычно сказано. И кроме того, это блестящая идея – обручить бога с медициной, а не медицину с гробовщиком, как было раньше; ведь бог и медицина, собственно, уже принадлежат друг другу, будучи основой нашего духовного и физического здоровья. Какие лекарства вы даете при обычных болезнях, например...

– Мы никогда не даем лекарств, ни при каких обстоятельствах! Мы...

– Но, миссис Фуллер, ведь там сказано...

– Меня это совершенно не интересует, и я не хочу об этом говорить.

– Я очень сожалею, если чем-то вас задел, но ваша реплика как будто противоречит...

– В Христианской Науке нет никаких противоречий. Они невозможны, так как наука абсолютна. Иначе и не может быть, ибо ее непосредственный источник – Начало Начал. Всеобъемлющий, а также Душа, кости – один из многих, единственный и не имеющий себе равных. Это одухотворенная математика, очищенная от материального шлама.

– Это я понимаю, но...

– Она зиждется на несокрушимой основе Аподиктического Принципа.

Слово расплущилось о мой череп, пытаясь пробиться сквозь него, и оглушило меня, но, прежде чем я успел задать вопрос о том, какое оно имеет отношение к делу, она уже разъясняла:

– Аподиктический Принцип – это абсолютный принцип Научного Врачевания Духом, верховное Всемогущество, избавляющее сынов и дочерей человеческих от всякого зла, которому подвержена плоть.

– Но, конечно, не от всякого зла, не от всякого разрушения?

– От любого, без исключений; такой вещи, как разрушение, нет. Оно нереально; оно не существует.

– Но без очков ваше слабеющее зрение не позволяет вам...

– Мое зрение не может слабеть; ничто не может слабеть; Дух – владыка, а Дух не допускает упадка.

Она вещала под наитием Третьей Ступени, поэтому возражать не имело смысла. Я переменял тему и стал опять расспрашивать о Первооткрывательнице.

– Открытие произошло внезапно, как это случилось с Клондайком, или оно долгое время готовилось и обдумывалось, как было с Америкой?

– Ваши сравнения кощунственны – они относятся к низким вещам... но оставим это. Я отвечу словами самой Первооткрывательницы: «Бог в своей милосердии много лет готовил меня к тому, чтобы я приняла ниспосланное свыше откровение – абсолютный принцип Научного Врачевания Духом».

– Вот как, много лет? Сколько же?

– Тысячу восемьсот!

– Бог – Дух, Дух – Бог, Бог – добро, истина, кости, почки, один из многих, единственный и не имеющий равных, – это потрясающе!

– У вас есть все основания удивляться, сэр. И однако, это чистая правда. В двенадцатой главе Апокалипсиса есть ясное

упоминание об этой американской леди, нашей уважаемой и святой Основательнице, и там же есть пророчество о ее приходе; святой Иоанн не мог яснее на нее указать, разве что назвав ее имя.

– Как это невероятно, как удивительно!

– Я приведу ее собственные слова из «Толкования Библии»: «В двенадцатой главе Апокалипсиса есть ясный намек, касающийся нашего, девятнадцатого века». Вот – заметили? Запомните хорошенько.

– Но что это значит?

– Слушайте, и вы узнаете. Я опять приведу ее вдохновенные слова: «В откровении святого Иоанна, там, где говорится о снятии Шестой Печати, что произошло через шесть тысяч лет после Адама, есть одна знаменательная подробность, *имеющая особое отношение к нашему веку*». Вот она:

«Глава XII, 1. – И явилось на небе великое знамение – жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд».

Это наш Вождь, наша Мать, наша Первооткрывательница Христианской Науки, – что может быть яснее, что может быть несомненнее! И еще обратите внимание на следующее:

«Глава XII, 6. – А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от бога».

– Это Бостон. Я узнаю его. Это грандиозно! Я потрясен! Раньше я совершенно не понимал этих мест; пожалуйста, продолжайте ваши... ваши... доказательства.

– Прекрасно. Слушайте дальше.

«И видел я другого Ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над его головою была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные, в руке у него была книжка раскрытая».

Раскрытая книжка... Просто книжка... что может быть скромнее? Но значение ее так громадно! Вы, вероятно, догадались, что это была за книжка?

– Неужели...

– Я держу ее в руках – «Христианская Наука»!

– Любовь, печень, свет, кости, вера, почки, один из многих, единственный и не имеющий равных, – я не могу прийти в себя от изумления!

– Внимайте красноречивым словам нашей Основательницы: «И тогда голос с неба воззвал: «Пойди возьми раскрытую книжку; возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоём, но в устах твоих будет сладка, как мед». Смертный, склонись перед святым глаголом. Приступи к Божественной Науке. Прочитай

ее с начала и до конца. Изучи ее, размышляй над ней. Пригуби ее, она действительно будет сладка на вкус и исцелит тебя, но когда ты переваришь ее и ощутишь горечь, то не ропщи против Истины». Теперь вы знаете историю нашей несравненной и Божественной Святой Науки, сэр, и знаете, что на нашей земле она была только открыта, но происхождение ее божественное. А теперь я оставлю вам книгу и уйду, но вы ни о чем не тревожьтесь – я буду пользоваться вас заочно до тех пор, пока не отойду ко сну.

Глава III

Под магическим воздействием заочного и очного врачевания вместе взятых мои кости стали медленно втягиваться внутрь и пропадать из виду. Это благое дело началось в бодром темпе и шло полным ходом. Мое тело усердно растягивалось и всячески выгибалось, чтобы облегчить восстановительный процесс, и через каждую минуту-две я слышал негромкий щелчок где-то у себя внутри, – и мне было понятно, что в этот миг два конца сломанной кости успешно соединились. Приглушенное пощелкивание, и поскрипывание, и скрежетание, и постукивание не прекращалось в течение последующих трех часов; затем все стихло – сломанные кости срослись, все до одной. Остались только вывихи, их было семь, не больше, – вывихи бедер, плечей, колен и шеи, – так что с ними скоро было покончено; один за другим они скользнули в свои суставы с тупым звуком – как будто где-то хлопнула пробка, и я вскочил на ноги весь как новенький, без единого изъяна, если говорить о скелете, и послал за коновалом.

Мне пришлось это сделать из-за насморка и болей в желудке: я не собирался снова доверить их женщине, которой я но знал и в чьей способности лечить простые болезни окончательно разочаровался. У меня были на то веские основания – ведь насморк и боли в желудке были ей вверены с самого начала, так же как и переломы, и она ничуть их не облегчила, напротив, желудок болел все сильнее и сильнее, все резче и невыносимей, – теперь, пожалуй, из-за того, что я уже много часов ничего не ел и не пил.

Пришел коновал, очень милый человек, полный рвения и профессионального интереса к больному. Что же касается запаха, который от него исходил, то он был довольно-таки пронзительный: откровенно говоря, от него несло конюшной, и я попробовал тут же договориться с ним о заочном лечении, но это было не по его части, и поэтому из деликатности я не стал настаивать. Он осмотрел мои зубы и заявил, что мой возраст и общее состояние позволяют ему прибегнуть к энергичным мерам, поэтому он даст мне кое-чего, чтобы превратить боль в желудке в ящур, насморк в вертячку, тогда он окажется в своей стихии и ему будет проще простого меня вылечить. Он намешал

в бадейке поила из отрубей и сказал, что полный ковш через каждые два часа попеременно с микстурой, приготовленной из скипидара с колесной мазью, либо вышибет из меня мои недуги в двадцать четыре часа, либо вызовет разнообразные ощущения другого порядка, которые заставят меня позабыть о своих болезнях. Первую дозу он дал мне сам, а потом ушел, сказав на прощание, что мне можно есть и пить все, чего мне только ни захочется, в любых количествах. Но я уже больше не был голоден, и пища меня не интересовала.

Я взял книгу о Христианской Науке, оставленную миссис Фуллер, и прочитал половину. Потом выпил полный ковш микстуры и дочитал до конца. Пережитое мною после этого было очень интересно и полно неожиданных открытий. Пока во мне совершался процесс перехода болей в ящур, а насморк в вертячку, сквозь бурчанье, шипенье, сотрясения и бульканье, сопровождавшие его, я все время ощущал интенсивную борьбу за первенство между поилом, микстурой и литературой, причем часто я не мог точно определить, которая одерживает верх, и легко мог отличить литературу от двух других, только когда те были порознь, а не смешаны, потому что смесь поила из отрубей с эклектической микстурой как две капли воды похожа на разбушевавшийся Аподиктический Принцип, и никто на свете не отличил бы их друг от друга. Наконец дело подошло к финишу, все эволюции завершились с полным успехом, но я думаю, что результат мог быть достигнут и при меньшей затрате материалов. Поило, вероятно, было необходимо, чтобы превратить желудочные боли в ящур, но я уверен, что вертячку ничего не стоило получить от одной только литературы и что вертячка, добытая таким путем, была бы лучшего качества и более стойкая, чем любая выведенная искусственными методами коно-вала.

Потому что среди всех странных, безумных, непонятных и необъяснимых книг, созданных воображением человека, пальма первенства, несомненно, принадлежит этой. Она написана в духе безграничной самоуверенности и самодовольства, а ее напор, ее пыл, ее непробиваемая серьезность часто создают иллюзию красноречия, даже когда в словах вы не улавливаете и тени смысла. Существует множество людей, которые воображают, что эта книга им понятна: я это знаю потому, что беседовал с ними; но во всех случаях эти же люди воображали, что болей, недугов и смерти не существует в природе и что в мире вообще нет реальных вещей – фактически не существует ничего, кроме Духа. Это обстоятельство несколько снижает ценность их мнения. Когда эти люди говорят о Христианской Науке, они поступают так, как миссис Фуллер: они выражаются не своими словами, а языком книги; они обрушивают вам на голову эффектную чепуху, и вы только позднее обнаруживаете, что все это не выдумано ими, а просто процитировано; кажется, они знают этот томик наизусть и благоговеют перед ним, как перед

святыней, — мне следовало бы сказать: как перед второй Библией. Эта книга была явно написана на стадии умственного опустошения, причиненного Третьей Ступенью, и я уверен, что никто, кроме пребывающих на этой Ступени, не мог бы обнаружить в ней хоть каплю смысла. Когда вы читаете ее, вам кажется, что вы слышите бурную, сокрушительную, пророческую речь на непонятном языке, вы постигаете ее дух, но не то, о чем в ней говорится. Или еще так: вам кажется, что вы слушаете какой-то мощный духовой инструмент — он ревет, полагая, что это мелодия, а те, кто не играет в оркестре, слышат просто воинственный трубный звук, — этот призыв только возбуждает душу, но ничего ей не говорит.

Невозмутимое самодовольство, которым пропитана эта книга, как будто бы отдает божественным происхождением — оно не сродни ничему земному. Простому смертному не свойственна такая непоколебимая уверенность во всем, чувство такого безграничного превосходства, такое бездумное любование собой. Никогда не предьявляя ничего такого, что можно было бы по праву назвать веским словом «доказательство», а порой даже вовсе ни на что не ссылаясь и ни на чем не основывая свои выводы, она громогласно вещает: Я ДОКАЗАЛА то-то и то-то. Чтобы установить и разъяснить смысл какого-нибудь одного-единственного, еще не растолкованного отрывка из Библии, нужен авторитет папы и всех столпов его церкви, нужна огромная затрата времени, труда и размышлений, но автор выше всего этого: она видит всю Библию в девственном состоянии и при ничтожной затрате времени и без всякой затраты умственных усилий толкует ее от корки до корки, изменяет и исправляет значения, а затем авторитетно разъясняет их, манипулируя формулами такого же порядка, как «Да будет свет! И стал свет». Впервые с сотворения мира над долами, водами и весями прогромыхал такой невозмутимо самодовольный, беззастенчивый и безапелляционный голос.

Январь, 1903. Любая книга с новой и необычной терминологией при первом чтении почти наверняка оставляет читателя в смятении и саркастическом состоянии духа. Но теперь, когда за последние два месяца я прилежно изучил специальный словарь «Науки и здоровья», я уже больше не считаю суть этой книги трудной для понимания. — М. Т.

P. S. Мудрость, которую я извлек из вышеизложенного, уже оказала мне услугу и в одном случае избавила от неприятностей. Около месяца тому назад я получил из одного университета труд доктора Эдварда Энтони Шнитцка «Анатомия мозга у различных рас». Я решил, что университету желательно получить мой отзыв об этом труде, был очень польщен оказанным мне вниманием и ответил, что представляю его в ближайшее время. И в тот же вечер я бросил изнурительные блуждания в дебрях Христианской Науки и взялся за дело. Я написал одну взволнованную главу и решил кончить отзыв на следующий день, но тут мне пришлось отлучиться на неделю, и скоро меня увлекли совсем другие интересы. И только сегодня, после почти месячного промежутка,

Глава IV

Никто не сомневается в том, что дух оказывает на тело громадное влияние; я тоже в этом уверен. С давних времен колдун, толкователь снов, гадалка, знахарь, шарлатан, лекарь-самоучка, образованный врач, месмерист и гипнотизер в своей практике использовали *воображение* клиента. Все они признавали наличие и могущество этой силы. Врачи исцеляют многих больных хлебными пилюлями: они знают, что там, где болезнь порождена фантазией, вера пациента в доктора придаст и хлебным пилюлям целительное свойство.

Вера в доктора. Пожалуй, все дело именно в этом. Да, похоже, что так. Некогда монарх исцелял язвы одним прикосновением царственной руки. Часто он совершал поразительные исцеления. Мог ли сделать то же самое его лакей? Нет, в своем платье не мог. А переодетый королем, мог ли он это сделать? Я думаю, нам не приходится в этом сомневаться. Я думаю, мы можем быть совершенно уверены в том, что в любом случае исцеляло не прикосновение руки короля, а вера больного в чудодейственность этого прикосновения. Подлинные и замеча-

я снова вернулся к своей главе о мозге. За это время я обрел новую мудрость и перечитал все написанное мною с великим стыдом. Я понял, что начал эту работу совсем не в том настроении, в каком следовало, — далеко не в том спокойном и беспристрастном состоянии духа, которого она вполне заслуживала. На затравку я взял для разбора следующий абзац:

«Борозды париетальных и окципитальных долей мозга (латеральная поверхность). — Постцентральный комплекс. — В полушарии постцентральная и субцентральная борозды соединяются, чтобы образовать непрерывную борозду, достигающую 8,5 см длины. Дорсально борозда раздваивается, образуя гирус, обозначенный каудальным концом парацентральной борозды. К каудальному концу парацентральной борозды подходит транспариетальная извилина. Всего от объединенной борозды отходит пять ответвлений. Вадум отделяет ее от париетальной; другой вадум — от центральной».

Каким жалким я чувствую себя сейчас, когда вижу, как я тогда распалился на этот абзац и с каким презрением о нем писал. Я писал, что стиль автора ужасный — тяжеловесный, хаотический, временами безудержный; что вопрос трактуется запутанно и неверно, а это может только поставить читателя в тупик; что недостаток простоты усугубляется бедностью словаря; что автор не знает меры в выражении своих чувств; что если бы у меня был пес, который пришел бы в такое возбужденное и сумбурное состояние по поводу столь спокойного предмета, как анатомия головного мозга, я бы перестал платить за него налог; и тут я сам разволновался и наговорил кучу резкостей по поводу всей этой собачьей чуши и заявил, что с таким же успехом можно пытаться понять «Науку и здоровье».

Теперь-то я знаю, что меня подвело, и радуюсь тому перерыву, который помешал мне послать отзыв в университет. Я холодею при одной мысли о том, что бы обо мне там подумали. — М. Т.

тельные исцеления совершались возле святых мощей. Разве нельзя допустить, что любые другие кости подействовали бы на больного точно так же, если бы от него скрыли подмену? Когда я был мальчишкой, в пяти милях от нашего городка жила фермерша, которая прославилась как врачевательница верой — так она себя называла. Страждущие стекались к ней со всей округи, она возлагала на них руку и говорила: «Веруй; это все, что тебе нужно»; и они уходили, забыв о своей хвори. Она не была религиозной женщиной и не претендовала на обладание какой-то сверхъестественной целительной силой. Она признавала, что исцеления совершает вера больного в нее. Несколько раз она при мне мгновенно излечивала от жестоких зубных болей — пациенткой была моя мать. В Австрии есть один крестьянин, который на этом ремесле основал целое коммерческое дело и лечит и простых и знатных. Время от времени его сажают в тюрьму за то, что он практикует, не имея диплома, но когда он оттуда выходит, его дело по-прежнему процветает, потому что лечит он, бесспорно, успешно, и репутация его ущерба не несет. В Баварии есть человек, который совершил так много исцелений, что ему пришлось бросить свою профессию театрального плотника, чтобы удовлетворить спрос постоянно растущей массы клиентов. Год за годом он творит свои чудеса и уже разбогател. Он не делает вида, что ему помогает религия или какие-то потусторонние силы, — просто, как он считает, в нем есть что-то, что вызывает у пациентов доверие; все дело в этом доверии, а совсем не в какой-то таинственной силе, исходящей от него.

За последнюю четверть века в Америке появилось несколько врачующих сект под различными названиями, и все они значительно преуспели в лечении недугов без применения лекарств. Среди них есть Врачевание Духом, Врачевание Верой, Врачевание Молитвой, Врачевание Психической Наукой и Врачевание Христианской Наукой. И совершенно несомненно, что все они совершают чудеса при помощи того же старого, всесильного орудия — *воображения больного*. Названия разные, хотя в способе лечения никакой разницы нет. Но секты не воздают должного этому орудию: каждая заявляет, что ее метод лечения разнится от методов всех других.

Все они могут похвастаться случаями исцелений, с этим не приходится спорить; Врачевание Верой и Врачевание Молитвой, когда они не приносят пользы, пожалуй, не приносят и

Январь, 1903. Мне самому хорошо известно одно «чудесное» исцеление от паралича, который целых два года держал больную в постели, несмотря на все старания лучших нью-йоркских врачей. Странствующий «шарлатан» (так его называли) заходил к ней всего два раза по утрам, он поднял больную с постели и сказал: «Иди!» И больная пошла. Тем дело и кончилось. Это было сорок два года тому назад. И с тех пор больная ходит. — М. Т.

вреда, потому что они не запрещают больному прибегать к помощи лекарств, если он того пожелает; другие же запрещают лекарства и заявляют, что они способны вылечить любую болезнь человека, какая только существует на земле, применяя одни духовные средства. Здесь, мне кажется, есть элемент опасности. Я думаю, что они слишком много на себя берут. Доверие публики, пожалуй, повысилось бы, если бы они меньше на себя брали.

Проповедница Христианской Науки не смогла вылечить меня от болей в желудке и насморка, но коновалу это удалось. Это убеждает меня в том, что Христианская Наука слишком много на себя берет. Я думаю, что ей следовало бы оставить внутренние болезни в покое и ограничиться хирургией. Здесь она могла бы развернуться, действуя своими методами.

Коновал потребовал с меня тридцать крейцеров, и я ему заплатил; мало того, я удвоил эту сумму и дал ему шиллинг. Миссис Фуллер прислала длинный счет за ящик костей, починенных в двухстах тридцати четырех местах – один доллар за каждый перелом.

– Кроме Духа, ничего не существует?

– Ничего, – ответила она. – Все остальное несубстанциально, все остальное – воображаемое.

Я дал ей воображаемый чек, а теперь она преследует меня по суду, требуя субстанциальных долларов.

Где же тут логика?

КИТАЙ И ФИЛИППИНЫ

В течение многих лет я добровольно брал на себя роль миссионера, взывавшего к союзу Соединенных Штатов с Англией. Они должны объединиться.

Взгляните на Америку, это прибежище для всех угнетенных (кто может заплатить пятьдесят долларов за въезд), для угнетенных со всего света (для всех, за исключением китайцев), – на эту страну, выступающую в защиту человеческих прав во всем мире и даже рекомендующую Китаю впускать к себе иностранцев бесплатно, хотя Китай, может быть, тоже был бы не прочь брать с них за это по пятьдесят долларов. А как бескорыстно ратует Англия за открытые двери для всех! А как истово ратует Америка за эти открытые двери во всех странах, кроме самой Америки!

Да, в качестве миссионера я пел им хвалебные гимны! И все же, мне кажется, Англия впала в грех, когда она ввязалась в южноафриканскую войну, которой могла бы избежать, так же, как мы впали в грех, ввязавшись в подобную войну на Филиппинах. Мистер Черчилль по отцу англичанин, но по матери он американец, и это, без сомнения, как раз тот союз, который порождает совершенство.

Англия и Америка. Да, мы братья. А теперь мы еще и братья во грехе, так что большего и пожелать невозможно. Гармония – полная, союз – идеальный.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КУКУРУЗНОЙ ЛЕПЕШКИ

Пятьдесят лет назад, когда мне было пятнадцать лет и я по мере сил увеличивал собой население небольшого городка на берегу Миссисипи, у меня был друг, чьим обществом я очень дорожил, потому что мать не разрешала мне водиться с ним. Это был веселый, нахальный, язвительный и очаровательный молодой негр-раб, который ежедневно читал проповеди, взгромоздившись на кучу хозяйских дров, а я был единственным его слушателем. Он копировал ораторскую манеру священников нашего городка, всех, сколько их было, и делал это превосходно – вдохновенно и ярко. Мне он казался чудом. Я считал, что он величайший оратор в Соединенных Штатах и когда-нибудь непременно прославится. Но этого не случилось: в день раздачи наград его обошли. Так оно всегда и бывает в этом мире.

То и дело он прерывал свои проповеди, чтобы напилить дров, но это был обман – трудился он только языком, в точности подражая визгу пилы, вгрызающейся в дерево. Однако этим он достигал своей цели, потому что успокоенный хозяин даже и не думал проверять, как идет у него дело. Я слушал проповеди из открытого окна чулана, выходящего во двор. Вот что он проповедовал однажды:

– Скажи мне, как человек добывает свою кукурузную лепешку, и я скажу тебе, как он смотрит на жизнь.

Я никогда не мог забыть об этом. Запечатлелось на всю жизнь. По милости моей матери. След остался не в памяти, а кое на каком другом месте. Она тихонько вошла, когда я был увлечен проповедью, – и я не заметил ее. Мысль чернокожего философа сводилась к тому, что у человека нет независимости и он не может позволить себе лишиться хлеба насущного из-за своих взглядов. Для того чтобы преуспевать, он должен слиться с большинством; в серьезных вопросах – таких, как политика и религия, – он должен думать и чувствовать, как все вокруг, иначе пострадают его положение и благополучие. Он должен думать обо всем с точки зрения Кукурузной Лепешки – по крайней мере внешне. Он должен заимствовать свои взгляды у других, он не должен додумываться до всего самостоятельно и иметь собственную точку зрения.

Я думаю, что в основном Джерри был прав, но мне кажется, что он не довел свою мысль до конца.

1. Он полагал, что человек приспосабливается к взглядам окружающего большинства умышленно и по расчету.

Это бывает, но не как правило.

2. Он полагал, что возможен оригинальный, самобытный

взгляд, хладнокровно продуманный человеком с помощью тщательного анализа фактов, причем голос сердца не имеет значения и ничто не влияет на решение присяжных, то бишь разума. Может быть, такой взгляд где-нибудь когда-нибудь и возник, но, по-видимому, он улетучился прежде, чем его успели изловить, превратить в чучело и выставить в музее.

Я убежден, что объективно продуманное и независимое суждение о моде в одежде, поведении, литературе, политике или любой другой области, попадающей в наше поле зрения, встречается крайне редко, если оно вообще существует.

Появляется новая мода в одежде – скажем, широченный кринолин, и прохожие шокированы, а непочтительные смеются. Полгода спустя все примирились: мода укоренилась; ею теперь восхищаются и никто не смеется. Раньше общественное мнение возмущалось этой модой; теперь общественное мнение одобряет ее и не может без нее обойтись. Почему? Разве возмущались сознательно? Разве одобряют сознательно? Ничего подобного. Все дело здесь в инстинкте, толкающем к приспособлению. Приспосабливаться – в нашей природе; это сила, которой могут успешно противиться лишь немногие. В чем же ее основа? В естественной потребности одобрять самого себя. Все мы должны склониться перед этим; все до одного. Даже та женщина, что с начала до конца отказывается носить кринолин, подпадает под этот закон и становится его рабой; ей кажется, что, надев кринолин, она упадет в собственных глазах, а этого она просто-таки не может вынести, тут уж ничего не поделаешь. Однако, как правило, мы черпаем наше самоодобрение из одного-единственного источника – из одобрения окружающих. Человек, пользующийся большой известностью, может вводить в одежду любые новшества, и вскоре все принимают их, движимые, во-первых, инстинктом пассивного подчинения чему-то, что несколько туманно именуется «авторитет», а во-вторых, человеческим стремлением слиться с большинством и заслужить его одобрение. Кринолин введен в моду императрицей, и мы знаем, к чему это привело. Женский наряд с шароварами введен в моду неизвестно кем, и опять-таки мы знаем, к чему это привело. Если снова в расцвете славы появится Ева и возродит прихотливый стиль своей одежды, – ну что ж, и тут ясно, чем это кончится. Хотя поначалу мы будем страшно смущаться.

Кринолин отслужил свою службу, и его не стало. Никто не размышляет над этим. Сначала от моды отказывается одна женщина, ее соседка замечает это и поступает так же, за ней следующая, и так далее и так далее, и через некоторое время кринолин исчезает с лица земли, и никто не знает, как и почему; никого это и не интересует. Потом кринолин снова войдет в моду, а когда настанет время, снова исчезнет.

Двадцать пять лет назад в Англии у каждого прибора на званом обеде стояло шесть или восемь бокалов, и все они были

при деле, не стояли зря, не пустовали; теперь у прибора не больше трех или четырех бокалов, и обыкновенно гость экономно пользуется лишь двумя. Мы еще не приняли этой новой моды, но скоро придется. Мы не станем размышлять над ней, а просто подчинимся – вот и все. Наши взгляды, привычки и мнения формируются под влиянием окружающей среды, нам вовсе не требуется выработать их.

Наши манеры за столом, в обществе, на улице то и дело меняются, но мы не осмысливаем этого; просто мы наблюдаем и подчиняемся. Мы – дети внешних влияний; как правило, мы не думаем, мы только подражаем. Мы не можем изобрести норм, которые остались бы неизменными; то, что ошибочно считается нормой, – всего лишь преходящая мода. Конечно, никто не запрещает нам и дальше восхищаться ею, но следовать ей уже нельзя. Мы замечаем это и в литературе. Шекспир – для нас образец, и пятьдесят лет назад писались трагедии, которые невозможно было отличить от... если не от шекспировских, то от десятков других трагедий; но сейчас так больше не пишут. Три четверти века назад нормами нашей прозы считались витиеватость и многословие; какие-то авторитеты изменили их в сторону сжатости и простоты, и все подчинилось, не возражая. Внезапно появляются исторические романы и заполняют всю страну; все, кому не лень, пишут их, и нация в восторге. Исторические романы существовали и раньше, но никто не читал их, и все мы приспособились к этому, не рассуждая. Теперь мы приспособляемся по-другому – опять-таки потому, что так поступают все.

Мы постоянно находимся в сфере внешних воздействий, подчиняемся их приказаниям и принимаем их приговоры. Смитам нравится новая пьеса, Джонсы идут смотреть ее и повторяют приговор Смитов. В вопросах морали, религии, политики люди держатся тех или иных взглядов не потому, что изучали предмет и думали, а исключительно под влиянием настроения. Прежде всего, в любое время и при любых обстоятельствах своей жизни, совершая любой поступок, человек обязан и будет одобрять самого себя, а если он тут же пожалеет о содеянном, то только для того, чтобы *вновь* одобрить самого себя; однако в основном самоодобрение в большинстве важных вопросов ведет начало от одобрения окружающих, а не от детального рассмотрения данного предмета. Магометане являются магометанами потому, что они родились и воспитаны в этой вере, а не потому, что пришли к каким-то выводам и могут веско обосновать свое магометанство. Мы знаем, почему католики являются католиками, пресвитериане – пресвитерианами, баптисты – баптистами, мормоны – мормонами, воры – ворами, монархисты – монархистами, члены республиканской партии – республиканцами и члены демократической партии – демократами. Мы знаем, что причиной тому – среда и общность мыслей и вкусов, а не размышления и

анализ; что вряд ли на земле найдется хоть один человек, который приобрел взгляды на мораль, политику и религию не под влиянием своей среды и общения с окружающими, а каким-нибудь иным путем. Подводя итоги, можно сказать, что нет другой точки зрения, кроме точки зрения Кукурузной Лепешки. И, в широком смысле, Кукурузная Лепешка – и есть самоодобрение. Самоодобрение в основном достигается через одобрение других. Результат этого – приспособление. Иногда приспособление бывает вызвано корыстными деловыми интересами, интересами куска хлеба с маслом, но я считаю, что это случается не всегда. Я думаю, что в большинстве случаев оно бессознательно и непредумышленно и рождается из естественного стремления человека снискать расположение окружающих, их поощрение и похвалу, – стремления, обычно столь сильного и настойчивого, что противиться ему невозможно и оно обязательно одержит верх.

Всякий поворотный момент в политике выявляет точку зрения Кукурузной Лепешки особенно сильно в двух ее главных видах: в материальном, идущем от психологии собственного кармана, и – чаще – в эмоциональном, когда человек не в силах вынести одиночества, не может пережить немилости, не может стерпеть холодного и безучастного отношения, – он хочет высоко стоять в глазах своих друзей, хочет, чтобы все ему улыбались, хочет, чтоб его приветствовали, хочет слышать драгоценные слова: «Уж он-то на верном пути!» Пусть эти слова произнес осел, но осел высокопоставленный, осел, чье одобрение – золото и брильянты для осла поменьше чином, и оно дарует славу, и почести, и счастье, и место в ослином стаде. Ради этой мишуры человек готов затоптать в грязь свои взлелеянные целой жизнью взгляды, а вместе с ними и совесть. Мы видели, как это бывает. В миллионе случаев, не меньше.

Людам кажется, что они думают о важных политических вопросах; верно, они думают, только думают не самостоятельно, а вместе со своей партией; они читают литературу своей, а не враждебной партии; они приходят к каким-то убеждениям, но убеждения эти – следствие одностороннего взгляда на предмет и потому не имеют особой ценности. Как пчелы, они роятся в своей партии, они живут чувствами своей партии, они радуются одобрению своей партии, и куда бы ни повела их партия, туда они и пойдут – бороться за право и честь или шагать через грязь, и кровь, и месиво изуродованной морали.

На наших недавних выборах одна половина нации была страстно убеждена, что в серебре – спасение, другая так же страстно была убеждена, что в нем гибель. Думаете ли вы, что хотя бы десятая часть каждой партии сколько-нибудь представляла себе, почему у них вообще должно быть какое-то мнение? Я пытался докопаться до сути этой великой проблемы, да так ничего и не выкопал. Одна половина нашего населения стеной стоит за высокие ввозные пошлины, другая – наоборот. Значит

ли это, что они изучают этот вопрос и проверяют его на практике, или они только чувствуют? Пожалуй, последнее. Я изучил досконально и эту проблему – и ничего не достиг. Мы только и делаем, что чувствуем и принимаем чувство за мысль. В результате мы получаем целое, почитаемое нами за благо. Имя его – Общественное Мнение. С ним нельзя не считаться. Оно определяет все. Некоторые думают, что это – глас божий.

СОЕДИНЕННЫЕ ЛИНЧУЮЩИЕ ШТАТЫ

I

Итак, великий штат Миссури пал! Несколько его сыновей примкнуло к линчевателям, и клеймо позора легло на всех нас. По милости этой горстки его сыновей о нас теперь сложилось определенное мнение, на нас наклеили ярлык: отныне и вовек для жителей всего мира мы – «линчеватели». Ибо люди не станут долго раздумывать – это не в их привычках, они привыкли делать выводы, исходя из какого-то одного факта. Они не скажут: «Миссурийцы восемьдесят лет старались создать себе репутацию почтенных, уважаемых людей, и эти сто линчевателей где-то там, на окраине штата, не настоящие миссурийцы: это ренегаты». Нет, такая здравая мысль не может прийти им в голову; они сделают вывод на основании одного-двух нетипичных образчиков и скажут: «Миссурийцы – это линчеватели!» Люди не умеют размышлять, у них нет ни логики, ни чувства соразмерности. Цифры для них не существуют, они ничего им не говорят, не подсказывают никаких разумных суждений. Люди способны, например, сказать, что Китай, безусловно, будет весь обращен в христианство, и очень скоро, поскольку каждый день по девять китайцев принимают крещение; при этом они даже не обратят внимание на то, что в Китае ежедневно рождается тридцать три тысячи язычников и что это обстоятельство сводит на нет всю их аргументацию. Люди скажут: «У них там сто линчевателей; значит, миссурийцы – линчеватели». Тот весьма существенный факт, что два с половиной миллиона миссурийцев не принадлежат к числу линчевателей, не может изменить их приговор.

II

О Миссури!

Трагедия произошла близ Пирс-Сити, на юго-западной окраине штата. В воскресенье днем молодая белая женщина вышла одна из церкви и вскоре была найдена убитой. Да, там есть церкви; в мое время вера на Юге была глубже и имела более широкое распространение, чем на Севере, и отличалась, по-моему, большей искренностью, большей мужественностью, –

такой, мне кажется, она и осталась. И так, молодую женщину нашли убитой! И хотя в той округе немало церквей и школ, народ взбунтовался: линчевали трех негров (из них двух стариков), сожгли пять негритянских хижин и выгнали в лес тридцать негритянских семей.

Я не намерен останавливаться на том, что толкнуло людей на преступление, так как это не имеет никакого отношения к делу; вопрос заключается в следующем: *может ли убийца сам вершить суд?* Вопрос простой и правильный. Если доказано, что убийца нарушил прерогативу закона, воздавая за содеянное ему зло, — тогда и говорить не о чем: тысяча причин не оправдают его. У жителей Пирс-Сити были серьезные причины, — судя по некоторым подробностям, у них была самая серьезная из всех причин, — но не в том дело; они решили сами вершить суд, хотя, по местным законам, их жертву все равно бы повесили, если бы делу был дан обычный ход, ибо в этой округе мало негров и они не занимают высокого положения и недостаточно сильны, чтобы повлиять на присяжных.

Почему линчевание с его варварскими атрибутами стало в некоторых частях нашей страны излюбленным способом возмездия за так называемое «обычное» преступление? Не потому ли, что это ужасное, отвратительное наказание кажется людям более наглядным уроком и более действенным средством устрашения, чем казнь через повешение на тюремном дворе, без свидетелей и без всякого шума? Нормальные люди так, конечно, не думают. Даже малый ребенок не поверил бы этому. Он знает, что все необычное, вызывающее много толков тотчас находит подражателей, ибо на свете более чем достаточно впечатлительных людей, которые, стоит их немножко раззадорить, теряют последние остатки разума и начинают творить такое, о чем в другое время и помыслить бы не могли. Он знает, что, если кто-то спрыгнет с Бруклинского моста, найдется человек, который последует его примеру; если кто-то решит спуститься в бочке по Ниагарскому водопаду — найдутся люди, которые захотят сделать то же; если какой-нибудь Джек Потрошитель прославится убийством женщин в темных переулках — у него найдутся подражатели; если человек совершит покушение на короля и газеты протрубят об этом на весь мир — царевубийц появится видимо-невидимо. Даже малому ребенку известно, что достаточно какому-нибудь негру совершить сенсационное преступление и убийство, как это породит брожение в умах многих других негров и повлечет за собой целый ряд тех самых трагедий, которые общество так хочет предотвратить; что каждое из этих преступлений в свою очередь повлечет за собой ряд других, и в результате перечень этих бедствий, вместо того чтобы уменьшиться, будет из года в год расти и расти, — словом, что линчеватели самые злейшие враги своих жен, дочерей и сестер. Ребенку известно и то, что законы, которые мы сами сочинили, превращают в подражателей не только отдельных

людей, но и целые деревни и города, что какое-нибудь линчевание, вызвавшее много толков, неизбежно породит другие линчевания — и тут, и там, и повсюду — и что со временем это превратится в манию, в м о д у, — моду, которая будет распространяться с каждым годом все шире и шире, захватывая, подобно эпидемии, все новые штаты. Суд Линча уже добрался до Колорадо, до Калифорнии, до Индианы, и теперь — до Миссури! Вполне возможно, что я доживу до того дня, когда посреди Юнион-сквера в Нью-Йорке на глазах у пятидесяти тысяч толпы будут сжигать негра и ни единого представителя закона и порядка не будет поблизости — ни шерифа, ни губернатора, ни полицейского, ни солдата, ни священника.

«Рост линчеваний. В 1900 году было на восемь линчеваний больше, чем в 1899 году, а в этом году, по-видимому, будет еще больше, чем в прошлом. Сейчас едва перевалило за половину года, а мы уже имеем восемьдесят восемь случаев линчеваний, тогда как за весь прошлый год их было сто пятнадцать. Особенно отличаются в этом смысле четыре южных штата — Алабама, Джорджия, Луизиана и Миссисипи. В прошлом году в Алабаме было восемь случаев линчевания. В Джорджии — шестнадцать, в Луизиане — двадцать и в Миссисипи — двадцать. Таким образом, свыше половины линчеваний падает на эти штаты. В этом году в Алабаме уже было девять случаев линчевания, в Джорджии — двенадцать, в Луизиане — одиннадцать, в Миссисипи — тринадцать; опять-таки больше половины общего числа линчеваний по всем Соединенным Штатам» (чикагская «Трибюн»).

Вполне возможно, что рост линчеваний объясняется присущим человеку инстинктом подражания — этим да еще самой распространенной человеческой слабостью: страхом, как бы тебя не стали сторониться и показывать на тебя пальцем, потому что ты поступаешь не так, как все. Имя этому — Моральная Трусость, и она является доминирующей чертой характера у 9999 человек из каждых десяти тысяч. Я не претендую на это открытие — в глубине души самый тупоумный из нас знает, что это такое. История не допустит, чтобы мы забыли или оставили без внимания эту важнейшую черту нашего характера. История настойчиво и не без ехидства напоминает нам, что с сотворения мира все бунты против человеческой подлости и угнетения зачинались одним храбрцом из десяти тысяч, тогда как остальные робко ждали и медленно, нехотя, под влиянием этого человека и его единомышленников из других десятков тысяч, присоединялись к движению. Аболиционисты это помнят. Втайне общественное мнение уже давно было на их стороне, но каждый боялся во всеуслышание заявить об этом, пока по какому-то намеку не догадался, что его сосед втайне думает так же, как он. Тогда-то и поднялся великий шум. Так всегда бывает. Настанет день, когда так будет в Нью-Йорке и даже в Пенсильвании.

Полагаю — и говорят, — что линчевание доставляет людям удовольствие, что народ рад возможности поглазеть на интересное зрелище. Но этого не может быть, опыт доказывает обратное. Люди, живущие в южных штатах, сделаны из того же теста, что и те, которые живут в северных, а подавляющее большинство этих последних — люди добропорядочные и сердечные, и они были бы глубоко, до боли опечалены подобным зрелищем и... пошли бы смотреть и сделали бы вид, что им это очень нравится, если бы считали, что иначе они вызовут неодобрение общества. Такие мы есть — и тут уж ничего не поделаешь. Прочие животные — не такие, но и тут мы ничего не можем поделать. У них отсутствует Моральный Критерий, мы же не можем избавиться от него, не можем продать его хотя бы за бесценок. Моральный Критерий подсказывает нам, что есть добро... и как уклониться от добрых деяний, если они непопулярны.

Как я уже говорил, иные считают, что толпа, собирающаяся на линчевание, получает от этого удовольствие. Это, конечно, неправда, этому невозможно поверить. Последнее время стали открыто утверждать — вы не раз могли видеть это в печати, — что до сих пор мы неправильно понимали, какой импульс движет линчевателями; в них-де говорит в эти минуты не чувство мести, а *просто звериная жажда поглазеть на людские страдания*. Если бы это было так, толпы людей, видевших пожар отеля «Виндзор», пришли бы в восторг от тех ужасов, которым они были свидетелями. А разве они восторгались? Подобная мысль никому и в голову не придет, подобное обвинение никто не осмелится высказать. Многие рисковали жизнью, спасая детей и взрослых от гибели. Почему они это делали? Потому что *никто не стал бы порицать их за это*. Ничто не связывало и не ограничивало их — они могли следовать велениям сердца. А почему такие же люди, собравшись в Техасе, Колорадо, Индиане, стоят и смотрят на линчевание, всячески показывая, что это зрелище доставляет им безмерное удовольствие, хотя на сердце у них печально и тяжело? Почему никто из этой толпы пальцем не шевельнет, ни единого слова не скажет в знак протеста? Думается мне, только потому, что такой человек оказался бы в меньшинстве: каждый опасается вызвать неодобрение своего соседа — для рядового человека это хуже ранения или смерти. Стоит распространиться по округе вести о предстоящем линчевании, как люди запрягают лошадей и с женами и детьми мчатся за несколько миль, чтобы посмотреть на это зрелище. В самом ли деле для того, чтобы посмотреть?.. Нет, они едут только потому, что боятся остаться дома: а вдруг кто-нибудь заметит их отсутствие и неодобрительно отзовется о них потом! Вот этому можно поверить, ибо все мы знаем, как мы сами отнеслись бы к такому зрелищу и как бы мы поступили в таких обстоятельствах. Мы не лучше и не храбрее других, и нечего нам это скрывать.

Какой-нибудь Савонарола мог бы одним взглядом усмирить и разогнать толпу линчевателей — на это способны и Мэрилл, и Бэлот. Нет такой толпы, которая не дрогнула бы в присутствии человека, известного своим хладнокровием и мужеством. К тому же толпа линчевателей рада разбежаться, поскольку вы не сыщете в ней и десяти человек, которые не предпочли бы находиться в любом другом месте и, конечно, не были бы здесь, если бы только у них хватило на это храбрости. Еще мальчишкой я видел, как один смельчак язвительно обругал собравшуюся толпу и заставил ее разойтись, а позже в Неваде я видел, как один известный головорез заставил двести человек сидеть не шевелясь в горящем доме до тех пор, пока он не разрешил им покинуть помещение. Если человек не трус, он может один ограбить целый пассажирский поезд, а если он трус только наполовину, он может остановить дилижанс и обобрать всех, кто в нем едет.

Выходит, стало быть, что искоренить линчевание можно следующим образом: в каждой общине, зараженной этой бактерией, поселить по храброму человеку, который поощрял бы, поддерживал и извлекал на свет божий глубокое возмущение линчеванием, таящееся — в том можно не сомневаться — во всех сердцах. Тогда эти общины найдут себе более подходящий предмет для подражания, ибо они состоят из людей, которые должны, конечно, чему-то подражать. Но где найти таких храбрецов? Вот в этом-то и загвоздка, коль скоро на всей земле их едва ли наберется три сотни. Если б нужны были люди, обладающие только физической храбростью, задача решалась бы легко — таких сколько угодно. Когда Хобсон сказал, что ему нужно семь человек добровольцев, которые последовали бы за ним, в сущности, на верную смерть, вызвалось идти четыре тысячи человек, фактически весь флот, — потому что *весь мир одобрил бы это*; и люди это знали. А вот если бы план Хобсона был осмеян и освистан друзьями и товарищами, чьим добрым мнением дорожат матросы, — он не сумел бы набрать и семи человек.

Нет, по зрелом размышлении проект мой никуда не годится. Где взять людей, храбрых духом? Нет у нас материала, из которого выковываются люди с отважной душой, в этом отношении мы нищие. Есть у нас те два шерифа на Юге, которые... но что о них говорить — все равно их не хватит на всю страну: так пусть уж остаются на своих местах и заботятся о собственных общинах.

Если б было у нас еще хотя бы три или четыре шерифа такого склада! Помогло бы это? Думаю, что да. Ведь все

Мэрилл — шериф округа Кэрл, штат Джорджия; Бэлот — шериф из Принстона, штат Индиана. Они обуздывали толпы линчевателей только благодаря тому, что были всем известны как люди непоколебимо мужественные. — *Прим. автора.*

мы — подражатели: примеру доблестных шерифов последовали бы другие, быть бесстрашным шерифом стало бы правилом, а на тех, кто не был бы таким, смотрели бы с порицанием, которого все так стремятся избежать; храбрость человека на этом посту вошла бы в обычай, а отсутствие ее было бы равносильно бесчестию — так робость новобранца со временем сменяется храбростью. И тогда не будет больше линчеваний, и не будет озверелых толп, и...

Все это очень хорошо, но для всякого дела нужны зачинщики, а откуда мы возьмем этих зачинщиков? По объявлению? Хорошо, дадим объявление.

А пока что — вот другой план. Давайте вернем американских миссионеров из Китая и предложим им посвятить себя борьбе с линчеванием. Поскольку каждый из 1511 находящихся там миссионеров обращает по два китайца в год, тогда как ежедневно на свет появляется по тридцать три тысячи язычников, потребуется свыше миллиона лет, чтобы количество обращенных соответствовало количеству рождающихся и чтобы «христианизация» Китая стала видна невооруженным глазом. Следовательно, если мы можем предложить нашим миссионерам такое же богатое поле деятельности у себя на родине — притом с меньшими затратами и достаточно опасное, — так почему бы им не вернуться домой и не попытаться счастья? Это было бы и справедливо и правильно. Китайцы, по всеобщему мнению, чудесный народ — честный, порядочный, трудолюбивый, добрый и все прочее. Оставьте их в покое — они и так достаточно хороши. К тому же ведь почти каждый обращенный рискует заразиться нашей цивилизацией. Не мешало бы нам быть поосторожнее. Не мешало бы хорошенько подумать, прежде чем подвергать себя такому риску, — потому что *стоит сделать Китай цивилизованной страной, и его уже не децивилизуешь*. А мы не думали об этом. Ну так что ж — подумаем сейчас, пока не поздно. Наши миссионеры увидят, что у нас есть для них поле деятельности — и не только для 1511 человек, а для 15 011. Пусть прочтут следующую телеграмму и решат, найдется ли у них в Китае что-либо более аппетитное. Телеграмма эта из Техаса:

«Негра подтащили к дереву и вздернули на сук. Под ним навалили кучу дров и хвороста и развели большой костер. *Потом кто-то заметил, что нельзя, чтобы негр подох так быстро; его спустили на землю, тем временем несколько человек отправились в Декстер мили за две, чтобы добыть керосину*. Костер облили керосином, и дело было доведено до конца».

Эти цифры не выдуманы, они правильны и достоверны.

Источником для них послужили официальные отчеты миссионеров, находящихся в Китае. См. книгу д-ра Моррисона о его путешествии по Китаю; он приводит эти цифры со ссылкой на источники. Несколько лет он был пекинским корреспондентом лондонской «Таймс» и находился в Пекине во время осады. — *Прим. автора*.

Мы умоляем миссионеров вернуться и помочь нам в нашей беде. Этого требует их долг патриотов. Наша страна находится сейчас в более бедственном положении, чем Китай; они – наши соотечественники, и родина взывает к ним о помощи в этот час тягчайших испытаний. Они знают, что делать, наш народ не знает. Они привыкли к издевкам, насмешкам, надругательствам, опасностям, наш народ к этому не привык. Им свойственно мученичество, а только человек, способный на мученичество, способен противостоять толпе линчевателей, способен усмирить ее и заставить разойтись. Они могут спасти свою страну; мы заклинаем их вернуться и спасти ее. Мы просим их еще и еще раз перечитать телеграмму из Техаса, представить себе эту сцену и трезво поразмыслить над ней, потом помножить на 115, прибавить 88, поставить эти 203 человеческих факела в ряд так, чтобы вокруг каждого было по 600 квадратных футов свободного пространства, где могли бы разместиться 5000 зрителей, христиан-американцев – мужчин, женщин и детей, юношей и девушек. Для большего эффекта пусть они представят себе, что дело происходит ночью, на пологой, постепенно повышающейся равнине, так что столбы расположены по восходящей линии и глаз может охватить всю двадцатичетырехмильную цепь костров из пылающей человеческой плоти. (Если бы мы расположили эти костры на плоской местности, то не могли бы видеть конца цепи, ибо изгиб земной поверхности скрыл бы его от наших глаз.) И вот когда все будет готово, и спустится тьма, и воцарится внушительное молчание – не должно быть ни звука, если не считать жалобных стонов ночного ветра да приглушенных всхлипываний несчастных жертв, – пусть все уходящие вдаль, облитые керосином погребальные костры вспыхнут одновременно и пламя вместе с воплями предсмертной муки вознесется прямо к небу; к престолу всевышнего.

Зрителей собралось свыше миллиона человек, свет костров выхватывает из ночи неясные очертания шпилей пяти тысяч церквей. О добрый миссионер, о сострадательный миссионер, покинь Китай, вернись домой и обрати этих христиан!

Думается мне, что если что-либо и может остановить эту эпидемию кровавых безумий – так это бесстрашные люди, которые способны не дрогнув противостоять толпе; и поскольку люди такого рода выковываются только в атмосфере опасности, закаляясь в борьбе с нею, то, скорее всего, их можно встретить среди миссионеров, которые последний год или два подвизались в Китае. У нас для них непочатый край работы, дела хватит и еще для многих сотен и тысяч, и поле деятельности ширится с каждым днем. Найдем ли мы таких людей? Можно попытаться. Среди 75 миллионов американцев должны же найтись еще Мэриллы и Бэлоты, а по законам, которые мы сами изобрели, каждый пример будет пробуждать дотоле дремавших рыцарей одного с ними великого ордена и выдвигать их в первые ряды.

ЧЕЛОВЕКУ, ХОДЯЩЕМУ ВО ТЬМЕ

Из нью-йоркской газеты «Трибюн» в рождественский со-
ченьник:

«Народ в Соединенных Штатах встречает рождество испол-
ненный бодрости и надежд. Это свидетельствует о всеобщем
довольстве и счастье. Брюзга-критикан, который нет-нет да
заведет свою шарманку, вряд ли найдет себе слушателей.
Большинство людей только подивятся, откуда такой взялся, и
пройдут мимо».

Из газеты «Сан», Нью-Йорк:

«Задачей этой статьи не является описание страшных
преступлений против человечества, которые совершаются в
политических целях в некоторых кварталах Ист-Сайда, пользу-
ющихся наиболее дурной славой. Эти преступления нельзя
описать никаким пером. Единственная задача, которую автор
ставит перед собой, — это дать огромному числу более или менее
беспечных жителей прекрасного города Нью-Йорка некоторое
представление о том, как губят мужчин, женщин и детей в
самой густонаселенной и самой незнакомой им части этого
гиганта Нового Света. Если у кого-нибудь из читателей приве-
денный здесь материал вызовет недоверие или чувство незаслу-
женной обиды, то им могут быть предъявлены в подтверждение
даты, фамилии и адреса. Здесь зафиксированы факты и наблюде-
ния без выдумки и без прикрас.

Представьте себе, если можете, часть городской территории,
полностью находившуюся под властью одного лица, без разре-
шения которого нельзя вести никакое законное или незаконное
дело; где незаконные дела всячески поощряются, а законные
преследуются; где по вечерам почтенные граждане вынуждены
закрывать наглухо окна и двери своих жилищ и задышаться от
жары в душных комнатах, боясь выйти на крылечко дома, хотя
только там и можно глотнуть свежего воздуха; где голые
женщины пляшут по ночам на улицах, а бесполое мужчины, как
хищники, рыщут в темноте в поисках жертв своей профессии, —
профессии, которая не только не преследуется полицией, но,
наоборот, пользуется ее покровительством; где малые дети уже
знают, что такое проституция, и девочек с самого юного
возраста обучают искусству Фрины; где американские девушки,
взращенные в духе строгих правил американской семейной
жизни и вывезенные из маленьких городков в штатах Нью-
Йорк, Массачусетс, Коннектикут и Нью-Джерси, содержатся
совсем как в тюрьме, пока не утратят всякого подобия жен-
ственности; где мальчуганов с малолетства обучают приводить
«гостей» в публичные дома; где существует общество молодых
мужчин, единственным занятием которых является совращение

юных девушек и помещение их в дома терпимости; где человеку, идущему по улице со своей женой, бросают в лицо оскорбления; где в больницах и диспансерах лечатся главным образом дети, зараженные недетскими болезнями; где убийство, изнасилование, грабеж и воровство — как правило, а не как исключение — остаются безнаказанными, — короче говоря, где политические вороватилы извлекают прибыли из самых ужасных форм порока».

Та же газета «Сан» в канун рождества напечатала следующее сообщение из Китая (курсив мой. — *Марк Твен*).

«Его преподобие мистер Амент, представитель Американского бюро заграничных христианских миссий, вернулся из поездки, которую он предпринял с целью собрать контрибуцию за ущерб, нанесенный боксерами. *Куда бы он ни приехал, он всюду заставлял китайцев платить.* Мистер Амент заявляет, что в настоящее время все подведомственные ему местные христиане обеспечены. Его паства составляла 700 человек, и из этого числа 300 убито. *Мистер Амент взыскал по 300 таэлей за каждого погибшего и добился полного возмещения стоимости всего уничтоженного имущества христиан.* Вдобавок он наложил штраф, *в тринадцать раз превышающий сумму контрибуции. Эти деньги пойдут на распространение евангельского учения.*

Мистер Амент заявляет, что он получил *скромную* компенсацию, по сравнению с той, которая досталась католикам, взимающим, кроме денег, еще *жизнь за жизнь*. За каждого убитого католика требуют по 500 таэлей. В районе Вэньчжоу убито 680 католиков, и за это европейские католики, находящиеся здесь, требуют 750 000 связок монет и 680 *голов китайцев*.

В беседе мистер Амент коснулся отношения миссионеров к китайцам. Он сказал: «Я решительно отрицаю, что миссионеры *мстительны*, что они, *как правило*, грабили или делали *после осады* что-нибудь такое, *чего не требовали обстоятельства*. Лично я осуждаю американцев. *Мягкая рука американцев куда хуже, чем брошенный кулак немцев.* Если проявлять мягкость по отношению к китайцам, они этим воспользуются...»

Здесь восприняли как забавную шутку сообщение, что французское правительство собирается вернуть добро, награбленное его солдатами. Французские солдаты занимались грабежом еще более систематически, нежели немцы. Факты говорят о том, что сегодня, вооруженные современной техникой, *христиане католической веры* под флагом Франции *грабят селения* в провинции Чжили».

По счастливой случайности все эти радостные вести дошли до нас в сочельник — как раз вовремя, чтобы нам отпраздновать рождество с подобающим весельем и душевным подъемом.

Настроение у нас превосходное, мы даже находим уместным откалывать шутки вроде такой: куда ни кинь – все китайцу клин!

Преподобный Амент незаменим на своем посту. Мы требуем, чтобы наши миссионеры в чужих краях воплощали не только благость и милосердие, кротость и доброту, свойственные нашей религии, но также и подлинно американский дух. Первыми американцами были индейцы племени поуни. Вот что о них сообщает учебник истории Маколема:

«Когда белый боксер убивает человека из племени поуни и уничтожает его имущество, другие поуни даже не пытаются отыскать убийцу, а приканчивают первого встречного белого, потом они заставляют какую-нибудь деревню, заселенную белыми, возместить наследникам денежную стоимость убитого человека, а также всего уничтоженного имущества и вдобавок обязывают жителей внести сумму, *в тринадцать раз* превышающую эту стоимость, в фонд распространения религии поуни, которая, по мнению этого племени, лучше всех других религий смягчает людские сердца и внедряет гуманность.

Поуни не сомневаются в том, что заставлять невинных отвечать за виновных справедливо и честно и что лучше пусть девяносто девять невинных пострадают, нежели один виновный уйдет от наказания».

Не удивительно, что наш преподобный Амент завидует предприимчивым католикам, которые не только загребают большие деньги за каждую отданную богу душу крещеного туземца, но сверх того получают еще «жизнь за жизнь». Впрочем, он может утешиться тем, что католики целиком прикарманивают эти деньги, тогда как он, будучи менее эгоистичным, оставляет себе только по триста таэлей за человека, а огромную сумму, в тринадцать раз превышающую эту компенсацию, отдает на дело распространения евангельского учения. Своей щедростью мистер Амент заслужил всенародное признание, памятник ему обеспечен. Пусть же он удовлетворится этими наградами. Мы ценим мистера Амента за то, как мужественно он защищал своих собратьев-миссионеров от разных необоснованных нападков, начинавших уже тревожить нас. Теперь, после его свидетельства, эти нападки в значительной степени потеряли остроту, и мы можем думать о них без особого смущения. Ведь нам теперь известно, что даже до осады миссионеры, «как правило», не промышляли грабежом и что после осады они вели себя вполне благопристойно, за исключением тех случаев, когда «обстоятельства» вынуждали их поступать иначе. Я беру на себя хлопоты о памятнике. Пожертвования можно направлять в Американское бюро заграничных христианских миссий, а проекты – мне. Все проекты должны в аллегорической форме изображать возмещение потерь сам-

тринадцать, а также цель, ради которой эти деньги были взысканы. Памятник должен быть украшен орнаментом из шестисот восьмидесяти голов, расположенных в приятном, ласкающем глаз сочетании: ведь католики преуспели как нельзя лучше, и их деяния тоже необходимо увековечить. Можно присылать девизы, если найдутся такие, которые правильно выражают существо дела.

Заставив нищих крестьян расплачиваться за других, да еще в тринадцатикратном размере, мистер Амент обрек их вместе с женами и невинными младенцами на голод и медленную смерть. Но эти его подвиги на финансовом поприще, совершенные с целью получить кровавые деньги *для распространения евангельского учения*, не нарушают моего душевного равновесия, хотя такие слова в сочетании с такими делами представляют собой столь чудовищное, столь грандиозное кощунство, что равного ему не сыскать в истории. Если бы простой мирянин поступил так, как мистер Амент, оправдываясь теми же мотивами, я, конечно, содрогнулся бы от ужаса; или если бы я сам сотворил подобное под таким же предлогом... Впрочем, это немислимо, хотя некоторые плохо осведомленные люди и считают меня богохульником. Да, бывает, что священнослужитель ударяется в кощунство. И тогда простому мирянину за ним не угнаться!

Мы слышим страстные заверения мистера Амента, что миссионеры «не мстительны». Будем надеяться, что это так, и вознесем господу богу мольбу, чтоб они никогда не стали мстительными, а сохранили свою почти беззненную кротость, честность и любовь к справедливости — качества, доставляющие столько радости их собрату и заступнику.

А вот выдержка из статьи токийского корреспондента, тоже напечатанной в сочельник в нью-йоркской «Трибюн». Статья звучит несколько странно и дерзко, но ведь японцы пока лишь частично приобщились к Цивилизации! Когда они сделаются полностью цивилизованными, они перестанут говорить такие вещи.

«Вопрос о миссионерах, конечно, у всех на устах. Западным державам необходимо прислушаться к распространенному здесь мнению, что религиозные нашествия на страны Востока, совершаемые мощными западными организациями, равносильны разбойничьим набегам и не только не заслуживают поддержки, но должны самым строгим образом пресекаться. Здесь полагают, что организации миссионеров представляют собой постоянную угрозу для мирных международных отношений».

А теперь давайте решать. Будем ли мы по-прежнему осчастливливать нашей Цивилизацией народы, Ходящие во Тьме или дадим этим несчастным передохнуть? Будем ли мы и в новом веке оглушать мир нашей привычной святошеской трескотней или отрезвемся и сперва поразмыслим? Не благора-

зумнее ли собрать все орудия нашей Цивилизации и выяснить, сколько осталось на руках товаров в виде Стеклянных бус и Богословия, Пулеметов и Молитвенников, Виски и Факелов Прогресса и Просвещения (патентованных, автоматических, годных при случае для поджога деревень), а затем подвести баланс и подсчитать прибыли и убытки, чтобы решить уже с толком, продолжать ли эту коммерцию или лучше распродать имущество и на выручку от продажи затеять новое дело под маркой Цивилизации?

До сих пор оделять Дарами Цивилизации Братьев, Ходящих во Тьме было, в общем, выгодно, и даже теперь, если действовать осмотрительно, это предприятие может приносить барыши, но все же, по-моему, недостаточные для оправдания серьезного риска. Людей, Ходящих во Тьме становится все меньше, и уж очень они нас дичатся. Тьма же все редет и редет – для наших целей ей не хватает густоты. Большинство Людей, Ходящих во Тьме стало видеть теперь настолько яснее, чем прежде, что это уже не полезно *для* них и не выгодно *для* нас. Мы проявили недостаток благоразумия.

Трест «Дары Цивилизации» – предприятие первый сорт, если управлять им разумно и с толком. Он может принести куда больше денег, территории, власти и прочих благ, нежели любая из других азартных игр. Но за последние годы христианские государства ведут игру плохо, и, я думаю, это им даром не пройдет. Они с такой жадностью рвутся загрести все ставки на зеленом сукне, что Люди, Ходящие во Тьме заметили это – заметили и встревожились. Они стали относиться подозрительно к Дарам Цивилизации. Более того – они начали присматриваться к ним. А это не годится. Дары Цивилизации – славный, отменный товар; только нельзя разглядывать его на ярком свете. При слабом освещении, да еще если смотреть издали, Дары Цивилизации могут показаться Джентльменам, Ходящим во Тьме весьма привлекательными. Перечислим их:

Любовь

Справедливость

Кротость

Христианские чувства

Защита слабых

Трезвость

Законность и порядок

Свобода

Честные взаимоотношения

Равенство

Милосердие

Просвещение и тому подобное

Ну, что плохого? Просто великолепно, сэр! Любой идиот из самой непроглядной Тьмы придет в восторг от такого товара! Но уж давайте не путать разные сорта. На этом я категорически настаиваю. Сорт, о котором шла речь выше, по-видимому,

предназначается для экспорта. Но это одна видимость. Между нами говоря, этот товар вовсе не то, за что мы его выдаем. Между нами говоря, все вышеназванное – только обертка, яркая, красивая, заманчивая, и на ней изображены такие чудеса нашей Цивилизации, которые предназначаются для отечественного потребления. А вот под оберткой находится Подлинная Суть, и за нее Покупатель, Ходящий во Тьме платит слезами и кровью, землей и свободой. Именно эта Подлинная Суть и есть Цивилизация, предназначенная на экспорт. Отличаются ли эти сорта друг от друга? Да, в некоторых частностях разница есть.

Общеизвестно, что трест «Дары Цивилизации» трещит по всем швам. Причина ясна. Она заключается в том, что наш мистер Мак-Кинли и мистер Чемберлен, и кайзер, и царь, и французы начали экспортировать Подлинную Суть без обертки, в открытом виде. А это-то и портит всю игру. Это показывает, что новые игроки еще недостаточно овладели правилами.

Просто досадно видеть, как бездарно они делают один неправильный ход за другим. Мистер Чемберлен фабрикует войну из такого неубедительного, вздорного материала, что в ложах хватаются за голову, а на галерке смеются. При этом он изо всех сил старается убедить себя, что эта война не просто грабеж, что она все же таит в себе крупицу порядочности – правда, не видимую простым глазом – и что, вываляв в грязи английский флаг, он сумеет в конце концов отмыть его дочиста и этот флаг вновь засияет в поднебесье, как сиял тысячелетие, пока он сам не наложил на него свою нечистую лапу. Неумелая игра. Бездарная игра, потому что она позволяет Людям, Ходящим во Тьме обнаружить Подлинную Суть. И вот они говорят:

«Как, христиане напали на христиан? И всего-навсего из-за золота? Неужели это и есть великодушие, терпимость, любовь, кротость, милосердие, защита слабых – это странное демонстративное нападение слона на выводок полевых мышей, под предлогом, что мыши пискнули что-то для него оскорбительное, а такое поведение, по словам мистера Чемберлена, «ни одно уважающее себя правительство не может оставить безнаказанным»? Почему подобный предлог считается достаточным в отношении малого государства, если он оказался недостаточным в отношении Большого? Ведь совсем недавно Россия три раза подряд оскорбила слона и осталась жива и невредима. Значит, это и есть Цивилизация и Прогресс? Чем же это лучше того, что имеется у нас? Разве грабежи, пожары и опустошения в Трансваале – Прогресс по сравнению с нашей Тьмой? Может быть, существуют два сорта Цивилизации – один для отечественного потребления, а другой для экспорта на языческий рынок?»

Тревога овладевает Людями, Ходящими во Тьме, и они недоуменно качают головами, а тут им еще попадается выдержка из письма английского солдата, описывающего свои подвиги

ги в связи с одной из побед Мэтьюена, еще до битвы при Магерсфонтейне, и тревога их возрастает.

«Мы штурмом взяли высоту, — пишет солдат, — и спрыгнули в окопы. Буры поняли, что им не уйти. Они побросали ружья, упали на колени, подняли руки вверх и взмолились о пощаде. Уж тут-то мы им показали пощаду — *Длинной ложкой!*»

Длинная ложка означает штык. Загляните в лондонский «Еженедельник Ллойда». В том же номере — и в том же столбце — вы найдете другую заметку, полную возмущения и горьких сетований по поводу жестокости и бесчеловечности буров. Сколько в этом неосознанной иронии.

А тут, как на грех, в игру ввязался кайзер, не овладев предварительно ее тонкостями. Он потерял во время мятежа в Шаньдуне двух германских миссионеров и представил за них завышенный счет. Китай должен был уплатить по сто тысяч долларов за каждого, отдать территорию протяжением в двенадцать миль, стоимостью в двадцать миллионов долларов, с населением в несколько миллионов человек и, кроме того, воздвигнуть памятник и христианский храм, — точно народ Китая не запомнил бы этих миссионеров и без таких дорогостоящих сооружений! Нечего и говорить, это была скверная игра, потому что она не обманула, не могла обмануть и никогда не обманет Человека, Ходящего во Тьме. Ему ясно, что с него содрали лишнее. Он знает, что цена миссионеру, как и всякому смертному, определяется тем, сколько придется истратить на его замену. Большого он не стоит. Миссионер — человек полезный, но полезны также и врач, и шериф, и редактор; однако справедливый император не требует за них уплаты по военным ценам. Разумный, трудолюбивый, безвестный миссионер, как и разумный, трудолюбивый редактор провинциальной газеты, безусловно, стоит немало, но нельзя же за него требовать весь земной шар! Мы уважаем такого редактора, и нам жаль, когда мы его лишаемся, но все же территория в двенадцать миль, и храм, и целое состояние — это слишком высокая компенсация за подобную потерю; представим себе, что редактор был бы китаец и платить за него пришлось бы нам! Разве можно запрашивать такие деньги за редактора или миссионера, когда даже подержанные короли продаются куда дешевле! Итак, кайзер провел свою партию далеко не блестяще. Правда, он своего добился, *но его действия вызвали восстание в Китае*; бунт возмущенных китайских патриотов — «боксеров», на которых так много клеветают. В конце концов все это дорого обошлось и Германии, и другим Носителям прогресса и Даров Цивилизации.

Требования кайзера были удовлетворены, а все же игра была плохая, потому что она не могла не произвести дурного впечатления на Жителей Китая, Ходящих во Тьме. Эти события, очевидно, заставили их призадуматься и сказать:

«Цивилизация милостива и прекрасна — так мы слышали.

Только по карману ли она нам? Есть у нас богатые китайцы – может быть, им доступна такая роскошь; но ведь контрибуция наложена не на них, а на крестьян Шаньдуня; именно они должны выплатить эту огромную сумму при жалком заработке в четыре цента в день. Неужели такая Цивилизация лучше, чем наша, неужели она более священна, возвышенна и благородна? Неужели это не разбой, не вымогательство? Разве с Америки потребовала бы Германия двести тысяч долларов за двух миссионеров, разве стала бы потрясать бронированным кулаком перед ее носом и послала бы к американским берегам корабли с военным десантом?.. «Захватите двенадцать миль американской территории стоимостью в двадцать миллионов долларов как добавочную компенсацию за миссионеров и заставьте крестьян построить памятник миссионерам и богатый храм для увековечения их памяти!» – неужели Германия дала бы такой приказ своим войскам?.. «Шагай по Америке, режь и коли, *не щади никого*, пусть на тысячу лет вперед облик германца внушает Америке ужас, такой же, как внушали Европе страшные гунны! Шагай по Великой республике и убивай направо и налево! Огнем и мечом прокладывай через ее сердце и внутренности путь для нашей оскорбленной религии», – разве осмелилась бы Германия сказать такое своим солдатам?.. Разве поступила бы так Германия по отношению к Америке, Англии, Франции, России?.. Или так можно обращаться только с Китаем, по примеру слона, напавшего на полевых мышей? Так стоит ли нам вкладывать средства в эту Цивилизацию, которая прозвала Наполеона разбойником за то, что он вывез из Венеции бронзовых коней, а сама ворует с наших стен старинные астрономические приборы и бесстыдно занимается грабежом? Это относится ко всем иностранным солдатам (кроме американских), которые штурмуют деревни, терроризируют жителей и ежедневно шлют домой ликующим газетным редакциям телеграфные сводки такого содержания: «Потери китайцев – 450 человек убитыми; с нашей стороны *ранены один офицер и два солдата*. Завтра выступаем в поход против соседней деревни, где, как сообщают, началась резня». Скажите, по карману ли нам Цивилизация?»

Затем включается в игру Россия, – и тоже играет неумно. Раза два она оскорбляет Англию (Человек, Ходящий во Тьме видит это и мотает на ус); при моральной поддержке Франции и Германии она отнимает у Японии ее добычу, – захваченный Японией в борьбе и плавающий в китайской крови Порт-Артур (Человек, Ходящий во Тьме замечает это и тоже мотает на ус); далее она захватывает Маньчжурию, опустошает маньчжурские деревни, запружает многоводную реку распухшими трупами бесчисленных убитых крестьян (и это Человек, Ходящий во Тьме тоже мотает себе на ус). Возможно, он думает: «Вот *еще одно* цивилизованное государство со знаменем Христа в одной руке и с корзиной для награбленного и пожом мясника – в

другой. Неужели нет для нас иного выхода, как только принять Цивилизацию и опуститься до ее уровня?»

Но тут на сцену выходит Америка, и наш Главный Игрок играет нехорошо, точь-в-точь как мистер Чемберлен в Южной Африке. Это было ошибкой, причем такой, какой не ждали от Главного Игрока, столь хорошо игравшего на Кубе. Там он вел обычную, *американскую* игру и побеждал, потому что такая игра – беспроигрышная. По поводу Кубы наш Главный Игрок сказал: «Вот маленькая угнетенная нация, не имеющая друзей, но она полна решимости бороться за свою свободу. Мы готовы сделаться ее партнерами, мы обратим на ее поддержку мощь семидесяти миллионов сочувствующих американцев и ресурсы Соединенных Штатов. Играйте!» В этих условиях только все европейские страны, объединившись, могли бы помешать нам, но Европа не в состоянии объединиться ни по какому поводу. В вопросе Кубы президент Мак-Кинли следовал нашим великим традициям, и мы гордились своим Главным Игроком, и гордились тем недовольством, которое его игра вызвала в континентальной Европе. Движимый возвышенными чувствами, он произнес волнующие слова о том, что насильственная аннексия была бы «актом преступной агрессии»; и эти слова его тоже прозвучали как «выстрел на весь свет». Это благородное изречение переживает все другие его речи и поступки, если не считать того, что через год он начисто забыл свои слова и содержащуюся в них высокую истину.

Ибо возник соблазн Филиппин. Это был сильный, слишком сильный соблазн. И наш Игрок допустил грубую ошибку – повел игру по-европейски, по-чемберленовски. Жаль, весьма жаль, что он сделал такую серьезную, непоправимую ошибку. Именно там и тогда надо было вновь играть по-американски. И это бы ничего не стоило, зато принесло бы нам крупный и верный выигрыш, подлинное богатство, которое сохранилось бы навеки, передаваясь от поколения к поколению. Нет, не деньги, не территорию, не власть, а нечто куда более ценное, чем весь этот тлен; у нас было бы сознание того, что нация угнетенных, несчастных рабов стала свободной благодаря нам; наши потомки сохранили бы светлую память о благородных деяниях предков. Ход игры зависел от нас. Если бы мы вели ее по американским правилам, Дьюи убрался бы из Манилы, как только он уничтожил испанский флот. От него требовалось лишь одно: вывесить на берегу объявление, гарантирующее, что филиппинцы не нанесут ущерба имуществу и жизни иностранных граждан, и предупреждающее иностранные державы, что вмешательство в дела освобожденных патриотов будет рассматриваться как недружелюбный акт по отношению к Соединенным Штатам. Европейские державы не способны объединиться даже для дурного дела – никто не сорвал бы этого объявления.

Дьюи мог бы спокойно заниматься своими делами где-нибудь в другом месте, зная, что филиппинской армии под силу взять

измором маленький испанский гарнизон и выслать его потом за пределы своей страны. Филиппинцы установили бы у себя государственное управление по своему вкусу, что же касается католических монахов и их богатств, приобретенных сомнительными путями, то филиппинцы действовали бы в отношении их так, как им диктовали бы собственные понятия о справедливости и чести. Кстати, эти понятия на поверку оказались ничуть не хуже тех, что существуют в Европе и Америке.

Но мы играли по-чемберленовски и лишились возможности вписать в свои анналы еще одну Кубу, еще один «благородный» поступок.

И чем больше думаешь об этой ошибке, тем яснее становится, что она может испортить нам всю коммерцию. Ибо Человек, Ходящий во Тьме почти наверняка скажет:

«Странное это дело, странное и непонятное! По-видимому, существует две Америки: одна помогает пленнику освободиться, а другая отнимает у бывшего пленника завоеванную свободу, затевает с ним спор без всякого повода и затем убивает его, чтобы завладеть принадлежащей ему землей».

В сущности, Человек, Ходящий во Тьме уже говорит это, и ради пользы коммерции необходимо преподавать ему другие, более здравые взгляды на филиппинские события. Мы должны заставить его мыслить по нашей указке. Я считаю, что это вполне возможно, — ведь преподавал же Англии мистер Чемберлен готовые мысли по вопросу о Южной Африке, причем проделал он это ловко и успешно. Он преподнес англичанам факты — точнее, часть фактов — и разъяснил доверчивым людям их значение. И он оперировал цифрами — это очень хорошо. Он пользовался формулой: «Дважды два — четырнадцать, из десяти вычесть два будет тридцать пять». Цифры действуют неотразимо, с их помощью всегда можно убедить образованную публику.

Мой план еще смелее чемберленовского, хотя я не отрицаю, что я его копировал. Будем откровеннее, чем мистер Чемберлен, выложим все факты, не утаив ни одного, а затем разьясим их по методу Чемберлена. Наша поразительная откровенность ошеломит Человека, Ходящего во Тьме, и он примет наше разьяснение, прежде чем успеет опомниться. Скажем ему так:

«Все очень просто. Первого мая Дьюи уничтожил испанский флот. В результате Филиппинские острова остались в руках подлинного законного владельца — филиппинского народа. Армия филиппинцев насчитывала тридцать тысяч человек, и ей было вполне под силу уничтожить или взять измором небольшой испанский гарнизон; это позволило бы жителям Филиппин создать у себя правительство по собственному вкусу. Соблюдая нашу традицию, Дьюи должен был вывесить на берегу свое предупреждение державам и затем отбыть восвояси. Но наш Главный Игрок принял другой план, европейский план: высадить там армию, якобы с целью помочь филиппинским патриотам нанести последний удар в их долгой и мужественной

борьбе за независимость, а на самом деле — чтобы захватить их землю. Все это, разумеется, во имя Прогресса и Цивилизации. Операция развивалась планомерно и в общем успешно. Мы заключили военный союз с доверчивыми филиппинцами, и они осадили Манилу с суши, благодаря чему столица, где находился испанский гарнизон численностью в восемь—десять тысяч солдат, пала. Без филиппинцев мы тогда не добились бы этого. А оказать нам эту помощь мы их заставили хитростью. Мы знали, что филиппинцы уже два года ведут войну за свою независимость. Нам было известно, что они верят, будто мы сочувствуем их благородной цели, — подобно тому, как мы помогали кубинцам бороться за независимость Кубы, — и мы предоставили им заблуждаться. Но лишь до тех пор, пока Манила не стала нашей и мы не перестали нуждаться в помощи филиппинцев. Тогда-то мы и раскрыли свои карты. Они, конечно, удивились — удивились и разочаровались, разочаровались и глубоко опечалились. Они нашли, что мы поступили не по-американски, не как обычно, наперекор вековым традициям. Смущение их легко понять — ведь мы только притворялись, что играем на американский манер, по существу же это была европейская игра. Мы провели их так ловко, что они растерялись. Им все это было непонятно. Разве не вели мы себя по отношению к этим простодушным патриотам как подлинные друзья, исполненные глубокого сочувствия? Мы сами привезли из изгнания их вождя и героя, их надежду, их Вашингтона — Агинальдо. Мы доставили его на родину на военном корабле с высокими почестями, под священной защитой нашего флага; мы возвратили его народу, за что нас горячо, взволнованно благодарили. Да, мы вели себя как лучшие друзья филиппинцев, мы всячески их подбадривали, мы снабжали их в долг оружием и боеприпасами, совещались с ними, обменивались любезностями, поручали наших больных и раненых их заботливому уходу, доверяли им испанских пленных, зная, что филиппинцы честны и гуманны; боролись с ними плечом к плечу против «общего врага» (наше излюбленное словцо!); мы хвалили филиппинцев за отвагу и мужество, превозносили их милосердие и прекрасное благородное поведение; мы воспользовались их окопами, заняли укрепленные позиции, отвоеванные ими у испанцев, мы ласкали их, лгали им, официально заявляя, что наша армия и флот пришли освободить их и сбросить ненавистное испанское иго, — словом, одурачивали их, воспользовались ими, когда нам было нужно, а затем посмеялись над выжатым лимоном и вышвырнули его вон. Мы закрепились на позициях, отнятых обманном путем, и, продвигаясь постепенно вперед, вступили на территорию, где были расположены отряды филиппинских патриотов. Остроумно придумано, не правда ли? Ведь нам нужны были беспорядки, а такие действия не могли не вызвать их. Один филиппинский солдат проходил по территории, которую никто не имел права назвать запретной зоной, и

американский часовой застрелил его. Возмущенные патриоты схватились за оружие, не ожидая одобрения Агинальдо, который в это время отсутствовал. Агинальдо их не одобрил, но это не помогло. Нашей целью было – во имя Прогресса и Цивилизации – стать хозяевами Филиппинских островов, очищенных от борющихся за свою независимость патриотов, а для этого нужна была война. И мы воспользовались удобным случаем. Типичный чеemberленовский прием, – во всяком случае, цели и намерения были такие же, и провели мы игру не менее ловко».

В этом месте нашей откровенной беседы с Человеком, Ходящим во Тьме мы должны немного подсластить пилюлю ссылкой на Дары Цивилизации – для разнообразия и чтобы подбодрить его. Затем пойдем дальше:

«Когда мы сообща с филиппинскими патриотами заняли Манилу, Испания потеряла и право собственности на архипелаг, и суверенную власть над ним. От всего этого ровным счетом ничего не осталось, ни единой ниточки, ни мельчайшей крупинцы. И тут-то нас осенила божественно-забавная мысль: *откупить* у Испании оба эти призрака. (Ничего, давайте расскажем и это Человеку, Ходящему во Тьме; все равно он нам не поверит, как и всякий психически здоровый человек!) При покупке этих призраков за двадцать миллионов долларов мы дали обязательство опекать тамошних католических монахов со всем их добром. Кажется, мы также подрядились разводить там оспу и проказу; впрочем, наверняка не скажу. Да это и не существенно: людям, на которых обрушилось такое бедствие, как католические монахи, другие эпидемии не страшны.

После того как наш договор с Испанией был ратифицирован, Манила усмирена и «призраки» куплены, Агинальдо и все прочие законные владельцы Филиппинских островов стали нам больше не нужны. Тогда мы развязали военные действия и с тех пор охотимся за своим недавним гостем и союзником по всем лесам и болотам его страны».

В этом месте нашего рассказа уместно будет слегка похвастать нашей военной деятельностью, нашими подвигами на поле брани, дабы успехи англичан в Южной Африке не затмевали успехов Соединенных Штатов. Впрочем, особенно напирать на это не следует, рекомендую держаться осторожно. Разумеется, чтобы быть откровенными до конца, мы обязаны прочитать Человеку, Ходящему во Тьме телеграммы с театра военных действий, но не мешает сдобрить их некоторой долей юмора. Это поможет смягчить их мрачную выразительность и не совсем приличное проявление кровожадного торжества. Прежде чем прочесть Человеку заголовки из газет от 18 ноября 1900 года, попрактикуемся без свидетелей – нужно научиться придавать своему голосу веселенькие, игривые интонации.

«ПРАВИТЕЛЬСТВУ США НАДОЕЛИ ЗАТЯНУВШИЕСЯ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ», «ФИЛИППИНСКИЕ МЯТЕЖНИ-

КИ ДОЖДУТСЯ НАСТОЯЩЕЙ ВОЙНЫ», «БУДЕМ БЕСПОЩАДНЫ», «АМЕРИКА ПРИНИМАЕТ ПЛАН КИТЧЕНЕРА»

Китченер умеет приструнить несговорчивых людей, которые защищают свой домашний очаг и свою свободу! Мы, американцы, должны сделать вид, что мы только подражаем ему, а сами как государство в этом деле ничуть не заинтересованы и стремимся лишь понравиться Великой Семье Наций, в которую ввел нас Главный Игрок, купив нам местечко в заднем ряду.

Конечно, мы не смеем также обойти молчанием сводки генерала Макартура. Кстати, почему только не перестанут печатать такие неудобные для нас сообщения?! Придется читать их бойкой скороговоркой, а там была не была:

«За истекшие десять месяцев наши потери составили 268 человек убитыми и 750 ранеными; филиппинцы потеряли 3227 человек убитыми и 694 ранеными».

Мы должны быть наготове, чтобы не дать Человеку упасть, ибо от этого признания ему может стать дурно, и он простонет:

«Господи! Эти «черномазые» сохраняют жизнь раненым американцам, а американцы добивают раненых филиппинцев!»

Мы должны привести в чувство Человека, Ходящего во Тьме, а затем всеми правдами и неправдами убедить его, что в нашем мире все к лучшему и не нам судить о путях providения. Чтобы доказать ему, что мы не инициаторы, а только скромные подражатели, прочтем ему нижеследующую выдержку из письма одного американского солдата с Филиппин к своей матери, опубликованного в газете «Паблик опиньон» в городе Дакора, штат Айова. В нем описывается конец одного победоносного сражения:

«В живых мы не оставили ни одного. Раненых приканчивали на месте штыками».

Изложив Человеку, Ходящему во Тьме исторические факты, приведем его снова в чувство и разъясним ему все как надо. Скажем ему следующее:

«Факты, которые мы изложили, могут показаться вам сомнительными, но это не так. Да, мы лгали, но из высоких побуждений. Да, мы поступали вероломно, но лишь для того, чтобы из кажущегося зла родилось подлинное добро. Да, мы разгромили обманутый доверчивый народ; да, мы предали слабых, беззащитных людей, которые искали в нас опору; мы стерли с лица земли республику, основанную на принципах справедливости, разума и порядка; мы вонзили нож в спину союзнику и дали пощечину своему гостю; мы купили у врага призрак, который ему не принадлежал; мы силой отняли землю и свободу у верившего нам друга; мы заставили наших чистых юношей взять в руки опозоренное оружие и пойти на разбой

Мятежники! Это странное слово надо как-нибудь промямлить, чтобы Человек, Ходящий во Тьме не разобрал его! — *Прим. автора.*

под флагом, которого в былые времена разбойники боялись; мы запятнали честь Америки, и теперь весь мир смотрит на нас с презрением, — но все это было к лучшему. Для нас это совершенно ясно. Ведь руководители всех государств в христианском мире, равно как и девяносто процентов членов всех законодательных учреждений в христианских государствах, включая конгресс США и законодательные собрания всех пятидесяти наших штатов, являются не только верующими христианами, но также и акционерами треста «Дары Цивилизации». А такое всемирное объединение прописной морали, высокой принципиальности и справедливости не способно ни на что дурное, нечестное, грязное. Там знают, что делают. Успокойтесь, все в полном порядке!

Уж это обязательно убедит Человека, Ходящего во Тьме. Вот увидите. Дела снова пойдут в гору. А наш Главный Игрок водрузится на вакантное место третьей ипостаси в троице американских национальных богов. Веками будут они восседать у всех на виду на высоких престолах, каждый с эмблемой своих деяний: Вашингтон — с мечом освободителя, Линкольн — с разорванными оковами рабства и наш Главный Игрок — с оковами, вновь приведенными в исправность.

Увидите, как это оживит торговлю.

Условия нам благоприятствуют, все складывается так, как мы хотели. Мы захватили Филиппинские острова и уже не выпустим их из рук. У нас имеются также все основания надеяться, что в недалеком будущем мы сможем избавиться от обязательств, взятых по договору с Кубой, а Кубе дать что-нибудь другое, получше. Куба — богатая страна, и многие американцы уже смекнули, что заключить с ней договор было сентиментальной ошибкой. Но сейчас — именно сейчас — самое время заняться восстановлением нашей репутации: это поднимет наш престиж, придаст нам спокойствия, устранил кривотолки. От самих себя мы не скроем, что в глубине души нас тревожит честь американской армии. Мундир солдата — один из предметов нашей гордости, он связан с делами благородными и высокими, мы его уважаем и любим, и нам совсем не по душе та миссия, которую он в настоящее время выполняет. А наш флаг! Мы считали его святыней; и когда случалось увидеть его в далеких краях, реющим под чужим небом и посылающим нам свой привет и благословение, у нас захватывало дух и срывался от волнения голос; мы стояли обнажив голову и думали о том, какое значение имеет он для нас и какие великие идеалы представляет. Да, нам необходимо что-то предпринять, и это не так сложно. Заведем специальный флаг — ведь имеются же у наших штатов собственные флаги! Пусть останется старый флаг, только белые полосы на нем закрасим черным, а вместо звезд изобразим череп и кости.

И не нужна нам эта Гражданская комиссия на Филиппинах. Не облеченная никакими полномочиями, она должна их выду-

мывать, а такая работа не всякому по плечу – тут требуется специалист. Для этой цели можно уступить мистера Крокера. Мы хотим, чтобы там была представлена только Игра, а не Соединенные Штаты.

Благодаря всем этим мероприятиям на Филиппинах пышно расцветут Цивилизация и Прогресс; так мы одурачим Людей, Ходящих во Тьме, и у нас опять пойдет бойкая торговля на старом месте.

ДЕРВИШ И ДЕРЗКИЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Дервиш. Я готов твердить снова и снова, без конца твердить, что доброе дело...

Дерзкий незнакомец. Замолчи, близорукий человек! Добрых дел не бывает...

Дервиш. О наглый богохульник!

Дерзкий незнакомец. И злых дел тоже не бывает. Бывают только добрые намерения и злые намерения, вот и все. Половина добрых намерений в итоге приносит зло, половина дурных намерений приносит добро. Ни один человек не властен над результатами и не в состоянии предугадать их.

Дервиш. Иными словами...

Дерзкий незнакомец. Иными словами, хвали людей за их добрые намерения, но не ругай за дурные результаты; ругай людей за дурные намерения, но не хвали их за хорошие результаты!

Дервиш. О безумец! Значит, ты хочешь сказать...

Дерзкий незнакомец. Вот тебе закон: *каждое* намерение – доброе или злое – порождает два начала: одно здоровое, другое губительное. Этот закон не изменился с сотворения мира и не изменится до его последнего дня.

Дервиш. Значит, если б я в гневе поразил тебя насмерть...

Дерзкий незнакомец. Или убил бы меня тем лекарством, которым ты надеялся вылечить меня и восстановить мои силы...

Дервиш. Хорошо. Продолжай.

Дерзкий незнакомец. ... то в обоих случаях результат был бы одинаков. Вечные душевные муки для тебя – дурной результат; а для меня отдых, покой, конец страданиям – хороший результат. Разбились бы три преданных мне сердца, а три моих бедных родственника получили бы богатое наследство и возлюбили. Тебя посадили бы в тюрьму, и твои друзья горевали бы, но твой тихоня-помощник сел бы на твое место, зажил бы твоей сытой, беспечной жизнью и был бы очень доволен. И разве только это добро и только это зло явилось бы результатом доброго или злого намерения, послужившего причиной моей смерти? Глупец, не видящий дальше своего носа! Хорошие и дурные результаты любого поступка, даже самого

незначительного, живут и множатся на протяжении веков, постепенно опутывая земной шар, влияя на судьбу всех грядущих поколений до скончания века, до последнего катаклизма.

Дервиш. Значит, раз не бывает вовсе добрых дел...

Дерзкий незнакомец. Я же тебе толкую: существуют лишь *намерения* – добрые и злые! *Результаты* предугадать невозможно. В итоге непременно получается и дурное и хорошее. Вот слушай! Это из истории Дальнего Запада Соединенных Штатов.

Слышны голоса из штата Юта

I

Белый вождь (*обращаясь к белым людям*). Эта огромная равнина в прошлом была пустыней. С божьей помощью и собственным усердием мы запрудили реку, заставили ее воды работать на нас, превратили пустыню в цветущие поля, принесли достаток и счастье тысяче семейств, которые прежде знали лишь голод и нищету. Как прекрасна, как благодетельна Цивилизация!

II

Индейский вождь (*обращаясь к своему племени*). Эта огромная равнина, орошать которую наши отцы научились у испанских священников, была сплошным цветущим полем и приносила нашим людям достаток и счастье. Но белокожий американец запрудил нашу реку, отнял у нас воду и отвел ее на свои поля, а наши земли превратил в пустыню. Вот почему мы умираем с голоду.

Дервиш. Понимаю. Видимо, добрые намерения действительно породили здесь добро и зло в равной мере. Но все же единичный случай не подтверждает правила. Приведи еще примеры.

Дерзкий незнакомец. Прости, пожалуйста, *любые* факты подтверждают это правило! Колумб открыл Новый Свет и дал трудолюбивым безземельным беднякам Европы возможность обзавестись фермами, зажить в довольстве и счастье...

Дервиш. Хороший результат!

Дерзкий незнакомец. Но переселенцы принялись травить и преследовать исконных хозяев земли; они грабили их, превращали в нищих, стогнали с насиженных мест, истребляли целыми племенами.

Дервиш. Дурной результат, не спорю.

Дерзкий незнакомец. Французская революция разорила пять миллионов семейств, залила страну кровью, из богатой сделала ее бедной.

Дервиш. Дурной результат!

Дерзкий незнакомец. Но каждой крупницей великой, драгоценной свободы, которой пользуются сегодня народы континентальной Европы, они обязаны этой революции.

Дервиш. Признаю – результат оказался хорошим.

Дерзкий незнакомец. Вдохновленные благими намерениями поднять с помощью американского оружия филиппинский народ до нашего морального уровня, мы поскользнулись и пали куда ниже уровня филиппинцев.

Дервиш. Весьма дурной результат!

Дерзкий незнакомец. Но зато Соединенные Штаты превратились в мировую державу.

Дервиш. Позволь мне это еще обдумать. Пока продолжай.

Дерзкий незнакомец. Триста тысяч солдат и восемьсот миллионов долларов помогли Англии осуществить ее добрые намерения и приобщить к культуре упрямых буров. Англия сделала их чище, лучше и счастливее, чем они могли когда-нибудь стать собственными усилиями.

Дервиш. Уж это, несомненно, хороший результат!

Дерзкий незнакомец. Да, но из всего бурского народа осталось в живых одиннадцать человек.

Дервиш. Выходит дело, результат плохой. Но это я тоже должен обдумать, прежде чем прийти к окончательному выводу.

Дерзкий незнакомец. Вот тебе последний пример. С наилучшими намерениями христианские миссионеры уже восемьдесят лет трудятся в Китае.

Дервиш. И это дало тот дурной результат, что...

Дерзкий незнакомец. ...что почти сто тысяч китайцев приобщились к нашей Цивилизации.

Дервиш. А хороший результат сказался в том...

Дерзкий незнакомец. ...в том, что благодаря милости божьей четыреста миллионов китайцев убереглись от этой участи.

О ПАТРИОТИЗМЕ

В Америке, если вы выбираете себе религию согласно требованиям вашей совести, то вы нисколько не обязаны интересоваться, одобряет ваш выбор еще кто-то или нет.

В Австрии и некоторых других странах дело обстоит иначе. Там государство решает, какую вам исповедовать веру, сами вы тут права голоса не имеете.

Патриотизм – это та же религия: любовь к отчизне, верность ее флагу, готовность жертвовать собой за ее честь и процветание...

В абсолютных монархиях патриотизм в уже заготовленном виде поставляется подданным властью монарха; в Англии и Америке патриотизм в заготовленном виде поставляется гражданам газетами и политиками.

Такой газетами и политиками сфабрикованный патриот, втихомолку отплеываясь от того, что ему подсовывают, тем не менее это проглатывает и изо всех сил старается удержать в желудке. Блаженны кроткие.

Иногда в начале какой-нибудь жалкой бессмысленной политической пертурбации его так и подмывает возмутиться, но он этого не делает — он не такой дурак. Он знает, что на этом будет пойман тем, кто его сфабриковал, тем, кто сфабриковал его патриотизм, — непоследовательным, развязным младшим редактором той провинциальной газетки, которую он читает; и этот шестидолларовый младший редактор обольет его в печати грязью и назовет предателем. А ведь это ужасно! И патриот, дрожа, трусливо поджимает хвост. Мы знаем — читателю это прекрасно известно, — как два-три года тому назад девять десятых человеческих хвостов в Англии и Америке сделали именно такой жест. Иначе говоря, девять десятых патриотов в Англии и Америке оказались предателями из боязни, что их назовут предателями. Не правда разве? Вы же знаете, что правда. Курьезно, да?

Впрочем, никто не видел в этом ничего постыдного. Человек лишь редко, лишь крайне, крайне редко с успехом борется против того, что внушалось ему пропагандой, — слишком не равны силы. В течение многих лет, если не всегда, пропаганда в Англии и Америке наотрез отказывала человеку в праве на независимую политическую мысль и в штывы встречала такой патриотизм, который основан на его собственных концепциях, на доводах его рассудка, патриотизм, с честью прошедший через горнило его совести. И что же? В результате патриотизм был не более как залежалый товар, получаемый из вторых рук. Патриот не знал, когда и откуда взялись у него его взгляды, да его это и не трогало, коль скоро он был с теми, кто, по мнению, составлял большинство — ведь только это важно, надежно, удобно. Если вы полагаете, читатель, что среди ваших знакомых найдутся хоть трое, у которых действительно есть определенные доводы исповедовать патриотизм именно их толка, и они могут вам привести их, то вы заблуждаетесь. Вы скорее всего обнаружите, что знакомые ваши получили свой рацион патриотизма из общей кормушки и в приготовлении этой «пищи» участия не принимали.

Пропаганда способна творить чудеса. Она побудила американцев противиться Мексиканской войне, потом побудила их согласиться с тем, что было, по их мнению, мнением большинства (патриотизм большинства — привычный патриотизм!), и как ни в чем не бывало отправиться воевать. До Гражданской войны она заставляла Север мириться с рабовладением и сочувственно относиться к интересам рабовладельцев. В интересах рабовладельцев она заставила Массачусетс встать в оппозицию к федеральному флагу; видя в нем флаг раскольников, Массачусетс отказался водрузить его на здании своего капища-

лия. А потом постепенно пропаганда в этом штате дала крен в другую сторону, и массачусетцы в гневе устремились на Юг, чтоб сражаться под тем самым флагом против ранее охраняемых ими же интересов.

Пропаганда может сделать все. Ей подвластен любой взлет и любое падение. Безнравственное она превращает в нравственное, а нравственное может объявить безнравственным; она может разрушать принципы и воссоздавать их, может ангелов низводить до простых смертных и простых смертных возводить в ангелы. И любое из этих чудес сотворит вам в какой-нибудь год, даже полгода.

Но если так, то ведь она могла бы воспитать в людях способность создавать патриотизм самим, вынашивать его в голове и в сердце, строить по концепциям собственным, а не подсказанным. Могла бы воспитать людей такими, чтобы они не становились патриотами по приказу, подобно тому как австрийцы исповедуют свою религию.

В ЗАЩИТУ ГЕНЕРАЛА ФАНСТОНА

I

22 февраля. Сегодня — знаменательная дата. Ее настолько широко отмечают всюду на земном шаре, что из-за разницы в поясном времени получилась забавная штука с телеграммами, в которых воздаются почести нашему великому предку: хотя все они были отправлены почти в один час, иные из них оказывались вчерашними, а иные завтрашними.

В газетах мелькнуло упоминание о генерале Фанстоне.

Ни Вашингтон, ни Фанстон не были созданы в один день. Материал для их личности копился в течение долгого времени. Костяк сложился из врожденных склонностей человека — вечных, как скала, и не претерпевающих существенных изменений от колыбели до могилы. А моральная плоть (я имею в виду характер) наращивалась вокруг этого костяка и принимала определенную форму благодаря воспитанию, общению с людьми и жизненным обстоятельствам. Если костяк человека от рождения искривлен, то никакие влияния, никакие силы на свете его уже не выправят. Воспитание, общество и жизненные обстоятельства могут послужить ему подпорками, костылями, корсетом, они могут сжать его и втиснуть в красивую искусственную форму, которая сохраняется порой до последнего дня, обманывая не только окружающих, но даже и самого человека. Однако все тут искусственное, и стоит лишь убрать костыли и подпорки, как обнаружится врожденная кособокость.

Вашингтон не сам создавал костяк своей личности, а с ним родился, поэтому не его заслуга, что натура его представляла собой совершенство. Натура, и только она, заставляла Вашинг-

тона искать людей, близких ей по духу, и отдавать им предпочтение перед всеми другими; принимать влияния, которые ей нравились и казались достойными, и отталкивать или обходить стороной те, которые были ей не по вкусу. Час за часом, день за днем, год за годом она находилась под воздействием бесчисленных мельчайших влияний и автоматически притягивала и задерживала, как ртуть, все частицы золота, с презрением отбрасывая частицы пустой породы, игнорируя все неблагородное, что соседствует с золотом. У нее была врожденная тяга к благим и возвышенным влияниям, и она радушно принимала их и впитывала; у нее было врожденное отвращение ко всем дурным и грубым влияниям, и она уклонялась от них. Это она подбирала своему подопечному другу и товарищу, это она подбирала ему влияния, это она подбирала ему идеалы и из тщательно, кропотливо собранных материалов лепила его замечательный характер.

А мы воображаем, что это заслуга самого Вашингтона!

Мы считаем заслугой бога, что он — всеумудрый и всемогущий, и воздаем ему хвалу за это, но тут — совсем иное дело. Богу никто не помогал, он не получил своих качеств в дар при рождении, а создал их *самолично*. Вашингтон же *родился* с готовой натурой, натурой, которая была зодчим его характера, а характер в свою очередь был зодчим его великих дел. Если бы я родился с натурой Вашингтона, а он с моей, то весь ход истории был бы другим. Наше право — восхищаться великолепием солнца, красотой радуги и характером Вашингтона, но нет оснований восхвалять их за это, ибо не сами они породили источники своих достоинств: солнце — свой огонь, радуга — свет, преломляющийся в дождевых каплях, а отец нашей страны — свою натуру, чистую, разумную, добродетельную.

Так надо ли ценить такого человека, как Вашингтон, если мы не признаем его личной заслугой то, чем он был и что сделал? Обязательно надо, ибо ценность его неизмеримо велика. Благоприятные внешние влияния явились тем материалом, из которого натура Вашингтона вылепила его характер, подготовив его для славных дел. Предположим, что таких влияний не было бы, предположим, что он родился и вырос бы в воровском притоне, — тогда, без подходящего материала, не создался бы характер Вашингтона.

К счастью для нас, и для всего человечества, и для будущих веков, Вашингтон родился в таком месте, где нашлись подходящие влияния и общество, где оказалось возможным наделить его характер самыми прекрасными, возвышенными чертами и где благодаря удачному стечению обстоятельств перед ним открылось такое поприще, на котором он мог полностью проявить свои таланты.

Значит, великая ценность Вашингтона заключается в тех делах, которые он совершил при жизни? Нет, они имеют лишь второстепенное значение. Главная же ценность Вашингтона для

нас, и для всего человечества, и для будущих веков заключается в том, что он навсегда останется недостижимо высоким образцом *влияния*.

Мы складываемся — по кирпичику — из влияний, медленно, но неукоснительно наращиваемых вокруг остова нашей натуры. Только так формируется личность, иных путей нет. Любой мужчина, любая женщина, любой ребенок является источником каких-то влияний, не иссякающих ни на час, ни на минуту. Будь то полезные влияния или вредные, частица золота или частица пустой породы, — человеческий характер все время, непрерывно подвергается их действию. Сапожник способствует формированию характера двух десятков человек, имеющих с ним дело; карманный вор влияет на те пятьдесят человек, с которыми он входит в соприкосновение; у сельского священника таких объектов влияния наберется уже пятьсот; взломщик банковских сейфов оказывает воздействие на сотню своих дружков да еще тысячи на три людей, которых он в глаза не видел; старания известного филантропа и дары великодушного миллионера толкают на добрые дела и побуждают раскошелиться сто тысяч человек, совершенно им незнакомых, — влияя на окружающих, каждый из этих людей добавляет и свой кирпичик к кладке их характеров. Беспринципная газета ежедневно ускоряет нравственное разложение миллиона испорченных читателей; наоборот, газета с высокими принципами каждый день помогает миллиону других людей становиться лучше. Грабитель, быстро разбогатевший на махинациях с железными дорогами, на три поколения вперед снижает уровень коммерческих нравов целой нации. Такой человек, как Вашингтон, поднявшийся на самую высокую вершину мира, залитый немеркнущим светом и видимый отовсюду, служит для всех светлым, вдохновляющим примером; его влияние способствует совершенствованию восприимчивых к добру людей и целых народов как в Америке, так и за ее пределами; и срок этого влияния определяется не быстрой сменой поколений, а неторопливой поступью столетий.

Вашингтон был не только отцом нации, но также — что еще важнее — отцом патриотизма, патриотизма в самом высоком, в самом лучшем смысле этого слова; и такова была сила его влияния, что этот чудесный патриотизм оставался непомеркшим и незапятнанным целое столетие — без одного года, — и это длительное облагораживающее влияние заложило такие основы порядочности в нашем народе, что сегодня он уже отворачивается от чужеродного, импортированного патриотизма и обращает свои взоры к патриотизму, унаследованному его предками от Вашингтона, к единственному истинно американскому патриотизму, который выстоял девяносто девять лет и имеет все основания выстоять еще миллион лет. Сомнение в том, справедливо ли поступили Соединенные Штаты по отношению к Филиппинам, все сильнее разгорается в сердцах американцев; за сомнением последует уверенность. Народ скажет свое слово,

а воля народа — закон, иного властелина нет на нашей земле; и тогда мы исправим то зло, которое сотворили. Мы перестанем раболепно цепляться за мантии европейских коронованных захватчиков, и Америка делается опять, как прежде, подлинной мировой державой и самой главной из них всех. Если у нее, единственной, окажутся чистые руки, не замаранные порабощением беззащитного народа, если она отмоет их в патриотизме Вашингтона, — только тогда посмеет она без стыда предстать перед обожаемой Тенью и коснуться края ее одежд. Влияние Вашингтона создало Линкольна и других настоящих патриотов нашей республики; его влияние создало солдат, которые спасли Соединенные Штаты в годы Гражданской войны; и оно будет всегда служить нам защитой и путеводной звездой.

Как же должны мы поступить, когда судьба посылает нам Вашингтона, Линкольна, Гранта? Мы ведь знаем, что один яркий образец доброго влияния стоит больше, чем миллиард сомнительных, а значит — мы обязаны беречь это влияние, всеми силами поддерживать его неугасимый, чистый огонь всюду — в детской, в школе, в университете, в церкви, на страницах газет и даже в конгрессе, если только это возможно!

Потребовались врожденные склонности, чтобы возникла основа характера Вашингтона, затем потребовались благоприятные внешние влияния, подходящие обстоятельства и широкое поле деятельности, чтобы личность его приняла законченный вид. То же самое можно сказать о Фанстоне.

II

«Война позади» — так писали газеты в конце 1900 года. Месяц спустя было обнаружено горное убежище побежденного, затравленного, обессиленного, но все же не павшего духом вождя филиппинцев. Армии у него уже не было, республика больше не существовала, наиболее выдающиеся государственные деятели были высланы, генералы сошли в могилу или попали в плен. Память о его благородной мечте сохранится в веках и будет вдохновлять на подвиги более удачливых патриотов; но в тот момент эта мечта была мертва и казалась невоскресимой, хотя сам Агинальдо не мог в это поверить.

И вот его поймали. Об обстоятельствах этого дела сочувственно рассказывает Эдвин Уайлдмен в своей книге «Агинальдо». Уайлдмен заслуживает доверия, ибо он правильно суммирует сделанные в свое время генералом Фанстоном добровольные признания. Цитирую (курсив мой):

«Вплоть до февраля 1901 года место, где скрывался Агинальдо, не могли обнаружить. Ключ к тайне дало письмо Агинальдо, в котором он приказывал своему двоюродному брату Бальдоме-ро Агинальдо прислать ему четыре сотни вооруженных людей.

Проводником этого отряда Агинальдо назначил того человека, которому было поручено доставить письмо. Приказ был зашифрован, но среди трофеев, захваченных в разное время, оказался код повстанцев. Гонцу внушили новое понятие о его долге (какими средствами – об этом история умалчивает!), и он согласился провести американцев в убежище Агинальдо. Перед генералом Фанстоном открывалась возможность приключений, ни в чем не уступающих тем, о которых пишут в грошовых бульварных романах. Именно такая сногшибательная авантюра была ему по сердцу. Разумеется, не принято, чтобы бригадный генерал покидал свой высокий пост и превращался в разведчика, но Фанстон славился настойчивостью. Он разработал план поимки Агинальдо и обратился к генералу Макартуру за разрешением действовать. Отказать в чем-нибудь этому дерзкому смельчаку, герою Рио-Гранде, было невозможно; и вот Фанстон приступил к делу, начав с изучения своеобразного почерка Лакуны, повстанческого офицера, о котором шла речь в письме Агинальдо. У Фанстона имелось несколько писем Лакуны, перехваченных незадолго до того вместе с кодом филиппинцев. Научившись в совершенстве подделывать почерк Лакуны, Фанстон написал два письма Агинальдо, якобы от имени этого филиппинца, – одно 24-го и другое – 28 февраля, – в которых он сообщил, что в соответствии с приказом он (Лакуна) посылает вождю часть самых отборных своих войск. Не ограничившись этой подделкой, Фанстон заставил одного бывшего повстанца, а ныне своего подчиненного, написать под диктовку, как бы от собственного имени, письмо к Агинальдо, в котором сообщал, что по дороге отряд внезапным налетом захватил группу американцев и взял в плен пятерых, которых он ведет к Агинальдо, ввиду их особой важности. Это было сделано для того, чтобы объяснить наличие в отряде пяти американцев: генерала Фанстона, капитана Хазарда, капитана Ньютона, лейтенанта Хазарда и адъютанта генерала Фанстона – лейтенанта Китчела.

Ядро фанстонского отряда составили семьдесят восемь человек из племени макабебов, исконных врагов племени тегалогов. Эти смелые, воинственные туземцы охотно приняли участие в осуществлении намеченного плана. В отряд вошли также три тегалого и один испанец. Макабебов одели в старые повстанческие мундиры, американцы же нарядились в поношенную солдатскую форму. Каждый получил винтовку и паек на трое суток. Храбрые искатели приключений отплыли на судне «Виксберг», с тем чтобы сойти на берег где-нибудь вблизи Паланана, где скрывался Агинальдо. Их высадили у Касиньяна, недалеко от тайной столицы повстанцев. Трех макабебов, свободно изъяснявшихся на языке тегалогов, послали в город с поручением сообщить туземцам, что они ведут к Агинальдо подкрепление, а также важных американских пленников, и потребовать у местных властей содействия и, в частности,

проводников. Вожь повстанцев дал согласие, и скоро отряд, подкрепившись и продемонстрировав американских пленных, начал девяностомильный переход к Паланану, лежавшему в прибрежном горном районе провинции Изабелла. По крутым подъемам и каменистым спускам, сквозь густые джунгли, вброд через горные речки и по узким тропинкам, с трудом ступая израненными ногами, брели измученные искатели приключений, пока не иссяк у них запас продовольствия и они не ослабели до такой степени, что *не могли больше двигаться*, хотя до убежища Агинальдо оставалось всего лишь восемь миль. Тогда к Агинальдо был направлен гонец — уведомить его о местонахождении отряда и *попросить продовольствия*. Вожь повстанцев не замедлил откликнуться: он прислал рису, а также письмо командиру отряда, в котором приказывал хорошо обращаться с пленными американцами, но оставить их за пределами города. Мог ли даже сам изобретательный Фанстон создать более удачные условия для выполнения своего плана! 23 марта отряд достиг Паланана. Агинальдо выслал навстречу одиннадцать своих солдат для конвоирования американских пленных, но Фанстон и его подручные сумели спрятаться в джунглях, и конвоиры прошли дальше, так как им сказали, что американцы оставлены где-то позади.

Фанстон тут же вернулся в отряд и приказал своим головорезам смело идти в город, прямо к штабу Агинальдо. Здесь их встретили выстроенные, как на параде, телохранители Агинальдо в синей военной форме и белых шляпах. Оратор, выступивший от имени прибывших, так хитро провел Агинальдо, что тот не заподозрил никакого подвоха. Тем временем макабебы под командованием испанца заняли выгодные позиции и ждали сигнала. Как только испанец крикнул им: «Макабебы, ваш черед!» — они стали в упор расстреливать охрану Агинальдо.

Американцы тоже приняли участие в схватке. Два человека из штаба Агинальдо были ранены, но скрылись, а казначей революционного правительства сдался. Остальные филиппинские офицеры бежали. Агинальдо с покорностью принял плен, сильно опасаясь, однако, мести макабебов. Но генерал Фанстон заверил его, что он может чувствовать себя в безопасности. Это успокоило Агинальдо, и он согласился разговаривать. Он был чрезвычайно удручен тем, что попал в плен, и заявил, что *ни при каких других обстоятельствах* его не взяли бы живым. Эти слова придают еще больше значения подвигу Фанстона: борьба с Агинальдо была трудной, отчаянной и требовала применения особых методов».

Некоторые обычаи войны гражданскому человеку не кажутся приятными, но нас приучали к ним столько веков, что мы теперь находим для них оправдание и принимаем без протеста даже такое, от чего на сердце скребут кошки. Все, что сделал Фанстон, кроме одной мелочи, делалось во многих войнах и

получило санкцию истории. По обычаю войн, в интересах операции, вроде той, какая была затеяна Фанстоном, бригадному генералу дозволяется (если ему это самому не противно!) склонить гонца на предательство — с помощью подкупа или иным путем; снять с себя почетные знаки различия и выдавать себя за другого; лгать, совершать вероломные поступки, подделывать подписи, окружать себя людьми, чьи инстинкты и воспитание подготовили их для подобной деятельности; принимать любезные приветствия и убивать приветствующих, когда руки их еще хранят тепло дружеских пожатий.

По обычаю войн, все эти действия считаются невинными, ни одно из них не заслуживает порицания, все они вполне оправданны; ничего тут нет нового, все это совершалось и раньше, хоть и не бригадными генералами. Но одна деталь здесь действительно представляет собой нечто новое, одного не делали никакие народы — ни первобытные, ни цивилизованные — ни в каких странах и ни в какую эпоху. Речь идет именно о той детали, которую имел в виду Агинальдо, когда сказал, что *«ни при каких других обстоятельствах»* его не взяли бы живым. Когда человек так ослабел от голода, что «не может больше двигаться», он вправе умолять своего врага спасти его жизнь, но уж если он отведал поднесенной пищи, то эта пища становится для него священной, по закону всех времен и народов, и спасенный от голода *не имеет тогда права поднять руку на своего врага.*

Понадобился бригадный генерал волонтерских войск американской армии, чтоб опозорить традицию, которую уважали даже лишенные стыда и совести испанские монахи. *За это мы повесили его в чине.*

Наш президент, ничего не подозревая, протянул руку своему убийце, в момент когда тот выстрелил. Весь мир был поражен этим гнусным делом, оно вызвало много толков и печальных размышлений, заставило людей краснеть и говорить, что это убийство запятнало и опозорило человечество. Тем не менее, каким бы скверным ни был тот человек, он все-таки не обращался к президенту с мольбой поддержать его тающие силы, необходимые ему для совершения предательства, он не поднял руку на благодетеля, только что спасшего ему жизнь.

14 апреля. Я уезжал на несколько недель в Вест-Индию. Теперь я снова приступаю к защите генерала Фанстона.

Мне сдается, что рассказ генерала Фанстона о том, как он взят в плен Агинальдо, нуждается в поправках. При всем моем почтении к генералу я считаю, что в своих речах на званых обедах он расписывает собственный героизм слишком щедрыми красками (если я ошибаюсь, прошу меня поправить). Он храбрый человек, даже его злейший враг с готовностью это подтвердит. Можно только пожалеть, что в данном случае

храбрости вовсе не требовалось; никто не сомневается, что у Фанстона нашлось бы ее достаточно. Однако из его собственных реляций явствует, что ему угрожала лишь одна опасность — голодная смерть. Фанстона и его людей надежно прикрывали опозоренные военные мундиры — американские и филиппинские; по численности группа Фанстона значительно превосходила личную охрану Агинальдо, своими подлогами и вероломством Фанстон сумел усыпить подозрения, — его ждали, ему указывали дорогу; его маршрут пролегал по безлюдным местам, где отряду едва ли грозило вражеское нападение; Фанстон и его люди были отлично вооружены, и их задачей было захватить свою добычу врасплох, в тот момент, когда филиппинцы выйдут им навстречу с радушной улыбкой, с дружески протянутой рукой. Все, что им оставалось тогда, — это пристрелить любезных хозяев. Именно так они и поступили. Подобная плата за гостеприимство считается последним словом современной цивилизации и у многих вызывает восхищение.

«Оратор, выступивший от имени прибывших, так хитро провел Агинальдо, что тот не заподозрил никакого подвоха. Тем временем макабебы под командованием испанца заняли выгодные позиции и ждали сигнала. Как только испанец крикнул им: «Макабебы, ваш черед!» — они стали в упор расстреливать охрану Агинальдо».

(Уже цитированное место из книги Уайлдмена.)

В том, что своими подлогами и вероломством Фанстон действительно сумел усыпить подозрения филиппинцев и застигнуть их врасплох, легче всего убедиться из нижеследующего юмористического описания этого эпизода в одной из захватских речей Фанстона (как раз по поводу этой речи Фанстон вообразил, будто президент желает видеть ее напечатанной в газетах. Но это только померещилось кому-то — вероятно, репортеру).

Вот что рассказывает генерал:

«Макабебы дали залп по этим людям и двоих убили на месте. Остальные отступили, отстреливаясь на бегу; и я должен сказать, что они отступили так проворно и энергично, что бросили восемнадцать винтовок и тысячу патронов.

Сигизмондо побежал в дом, выхватил револьвер и предложил повстанческим офицерам сдаться. Все они вскинули руки вверх, за исключением Вильи, начальника штаба Агинальдо, — тот имел при себе новомодный маузер, и ему захотелось

Как заявил Фанстон на банкете в клубе «Лотос», у него было восемьдесят девять человек, а в охране Агинальдо сорок восемь. — *Прим. автора.*

испробовать эту штуку. Но не успел он вытащить свой маузер из кобуры, как сам получил две пули, — Сигизмондо был тоже неплохой стрелок.

Аламбра был ранен в лицо. Он выскочил из окна — дом, между прочим, стоял у самой реки, — выскочил из окна и бросился прямо в воду с берега высотой в двадцать пять футов. Он улизнул от нас, переплыл реку и скрылся, а через пять месяцев сам сдался в плен.

Вилья, с простреленным плечом, выпрыгнул из окна вслед за Аламброй и тоже кинулся в реку, но макабебы увидели это, побежали к берегу и выудили его. Они подгоняли его пинками всю дорогу вверх на берег и спрашивали, как ему это нравится. *(Смех в зале.)*»

Хотя в ту минуту фанстонские головорезы, безусловно, не подвергались опасности, тем не менее был такой момент, когда опасность действительно возникла: им грозила смерть столь ужасная, что по сравнению с ней быстрая гибель от пули, топора или сабли, на виселице, в воде или огне может показаться милостью; столь ужасная, что ей неоспоримо принадлежит первое место среди самых страшных человеческих мук, — я говорю про смерть от голода. Агинальдо спас их от такого конца.

Изложив эти факты, переходим к вопросу: виноват ли Фанстон? Я считаю, что нет. И поэтому, на мой взгляд, дело Фанстона непомерно раздули. Ведь не сам же Фанстон создал свою натуру. Он с ней родился! Она, то есть натура, подбирала ему идеалы, он тут ни при чем. Она подбирала ему общество и товарищей по своему вкусу и заставляла его водить компанию только с ними, а всех остальных отвергать. Противиться этому Фанстон не мог. Она восхищалась всем, что претило Джорджу Вашингтону, радушно принимая и пригревая на груди все то, что Вашингтон одним пинком вышвырнул бы вон, но только она всему виной, а вовсе не Фанстон. Его натуру всегда тянуло к моральному шлаку, как натуру Вашингтона — к моральному золоту, но и здесь тоже была виновата она, а не Фанстон! Если она и обладала нравственным оком, то это око не отличало черное от белого; но при чем здесь Фанстон, можно ли винить его за последствия? Она имела врожденную склонность к гнусному поведению, но было бы в высшей степени несправедливо порицать за это Фанстона, как неправильно ставить генералу в вину, что его совесть испарилась сквозь поры его тела, когда он был еще маленьким, — удержать ее он не мог, да все равно совесть у него не выросла бы! Натура Фанстона могла сказать противнику: «Пожалей меня, я гибну от голода, я так ослабел, что не могу двигаться, дай мне поесть! Я — твой друг, твой брат-филиппинец, такой же патриот, как и ты, и так же борюсь за свободу нашей дорогой отчизны. Сжался — накорми

меня и спаси, больше неоткуда ждать мне помощи!» И ее марионетка Фанстон смог подкрепиться полученной пищей и вслед за тем застрелить своего спасителя — застрелить в момент, когда тот протягивал ему руку для приветствия, как наш президент. И все же, если это было предательством и низостью, в этом виноват не Фанстон, а его натура. Она одарена превосходным чувством юмора, и публика на банкетах умирает от смеха, когда она рассказывает тот или иной комический эпизод. Стоит, например, перечитать дважды, а может быть, и несколько раз эти строки:

«Сигизмондо побежал в дом, выхватил револьвер и предложил повстанческим офицерам сдаться. Все они вскинули руки вверх, за исключением Вильи, начальника штаба Агинальдо, — тот имел при себе новомодный маузер, и ему захотелось испробовать эту штуку. Но не успел он вытащить свой маузер из кобуры, как сам получил две пули, — Сигизмондо был тоже неплохой стрелок.

Аламбра был ранен в лицо. Он выскочил из окна, — дом, между прочим, стоял у самой реки, — выскочил из окна и бросился прямо в воду с берега высотой в двадцать пять футов. Он улизнул от нас, переплыл реку и скрылся, а через пять месяцев сам сдался в плен.

Вилья, с простреленным плечом, выпрыгнул из окна вслед за Аламброй и тоже кинулся в реку, но макабебы увидели это, побежали к берегу и выудили его. Они подгоняли его пинками всю дорогу вверх на берег и спрашивали, как ему это нравится. *(Смех в зале.)*»

А ведь это же был раненый человек! Впрочем, все это говорит не Фанстон, а его натура. С молодым задором она наблюдала, как гибнут простодушные люди, откликнувшиеся на ее зов, когда она, теряя силы, молила о пище. Без сожаления она читала укор в их гаснущем взгляде; но будем справедливы — это все-таки была она, а не Фанстон! Она уполномочила действовать за себя генерала Фанстона, своего верного слугу от рождения; прикрывшись формой американского солдата и шествуя под сенью американского флага, она творила свое черное дело, показывая пример чудовищной неблагодарности и вероломства. И вот теперь она возвращается домой учить наших детей ПАТРИОТИЗМУ! Уж ей ли не знать, что это такое?!

Мне ясно, и, думается, это ясно всем: нельзя винить генерала Фанстона за то, что он делал и делает, за то, что думает и говорит.

Итак, Фанстон перед нами; он существует, и мы за него отвечаем. Встает вопрос, что нам с ним делать, как бороться с

этой катастрофой? Мы знаем, как обстояло дело с Джорджем Вашингтоном. Он стал великим образцом для всех времен и для всего человечества, ибо имя его и дела его известны всему миру; они вызывали, вызывают и будут всегда вызывать у людей восторг и тягу к подражанию. В данном же случае человечеству надо поступить иначе: вывернуть преступную славу Фанстона с позолоченной стороны наизнанку и раскрыть истинную черную суть ее перед молодежью нашей страны. В противном случае генерал тоже станет для молодого поколения образцом, кумиром, и – к нашей величайшей скорби – уродливый патриотизм фанстонского толка начнет соревноваться с патриотизмом Вашингтона. Собственно говоря, такое соревнование уже началось. Этому трудно поверить, но ведь факт, что находятся учителя и директора школ, которые преподносят Фанстона детям как образец героя и патриота.

Если этот фанстонский «бум» не прекратится, то он скажется и на армии. Впрочем, и это уже наблюдается. Во всех армиях есть неумные, морально неустойчивые офицеры, которые всегда готовы усердно копировать любые методы – и достойные и недостойные, – лишь бы добиться славы. Людям такого рода достаточно услышать, что Фанстон приобрел известность, поразив весь мир новой чудовищной выдумкой, и они рады следовать его примеру, а при первом удобном случае попытаются даже перешеголять его. Фанстон имеет уже немало подражателей: история Соединенных Штатов обогатилась множеством отвратительных фактов. Вспомним, например, о страшных пытках водой, которым подвергали филиппинцев, чтобы вынудить у них признания, – только какие, правдивые или ложные? Кто знает? Под пыткой человек может сказать все, что от него требуют, – и правду и ложь; показания его не представляют никакой ценности. Однако на основе именно таких показаний действовали американские офицеры... Впрочем, вы сами знаете о всех тех зверствах, которые наше военное министерство скрывало от нас год или два, и о прогремевшем на весь мир приказе генерала Смита проводить *массовую резню* на Филиппинах; содержание приказа было передано печатью на основе показаний майора Уоллера:

«Жгите и убивайте, теперь не время брать в плен. Чем больше вы убьете и сожжете, тем лучше. Убивайте всех, кто старше десятилетнего возраста. Превратите Самар в голую пустыню».

Вот видите, что показал пример Фанстона за такой короткий срок – даже до того, как он показал этот пример. Он продвинул нашу Цивилизацию далеко вперед, по меньшей мере настолько, насколько Европа продвинула ее в Китае. Несомненно также и

то, что пример Фанстона позволил Америке (да и Англии) копировать ужасы усмирительной деятельности Вейлера. А ведь раньше и Англия и Америка с ханжеской ухмылкой, задрав к небу свои святошеские носы, называли Вейлера «чудовищем». А страшное землетрясение в Кракатау, уничтожившее остров с двумя миллионами жителей... впрочем, пример Фанстона тут ни при чем: я вспомнил, что тогда его еще на свете не было.

И все-таки я считаю виновным во всем только натуру Фанстона, но не его самого. Скажу в заключение, что я защищал его по мере сил, и не так уж это было трудно. Думаю, что я рассеял все предубеждения против Фанстона и окончательно его реабилитировал. Но вот натуру его я никак не мог обелить – это не в моей власти. И не во власти Фанстона или кого бы то ни было. Как я доказал, нельзя винить Фанстона за его отвратительный поступок; при известном старании я мог бы также доказать, что не его вина, если Америка продолжает держать в неволе человека, незаконным путем захваченного в плен Фанстоном, человека, на которого у нас не больше прав, чем у вора на украденные деньги. Он должен получить свободу. Будь он монархом какой-нибудь большой державы или экспрезидентом Соединенных Штатов, а не бывшим президентом раздавленной и уничтоженной маленькой республики, Цивилизация (с большой буквы!) не прекращала бы критики и шумного протеста, пока он не получил бы свободы.

Р. S. 16 апреля. Сегодня утром президент выступил с речью, и тон этой речи не оставляет никаких сомнений. Это речь президента, произнесенная не от имени какой-то партии, а от имени народа, и всем нам она понравилась – и предателям, и прочим гражданам. Думаю, что я имею право выступать от имени «предателей», ибо уверен, что они разделяют мои чувства. Объясню: кличку предателей мы получили от фанстонских патриотов бесплатно. Они всегда делают нам такие комплименты. Ох, и любят же эти молодчики льстить!

ДОБРОЕ СЛОВО САТАНЫ

От редакции журнала «Харперс уикли»: «Мы имеем основания полагать, что автором публикуемого ниже письма за подписью Сатаны на самом деле является Марк Твен».

Редактору журнала «Харперс уикли».

Дорогой сэр и родственник!

Давайте раз и навсегда прекратим этот пустой разговор. Американское Бюро заграничных христианских миссий ежегодно принимает пожертвования от меня, чего же ради ему отказываться от пожертвований мистера Рокфеллера? Всегда, во все века, три четверти деяний на благотворительные цели

составляли «совестные деньги», в чем легко убедиться, обратившись к моим счетным книгам. Это определение можно с успехом применить и к дару мистера Рокфеллера. Вся лавочка Американского Бюро финансируется главным образом из могил. Посмертные дары, если угодно. «Совестные деньги» – признание старых преступлений и сознательное совершение новых: ибо когда покойник занимается благотворительностью, он тем самым грабит своих наследников. Так неужели миссионеры отвергают дары только потому, что жертвователи повинны в старых или новых преступлениях, а чаще всего – и в тех и других?

С вашего разрешения, я продолжу. Обвинение, которое наиболее упорно, злобно и безжалостно выдвигают против мистера Рокфеллера, заключается в том, что его пожертвования навеки, несмываемо запятнаны клятвопреступлением, доказанным разными судебными инстанциями. В моих владениях такое обвинение вызывает у всех улыбку! Ведь в вашем гигантском городе не найдется ни одного богатого человека, который не совершал бы клятвопреступлений каждый год, когда наступает срок платить налоги. Все они с головы до ног покрыты в десять слоев ложью, закованы, так сказать, в прочную броню лжи. Если найдется хоть один богач, не повинный в этом, то я охотно куплю его для своего музея редкостей и уплачу за него, как за динозавра. Вы скажете, что усматриваете в действиях этих богачей не нарушение закона, а лишь ежегодные попытки обойти закон? Что ж, если вам это приятно, можете тешиться тонкостями терминологии, но только до поры до времени! А вот когда вы переключаете в мои владения, тогда я покажу вам нечто крайне любопытное: весь ад битком набит джентльменами, которые пытались обойти закон! Какому-нибудь откровенному правонарушителю нет-нет и удастся проскользнуть в рай, но господа, действующие в обход закона, – эти все достаются мне.

Однако вернемся к нашим баранам. Напомню вам, что мои миллионеры-мошенники весьма часто жертвуют деньги в пользу Американского Бюро заграничных христианских миссий, а ведь это деньги, украденные у государства, причитавшиеся ему в уплату налогов – то есть деньги греховные, дьявольские, мои. Вот и выходит, что это – мой дар; иными словами, мое заявление правильно: раз Бюро заграничных христианских миссий каждый день принимает мои пожертвования, чего ради ему отвергать пожертвования мистера Рокфеллера?! Ведь Рокфеллер – что бы там ни говорили разные суды – ничуть не хуже, чем я!

Сатана

НАЛОГИ И МОРАЛЬ

Именно благодаря привычкам, о которых говорил здесь мистер Чоуэт, мне удалось остаться молодым до семидесяти лет. Сегодня я весь день провалялся в постели, намереваюсь так же провести завтрашний день, да и вообще весь год. Где еще, как не в постели, делать работу, которую считаешь удовольствием, — в ней так удобно, так хорошо. Мистер Чоуэт мудро воздержался от комплиментов в мой адрес. И не потому, что не хотел меня хвалить — просто не нашел, за что.

Я прибыл сюда с ответственной миссией — быть надзирателем над мистером Чоуэтом. Причина сегодняшнего собрания серьезна и важна, и я счел свое присутствие необходимым: если ему придет в голову сделать заявление, которое потребует подправить, сократить, опровергнуть или разоблачить, тут-то рядом и окажется испытанный друг общества, способный защитить собравшихся и навести порядок. Но со всей откровенностью — и удовольствием — должен признать, что ничего подобного сказано не было. Все, что произнес здесь мистер Чоуэт, ничуть не уступает в достоверности тому, что говорю я. Более достойного человека я еще не встречал. Я вовсе не завидую, сердце мое преисполнено благодарности — благодарности и гордости — по отношению к стране, способной произвести на свет таких людей. Двух таких людей, да еще в одном и том же веке! Мы не будем с вами вечно, мы уходим; вот уйдем, и тогда... Что ж, тогда, я думаю, всему конец. Грустно сознавать это. Но я останусь жить в ваших душах. Чоуэт тоже — если сумеет.

Итак, коль скоро объяснять, опровергать и уточнять ничего не нужно, мне остается лишь перейти к самому привычному для меня занятию — поучать. В Таскиги от студентов требуют глубокого постижения кодекса христианской морали, до сознания их доводят неоспоримую истину, что из всех систем морали эта — высшая и лучшая. Им внушают, что величие Америки, ее сила и репутация среди других народов — продукт именно этой системы. Именно она является основой американского национального характера, все лучшее в американцах, достойное восхваления и восхищения, выросло и расцвело из этого семени. Студента учат, что истина эта вечна и всеобъемлюща независимо от того, верующий ты или нет, ибо в нашей стране есть лишь один кодекс — кодекс христианской морали. Каждый американец формируется под его воздействием, ощущает его влияние от колыбели до гробовой доски; он впитывает эту мораль с молоком матери, вдыхает с воздухом, которым дышит; она — его плоть и кровь, основа его духовной и культурной деятельности, она — вечна. А потому каждый из восьмидесяти миллионов, родившихся в Америке, независимо от его убеждений или отсутствия таковых, христианин — в том смысле, что его нравственной конституцией является христианство.

Все это так, и ни один студент не окончит Таскиги, не

постигнув этой истины. Так что же ему нужно еще, кроме этого? Чему могу научить его я? Разве существуют какие-то знания, которые ему в университете не дали, или по крайней мере недодали? Существуют, и очень важные.

Есть два вида христианской морали, одна — для себя, другая — для общества. Они настолько различны, настолько несовместимы, что сходства между ними не более, чем между архангелами и политиками. Одна — это личная христианская мораль, другая — общественная. Искреннее соблюдение требований личной христианской морали позволило нашей стране стать тем, чем она стала, — нацией людей нравственных и достойных в быту, честных и порядочных в том, что касается дела. В этом смысле никакая другая страна не может соперничать с нами, ни один самый взыскательный критик не станет оспаривать эту истину.

Триста шестьдесят три дня в году американский гражданин хранит верность своей личной христианской морали и поддерживает доброе имя американца; но в оставшиеся два дня он оставляет личную христианскую мораль дома и, отправляясь в налоговое управление или на выборы, берет с собой мораль общественную, а уж там делает все возможное, чтобы разрушить созданное за год добросовестным и праведным трудом. Не моргнув глазом, он отдает свой голос за бесчестного хозяина, если этот хозяин — его духовный Моисей; без тени сомнения он голосует против лучшего человека в стране, если тот из другой партии. Каждый год он помогает протаскать к власти пройдох и взяточников, благодаря ему в городах и штатах пышным цветом расцветают подкуп и мошенничество. Из года в год он планомерно способствует разложению политической жизни в стране — а ведь, следуя он своей личной христианской морали, он смог бы быстро очистить государственные учреждения от хапуг и мошенников и привести к власти действительно порядочных и достойных людей. Но пока что, видя результат своих непатриотических деяний, он лишь вздыхает, горюет и обвиняет всех и вся — в то время, как винить нужно одного себя.

Раз в год он откладывает личную христианскую мораль, нанимает паром и на три дня прячет свои акции на каком-нибудь складе в Нью-Джерси, потом достает мораль общественную и идет в налоговое управление. Там, воздев руки к небу, он клянется, что за душой у него — ни цента, да помощи ему господь. На следующий день в газетах появляются имена посетивших налоговое управление — список в колонку с четвертью, набранный четким шрифтом, и каждый в этом списке — миллиардер, исповедующий две (если не больше) христианские веры. Я знаю всех этих людей. У меня со всей этой братией отношения дружеские, деловые — и преступные. Они ни за что не пропустят церковную службу, если находятся где-то поблизости, и никогда — где бы они ни были — не пропустят день, когда надо под присягой докладывать о своих доходах.

В такой разлагающей обстановке трудно сохранить порядочность. Когда-то я был честным человеком. Теперь я перестаю им быть. Вернее, уже перестал. Когда две недели назад размер моего налога определили в 75 000 долларов, я попробовал занять денег, но не тут-то было. Потом, выяснив, что всей шайке нью-йоркских миллионеров дозволяется платить в три раза меньше, чем мне, я воскликнул в гневе и негодовании: «Это капля, переполнившая чашу. Я не собираюсь финансировать этот город в одиночку». В эту минуту — в эту памятную минуту — я и начал разлагаться. Через пятнадцать минут процесс завершился: все мои добродетели рассыпались в прах; и вместе с бывальными и опытными мошенниками я, клятвою подняв руку, перечислил все мое достояние на этом свете, вплоть до последней тряпицы, деревянной ноги, стеклянного глаза и остатков прика.

Сборщики налогов были потрясены, потрясены до крайности. Они привыкли, что такие спектакли закатывают закаленные старые пройдохи, и примирились с этим, но от меня, штатного моралиста-профессионала, они ждали большего, — и взоры их затуманились.

Я явно упал в их глазах, как упал бы и в своих собственных, да падать дальше было некуда — я уже ударился о дно.

В Таскиги профессора вместе с доктором Паркхестом, не имея достаточных сведений, делают скоропалительные и ошибочные выводы, уверяя студентов, что джентльмены-де никогда не сквернословят.

Взгляните на чудесных миллионеров, о которых я только что говорил; разве они не джентльмены? Представьте себе, они сквернословят — клятвословят. Может быть, всего раз в год, зато уж так солидно, что вполне компенсируют потерянное время. А что-нибудь они при этом теряют? Ни в коем случае; за три минуты экономят столько, что их семьям вполне хватит прожить семь лет. Содрогаемся ли мы при таком сквернословии? Нет — разве что они воскликнут «черт возьми». Тут мы содрогнемся. В нас все просто перевернется. Но не надо принимать это близко к сердцу, ибо сквернословим мы все — все до единого. Включая дам. Включая доктора Паркхерста, этого сильного, бравого и выдающегося гражданина, правда, не вполне воспитанного.

Ведь грех — это вовсе не слово, а то, что за ним. Когда раздраженная дама произносит «о!», за этим стоит «черт возьми!», и именно так нужно воспринимать сказанное ею. Мне всегда становится не по себе, когда я слышу подобную скверну из дамских уст. С другой стороны, если «черт возьми» произнести весело и дружелюбно, к этому можно не придирааться.

Мысль о том, что джентльмен никогда не сквернословит, в корне ошибочна; он может браниться и оставаться джентльменом, если тон его — мягкий, благожелательный и необидный. Историк Джон Фиск, которого я хорошо знал и любил, был

безупречным, благороднейшим и честнейшим христианином, но и он однажды не выдержал. Не то чтобы не выдержал, и все же... Лучше я вам расскажу обо всем по порядку.

Однажды, когда Фиск был с головой занят работой, в комнату вошла его жена, очень взволнованная и глубоко опечаленная. Она сказала: «Прости, Джон, что отрываю тебя, но я вынуждена, потому что дело крайне серьезно и безотлагательно».

Потом, глубоко сокрушаясь, она предъявила суровое обвинение их маленькому сыну. Она сказала: «Он назвал тетю Мери дурой, а тетю Марту чертовой дурой». Мистер Фиск минуту поразмышлял над услышанным, потом заметил: «Что ж, пожалуй, разница между ними ухвачена верно».

Мистер Вашингтон, прошу вас передать эти наставления вашему великому, процветающему, в высшей степени благотворительному учебному заведению, включив их в щедрую казну интеллектуальных и духовных богатств, каковыми вы оснащаете ваших питомцев, этих счастливицков, готовя их к выходу в бурное море жизни.

СОЗДАНИЕ ПАРТИИ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА: КРАТКИЙ ПРОЕКТ

Главная цель

Заставить Две Великие Партии всегда выбирать своего лучшего представителя.

Основополагающие принципы

Если все командные посты будут заполнены лучшими представителями любой из Двух Великих Партий, у нас будет хорошее правительство. Мы полагаем, что эта мысль очевидна, и обсуждать ее нет нужды.

Развернутый план

1. Партия РГ должна быть хорошо организована. Это позволит обеспечить ее непрерывную и постоянную деятельность.

2. Любое из следующих деяний повлечет за собой выход члена партии Решающего Голоса из ее рядов:

Стремление занять любую руководящую должность, как выборную, так и невыборную.

Принятие назначения на такую должность.

Принятие такой должности.

3. Партия РГ должна голосовать только за кандидата одной либо другой Великих Партий и отдавать все свои голоса за этого кандидата.

4. Не вступать ни в какие сделки с мелкими партиями.

5. Партия РГ должна иметь подразделения на уровне районов, селений, городков, крупных городов, округов, штатов и всей страны. Она должна работать везде, где есть избирательный пункт, на любых выборах от низовых до президентских.

6. Как правило, подразделения партии не должны быть большими. Контролировать действия Двух Великих Партий почти всегда удастся и без этого. В вопросах членства на первое место ставится качество, а не количество.

В маленьких избирательных округах, где нужно выбрать городского констебля или мирового судью, провести кандидата, которому отдается предпочтение, зачастую сможет лига Решающего Голоса из пятидесяти человек. Найти требуемые пятьдесят человек не составляет труда. Они есть среди мужчин, которым донельзя опротивели доминирующие в политике методы, низость и дешевое честолюбие политиков, бесчестность власть имущих, подкуп, откровенное распределение должностей среди бесхребетных и невежественных работников как оплата за преданную службу, обход законов государственной службы, а иногда и прямое их нарушение. Эти пятьдесят найдутся среди мужчин, которые стыдятся такого положения вещей и жаждут изменений к лучшему; которые не выставляют свою кандидатуру и не голосуют сами; которые не посещают первичные выборы, не желая участвовать в этом оскорбительном фарсе.

Эти пятьдесят есть в любой маленькой группе населения; их никто не видит, не слышит, не принимает всерьез – но они есть. Они есть, глубоко и искренне заинтересованные в хорошем и надежном правительстве и готовые оказать любую посильную помощь, если им дать такую возможность. Это скромные и тихие торговцы и лавочники, люди средних лет; молодежь, которая трудится в кабинетах врачей и адвокатов или стоит за прилавками; квалифицированные рабочие; те, кто отдает свое время работе в местных благотворительных организациях, творческих и прочих клубах по усовершенствованию общества, в университетских поселениях, в Ассоциации молодых христиан, разъездных библиотеках; эти люди образованны, часто ходят в библиотеки. Они никогда не были на первичных выборах, а избирательная кампания вызывает у них отвращение.

7. Люди, предполагающие создать лигу Решающего Голоса, не должны обнародовать свои намерения; заговор с целью совершить доброе дело, равно как и недоброе, лучше держать втайне, пока не будет полной гарантии успеха. Следует изучить результаты голосования в Двух Великих Партиях и установить большинство победившей партии. Это и есть большинство, которое партия Решающего Голоса должна одолеть и свести на нет. Если в голосовании участвовала тысяча человек и большинство составило пятьдесят, создатели лиги должны тайно собирать голоса, пока не наберут семьдесят пять или сто. Тогда они могут смело заявлять о себе; равновесие сил – в их руках, и

само это может привлечь на их сторону новых людей. Если число голосующих было десять тысяч, а большинство составило тысячу голосов, все происходит по той же схеме: до официального объявления о создании партии РГ необходимо собрать тысячу с лишним голосов. При общем числе голосующих, равном миллиону, большинство едва ли превысит тридцать тысяч. Сбор голосов начинают пять или шесть человек; все, давшие согласие, также становятся сборщиками голосов; каждый из десяти знает еще троих, которые присоединятся к партии РГ; каждый из тридцати – еще троих; девяносто человек знают триста: триста – знают тысячу, тысяча знает три тысячи, и так далее; тридцать или сорок тысяч необходимых голосов можно собрать за десять дней, после чего организуется лига, она обладает решающим голосом, императивным мандатом и полномочиями на то, чтобы выбрать лучшего из кандидатов, которых выставили или вот-вот выставят Две Великие Партии.

8. В каждом районе каждого города достаточно людей, чтобы контролировать равновесие сил между Двумя Великими Партиями на районных выборах; в каждом городе их достаточно, чтобы решить, какой из кандидатов станет мэром; в каждом округе – чтобы выбрать губернатора, а также законодательные органы и сенаторов США; и в Соединенных Штатах их достаточно, чтобы отдать Решающий Голос более достойному из кандидатов Двух Великих Партий и посадить его в президентское кресло.

9. На любую должность, начиная от констебля и кончая президентом, Две Великие Партии в состоянии найти способных, достойных и подходящих людей. Когда равновесие сил будет находиться в руках постоянной третьей партии, которая не выдвигает кандидатов и ставит себе задачей отдать все свои голоса лучшему из кандидатов республиканской и демократической партий, эти партии выберут лучших, какие есть в их рядах. В результате создается хорошее и достойное правительство независимо от того, как выглядит сама партия; и вся страна будет довольна.

Лиги

Первичная лига – назовем ее А – должна состоять самое большое из десяти человек. Этого достаточно, члены ее могут собраться у кого-то на квартире или в лавке и быстро познакомиться друг с другом. Лига обсуждает имена кандидатов Двух Великих Партий – Джонса (республиканца) и Смита (демократа). Полного единодушия нет – предположим, что оба кандидата достойные и вполне подходящие люди, – и семь голосов получает, скажем, Джонс, три – Смит.

Выбирается делегат, который сообщает о решении лиги на собрании – назовем его лигой Б – делегатов из энного количества местных лиг А. Собранные голоса подсчитываются; на сей раз большинство может оказаться на стороне Смита. Делегаты

возвращаются с результатом в свои лиги А. Все, кто состоит в этих лигах, должны голосовать за Смита — таково условие приема в партию РГ.

Если выборы проводятся на уровне штата, несколько лиг В выбирают делегата в комитет штата, этот комитет подсчитывает собранные голоса и выносит решение в пользу кандидата от республиканцев или демократов, за которого проголосуют избиратели — члены партии Решающего Голоса.

На президентских выборах комитет штата назначает делегатов на национальный съезд, они подсчитывают голоса, собранные партией РГ, после чего определяется и объявляется кандидат, которого партия РГ будет поддерживать по всей стране. В ходе президентских выборов все члены лиг А будут голосовать за делегатов указанной партии.

Если вам кажется, что этот проект заслуживает внимания, начните тайно собирать голоса среди своих друзей и проверьте его на практике, не дожидаясь, пока это сделают другие. Если же в кругу людей, считающих, что быть гражданином США — высокая честь, эта программа не выдержит испытания, нужно искать и изобретать что-то лучшее; ибо потворствовать нынешней политической системе до бесконечности скверно и опасно. Ее можно улучшить, и американские граждане должны отбросить уныние и принять для этого какие-то меры.

МОНОЛОГ ЦАРЯ

Утром, после ванны, до того как начать одеваться, царь имеет привычку проводить час в одиночестве, посвящая его раздумью.

(Корреспонденция в лондонской «Таймс»)

Царь *(разглядывая себя в трюмо)*. Голый, что я собой представляю? Тощий, худосочный, кривоногий, карикатура на образ и подобие божие! Посмотрите, голова как у восковой куклы, выражения на лице не больше, чем у дыни, уши торчат, костлявые локти, впалая грудь, ноги словно щепки, а ступни — точь-в-точь рентгеновский снимок: суставы, да шишки, да веточки костей! Ничего царственного, величественного, внушительного, ничего, что могло бы возбуждать восторг и преклонение. Неужели это мне поклоняются, передо мною падают ниц сто сорок миллионов русских? Разумеется, нет. Немыслимо было бы поклоняться такому пугалу. Но тогда, кому же или чему они поклоняются? В глубине души я это прекрасно знаю: они поклоняются моему платью. Без него я, как и всякий голый человек, не имел бы ровно никакой власти. Никто не отличил бы меня от священника, парикмахера или просто фертика.

Итак, кто же, собственно, император всероссийский? Мое платье. Оно, только оно.

По справедливому замечанию Тейфельсдрека, чем был бы человек – любой человек – без платья? Если хорошенько поразмыслить, то станет ясно: без платья человек – ничто, платье не только красит человека, платье – это и есть человек; без него он нуль, ничтожество, пустое место.

А титулы? Эти украшения тоже ведь часть одежды. Вместе с парчой и бархатом они прикрывают убожество того, кто их носит, сообщают ему важность, величие, когда на самом деле ничего замечательного в нем нет. Они могут заставить целую нацию коленапреклоненно чтить императора, который без платья и титулов ничем не отличался бы от сапожника и, понав в толпу, немедленно затерялся бы среди простолюдинов; императора, который, появившись он голым в мире голых, ничем не привлек бы к себе внимания, не удостоился бы ни одного почтительного слова; на улице, в давке, его затолкали бы, как всякого безвестного прохожего, или еще того лучше: предложили бы ему за копейку донести кому-нибудь саквояж. А с помощью этих искусственных средств – платья и титулов – он, как-нибудь, император; подданные чтут его точно божество, он же, не чувствуя никакой узды, по собственному произволу ссылает их, преследует, травит и истребляет, как истреблял бы крыс, если бы не унаследовал трона по капризу судьбы, а занимался бы иной профессией, куда более соответствующей его способностям. Да, великая сила заложена в императорской одежде и в титулах! Они повергают обывателя в благоговейный трепет, хотя ему ли не знать, что каждая династия знаменует собой узурпацию, незаконный захват власти при поддержке людей, не имеющих ни малейшего права этим распоряжаться. Ведь монархов всегда выбирала и возводила на престол аристократия; народ никогда ни одного монарха не выбрал.

Без платья нет власти. Власть платья держит людей в повиновении. Разденьте догола всех начальников, и ни одним государством нельзя будет управлять. Голые чиновники – где уж им властвовать: по виду, как и по сути, они уподобятся самым заурядным и ничем не примечательным людям. Полицейский в штатском – это просто человек, но когда на нем форменный мундир, он стоит десятка. Платье и титулы – самое могущественное средство воздействия, сильнее нет ничего на свете. Они вселяют в человека бездумное и безоговорочное уважение к судье, к генералу, адмиралу, епископу, послу, к ветренному графу или идиоту-герцогу, к султану, королю, императору. Ни один титул, даже самый высокий, не производит впечатления без помощи платья. У дикарей, которые ходят голыми, король обычно носит в качестве священного атрибута королевской власти какую-нибудь тряпку или побрякушку, которые никому другому носить не разрешается. Как знак своей монаршей власти король великого африканского племени фанг

носит на плече клочок леопардовой шкуры, в остальном он совершенно голый. Без этого куска леопардовой шкуры, назначение которого – повергать подданных в страх и трепет, ему ничем бы не удержаться в должности.

(*После паузы.*) Что за странное, необъяснимое создание человек! Миллионы русских на протяжении столетий покорно разрешали нашей семье грабить их, оскорблять, попирали их права и жили, мучились и умирали единственно для того, чтобы обеспечить довольство нашей семьи! Это не люди, а ломовые лошади, хотя они носят одежду и ходят в церкви. Лошадь, у которой силы во сто раз больше, чем у человека, позволяет ему бить себя, погонять, морить голодом, а миллионы русских позволяют малой горстке солдат держать их в рабстве, хотя эти солдаты – их же сыновья и братья!

Если вдуматься, так вот что еще непонятно: за границей к царю и самодержавию подходят с теми же моральными мерками, какие приняты в цивилизованных странах. Поскольку там не полагается свергать тирана иначе как законным путем, кое-кто вообразил, будто этот порядок применим и к России; а в России вообще нет закона, есть лишь царская воля. Законы должны ограничивать – это их единственная функция. В цивилизованных странах они ограничивают всех граждан в равной степени, и это правильно и справедливо, в моей же державе если и существуют законы, то на нашу семью они не распространяются. Мы делаем что хотим. Веками делали, что хотели. Преступление для нас привычное ремесло, убийство – привычное занятие, кровь, кровь на роде, – привычный напиток. Миллионы убийств лежат на нашей совести. А богобоязненные моралисты утверждают, что убивать нас – грех. Я и мои дядюшки – это семейство кобр, поставленные над ста сорока миллионами кроликов, мы всю жизнь терзаем их, и мучаем, и жиреем за их счет, однако же моралисты утверждают, что уничтожать нас – не обязанность, а преступление.

Не мне бы распространяться на эту тему, но ведь человек, посвященный во все тайны вроде меня, понимает, что это наивно до смешного и по существу нелогично. Наша семья для закона недостижима: ни один закон нас не касается, нас не ограничивает, не дает народу защиты от нас. Отсюда вывод: мы вне закона. А ведь в того, кто вне закона, любой человек имеет право всадить пулю! Боже мой, что стало бы с нашим семейством, не будь на свете моралиста?! Он постоянно был нашей опорой, нашим заступником, нашим другом, ныне же он наш *единственный* друг. Как только начинаются зловещие разговоры об убийстве, он тут как тут со своей внушительной сентенцией: «Воздержитесь! Насилие никогда еще не приносило ценных политических результатов!» И этим он нас спасает. Я допускаю, что он и сам в это верит. Но верит, скорее всего, потому, что у него нет школьного учебника всемирной истории, который доказал бы ему, что его сентенция никакими фактами

не подтверждается. Без насилия никогда не была свергнута ни одна тирания, и все троны воздвигнуты путем насилия; путем насилия мои предки укрепились на троне; с помощью убийств, предательства, клятвопреступлений, пыток, тюрем и каторги они охраняли этот трон в продолжение четырех столетий, и такими же средствами я сам удерживаю его сегодня. Любой из Романовых, прошедший выучку и имеющий за плечами некоторый опыт, может так перефразировать сентенцию моралиста: «Насилие, и только насилие, приносит ценные политические результаты». Моралисту ясно, что ныне, впервые в истории, мой трон действительно в опасности: нация пробуждается от рабской летаргии, длившейся с незапамятных времен. Но ему невдомек, что причиной тому послужили четыре акта насилия: уничтожение мною финляндской конституции, убийство Бобринкова и убийство Плеве революционерами и массовый расстрел невинных людей, учиненный мною несколько дней назад. А вот кровь, которая течет в моих жилах, ученая, догладившая кровь, умудренная мрачным наследственным опытом, кровь преемственно бдительная, кровь, которая недаром четыреста лет течет в жилах профессиональных убийц, — эта кровь учуяла, поняла! Свершившиеся четыре события так всколыхнули тинистую заводь национальной души, как не могли бы ее всколыхнуть никакие увещевания; ненависть и надежда ожили в этой давно зачухавшей душе, и теперь уже они медленно, но верно закрадуются в каждое сердце и полностью овладеют им. Со временем они проникнут даже в сердца *солдат*, — и это будет роковой день, день нашей гибели!.. И постепенно это даст результаты!.. Плохо, очень плохо понимает кабинетный моралист, как грандиозно моральное воздействие расправ и убийств! Да, теперь уже не миновать беды! Нация корчится в родовых муках, рождается великан — ПАТРИОТИЗМ! Будем говорить начистоту и резко: патриотизм *истинный*, неподдельный, то есть верность не династии и фикции, а верность народу!

...В России двадцать пять миллионов семейств. На руках у каждой матери — младенец-мальчик. Если бы все эти двадцать пять миллионов матерей были патриотками, они изо дня в день учили бы своих сыновей: «Запомни одну истину, храни ее в сердце, живи ею и, если потребуется, умри за нее: наш патриотизм — устаревший, обветшалый, средневековый; современный же патриотизм, истинный патриотизм, единственно разумный патриотизм — это *верность народу неизменно и верность правительству, если оно того заслуживает*». Когда вырастут эти Двадцать пять миллионов сознательных патриотов, моему премнику придется очень и очень подумать, прежде чем он решится расстрелять тысячу несчастных безоружных манифестантов, смиренно взывающих к его доброте и справедливости, как сделал это я на днях.

(*Задумчивая пауза.*) Да, на меня, видимо, подействовали эти неприятнейшие газетные вырезки, которые я нашел у себя под

подушкой. Прочитаю-ка я их еще разок и поразмыслю над ними... (*Читает.*)

ИЗБИЕНИЕ ПОЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

Жестокое обращение с женами запасных. Одна женщина убита. (Спец. телегр. «Нью-Йорк таймс».)

Берлин, 27 ноября.

Взбешенные тем, что польские солдаты не пожелали оставить своих жен и детей, русские власти в городе Кутно на польской границе проявили невероятную жестокость.

Одна женщина забита до смерти, многие ранены. 50 человек брошено в тюрьму. Некоторых заключенных подвергали пыткам до тех пор, пока они не потеряли сознание.

Подробности расправы неизвестны, но имеются сведения, что казаки отрывали запасных от их жен и детей, а потом избивали нагайками женщин, выбежавших на улицу вслед за мужьями.

Если не удавалось найти солдата, то на улицу за волосы вытаскивали его жену и били ее. Как сообщают, главный представитель власти в этом районе и командир полка видели все происходящее.

Зверскому избиению подверглась девушка, помогавшая распространять социалистические листовки.

ЦАРЬ – ПОМАЗАННИК БОЖИЙ

Перед его посещением Новгорода люди провели ночь в посте и молитве. («Таймс», Лондон; «Таймс», Нью-Йорк.)

27 июля 1904 г.

Корреспонденты лондонской «Таймс» в России приводят ниже следующее сообщение «Петербургер цайтунг» о недавнем посещении Новгорода царем в качестве иллюстрации верно-подданических чувств, которые русские считают необходимым демонстрировать своему царю.

«Глубоко волнующим зрелищем было благословение воинства, набольшо отсутшившего на колени перед Его Величеством. Его Величество поднял над головой икону и благословил воинство от своего имени и от имени императрицы.

Тысячи людей рыдали от переполнявшего их души восторга. Воспитанницы женских школ разбрасывали розы по пути следования монарха.

Люди стремились вокруг экипажа, стремясь навеки запечатлеть в памяти обожаемые черты помазанника божия.

Многие старики провели ночь перед этим в посте и молитве, дабы быть достойными с чистой и незапятнанной душой взглянуть на царский лик.

Народ, удостоившийся лицезрения своего царя, продолжает ликовать».

Царь (*взволтованию*). Какой позор! Какая неприятность! И до чего нелепо! Подумать, что это я натворил столько жестокостей... Тут уж не спрячешься от личной ответственности – сам виноват! А ведь это меня встречали как божество, мне они поклонялись! (*Смотрится в зеркало.*) Мне, такому чуделу, такой морковке! Одной рукой я засекал до смерти ни в чем не

повинных женщин и пытал заключенных, а другой – поднимал к небесам свой фетиш, призывая небесного коллегу ниспослать благословение на покорных мне тварей, которым я и мои предки с его святого одобрения уже четыре долгих века доставляем все муки ада.

Ну и ну! Подумать только, что это чучело в зеркале, эту морковку огромная нация, несметная масса людей, чтит как божество, и никто не смеется! А чучело-то заодно еще и опытный, профессиональный дьявол, однако никто не удивляется, слова не молвит по поводу такой несообразности! Неужто человечество совсем ничего не стоит! Неужто его выдумали и смастерили просто так, от нечего делать? И неужто оно само себя не уважает? Боюсь, что я тоже теряю к нему уважение, а заодно и к себе... Одно спасение – *платье!* Платье, которое дает почет, поднимает дух, самый щедрый дар небес человеку, его единственная защита от саморазоблачения! Платье, обманывающее нас, сообщающее нам благоденствие, которого у нас нет! О, сколь милосердно платье, сколь могущественно, сколь благотворительно и драгоценно! Мое, например, может превратить ничтожное создание в колосса, в титана. Оно может заставить весь мир уважать меня, оно может вернуть мне самоуважение, которое я теряю. Пойду-ка я надену свое платье.

МОНОЛОГ КОРОЛЯ ЛЕОПОЛЬДА В ЗАЩИТУ ЕГО ВЛАДЫЧЕСТВА В КОНГО

Король (*швыряет на пол брошюры, которые читал. Возбужденно ерошит пыльную бороду, стучит по столу кулаком, время от времени выкрикивает нецензурные слова; в промежутках между возгласами опускает голову и, целуя крест Людовика XI, вислиций у него на груди, покаянно бормочет молитвы; затем встает, весь потный, красный, и, жестикулируя, принимается шагать взад и вперед по комнате*). Ох, попадись они мне! (*Суетливо целует крест, бормочет.*) Сколько миллионов я потратил за эти двадцать лет, чтобы заткнуть рот борзописцам обоих полушарий, а правда нет-нет да и просачивается наружу. Сколько миллионов я потратил на религию и искусство, а что получил? Ничего. Никакой благодарности. Газеты умышленно замалчивают мои щедроты. В газетах – ничего, кроме клеветы, оголтелой клеветы, одной только клеветы. Даже если все и правда – все равно это клевета, раз направлено против короля!

Все до капли выбалтывают эти злодеи: как я обивал пороги Великих Держав, со слезами твердя стихи из Евангелия, источая благочестие из каждой поры своего тела, и упрашивал их доверить мне богатое обширное Свободное государство Конго с его огромным населением, дабы я мог искоренить там рабство, и положить конец работорговле, и вывести этот народ – все двадцать пять миллионов кротких, безобидных

чернокожих – из тьмы на свет, на свет нашего благословенного Спасителя, на свет, излучаемый его великим учением, на свет, озаривший нашу замечательную цивилизацию, и осушить их слезы, и влить в наболевшую душу радость, и чувство благодарности, внушив им, что они уже не отверженные, не угнетенные, а наши братья во Христе; и как Америка, вкупе с тринадцатью Великими Европейскими Державами, прослезилась и вняла моим мольбам; как представители Держав собрались на Берлинскую конференцию и назначили меня главным распорядителем и управляющим государства Конго, наделив меня властью, но указав и ее границы: были детально оговорены нравственные и имущественные права местного населения, от меня потребовали запретить торговлю виски и оружием, учредить суды, обеспечить свободную торговлю для иностранных кушцов и коммерсантов, а также свободную деятельность миссионеров любой религии и вероисповедания, с гарантией им личной безопасности. Эти злодеи выбалтывают, как тщательно я подготовил свою систему управления и подобрал себе сатрапов из числа своих «дружков» бельгийской национальности, и водрузил там свой флаг, и как поймал на удочку президента Соединенных Штатов, заставив его первым признать и приветствовать этот флаг. Ладно, пусть меня чернят по-всякому, я удовлетворен хотя бы тем, что сумел перехитрить нацию, возомнившую себя самой хитрой. Нечего говорить, обвел этих янки вокруг пальца! Пиратский флаг? Ну и что, не отрицаю. Как бы то ни было, но *янки сами же первыми его признали!*

Ох уж эти мне пронырливые американские миссионеры! И эти разоблачители – британские консулы! И эти ябедники – предатели-бельгийцы, состоящие на официальной службе! Все они только и знают, что болтать, как попугай! Ведь это они выболтали, что я уже двадцать лет правлю государством Конго не как уполномоченный Великих Держав, не как их доверенное лицо и управляющий, а как император, властелин плодородного края, размеры которого в четыре раза превышают Германскую империю, как самодержец, ни перед кем не ответственный, поставивший себя над законом и поправший Берлинскую хартию. Выболтали, что я, через посредство подставных концессионеров, прибрал к рукам всю торговлю и не допускаю в Конго ни одного иностранного купца; что я захватил и крепко держу это государство, словно свою собственность, а огромные доходы от него кладу себе в карман; что я обратил многомиллионное население в своих слуг и рабов, присваиваю плоды их труда, зачастую даже неоплаченного, забираю себе – с помощью плети и пули, голода и пожаров, увечий и виселицы – каучук, слоновую кость и прочие богатства, которые добывают туземцы, мужчины, женщины и малые дети.

Ах мерзавцы! Так и есть, ничего не утаили! Выболтали и эти и другие подробности. Как им только не стыдно? Ведь они разоблачают короля, а это личность священная и неприкосно-

венная, поскольку она избрана и посажена на престол самим господом богом, — короля, критиковать которого — кошунство: ведь господь наблюдал мою деятельность с самого начала и не проявил немилости, не помешал мне, не остановил меня! Естественно, что я это воспринял как его одобрение, полное и безоговорочное. Так мне ли, удостоенному великой награды божьей, золотой, бесценной награды, тревожиться о том, что жалкие люди бранят меня и осуждают? *(Внезпно вспыхив.)* Да чтоб им на том свете... *(Спохватившись, пылко целует крест и жалобно бормочет.)* Бог меня накажет за такие речи!

Да, эти длинные языки выбалтывают все! Выбалтывают, что я облагаю население непомерными, прямо-таки грабительскими налогами, и туземцы, добывая каучук в невероятно тяжких, с каждым днем все более тяжких условиях, не могут заработать даже на налоги и должны вдобавок сдавать почти все, что они вырастили на собственных клочках земли; а когда (длинные языки выбалтывают и это!), изнемогая от непосильного труда, голода и болезней, отчаявшиеся люди бросают родной кров и бегут в леса, спасаясь от наказаний, мои чернокожие солдаты, завербованные мною из враждующих племен, по наущению и под руководством моих бельгийцев устраивают облавы, безжалостно убивают их, сжигают деревни, и если кого еще падят, так только девушек. Выбалтывается во всех подробностях, что я любимыми способами истребляю обездоленный народ ради собственного обогащения. Но никто из этих писак не расскажет, хоть знает прекрасно, сколько трудов я за это же время положил на внедрение религии, что я посылаю в Конго миссионеров (выгодной для меня масти, как выражаются мои критики!) разьяснять туземцам греховность их жизни и повергать их к стопам того, кто, всеблагой и всепрощающий, неизменно и неусыпно печется о всех страждущих. Никто из них словечка не замолвит в мою пользу, все только и знают, что осудать меня!

Они оповестили мир, что Англия потребовала от меня создания комиссии для расследования жестокостей в Конго, и я, желая улажить непрощенную заступницу с ее мерзкой Ассоциацией по проведению реформ в Конго, состоящей из графов, епископов, разных там Джонов Морли, университетских знаменитостей и прочих кривляк, которым бы только совать нос в чужие дела, назначил такую комиссию. Но разве это заткнуло им рты? Напротив, они кричат, что комиссия составлена из моих «палачей Конго», «из тех самых людей, чья деятельность требует расследования». Они заявляют, что это равносильно тому, как если бы назначили стаю волков расследовать нападение на овечье стадо. Этим проклятым англичанам ничем не угодишь!

По последним сведениям, миссионеры, находящиеся в Конго, признают, что комиссия, в общем, по-видимому, склонна рекомендовать

А как бесцеремонно эти критики пишут о моей личной жизни! Словно я какой-то плебей, фермер или рабочий! Пишут, например, что мой дворец с первых дней был не то молельней, не то публичным домом и развивал бурную деятельность в обоих качествах; что я изводил свою супругу и дочерей, подвергая их каждодневно жестокости и унижениям, и когда королева обрела наконец покой в гробу, я не позволил дочери, молившей меня об этом на коленях, взглянуть в последний раз на материнский лик; что три года тому назад, не ограничившись награбленным у целой нации, я отнял имущество у дочери и, с целью оправдать себя и довершить преступление, выступил на суде в качестве опекуна, покрыв себя стыдом в глазах цивилизованного мира. Говорю же я: жулики они, мошенники! Вытаскивают на свет и распространяют подобные грязные сплетни, да и любое, что может восстановить против меня людей, но скрывают те мои деяния, которые расположили бы людей в мою пользу. Я потратил на искусство больше средств, чем любой другой современный монарх, и они это знают. А рассказал ли кто-нибудь об этом? Нет! Предпочитают сочинять оскорбительные небылицы для детей младшего возраста на основе «чудовищных статистических данных» — хотят этим напугать сентиментальную публику и настроить ее против меня. Вот образчик их творчества: «Если бы кровью невинных жертв, пролитой королем Леопольдом в Конго, наполнить ведра и эти ведра поставить в ряд, то он протянулся бы на две тысячи миль; если бы скелеты десяти миллионов убитых им и умерших от голода туземцев могли встать и двинуться гуськом, то для того, чтобы всем им пройти какую-то определенную точку, понадобилось бы

проведение реформ. Один из членов комиссии — известное в Конго официальное лицо, другой — представитель бельгийского правительства, третий — юрист из Швейцарии. Но доклад комиссии будет опубликован лишь после того, как пройдет через руки короля, и лишь в том виде, как король утвердит его. Пока об этом ничего не слышно, хотя после окончания работы комиссии прошло уже полгода. Впрочем, ни для кого не тайна, что обнаружены и засвидетельствованы чудовищные злодеяния, несмотря на все усилия королевских приспешников опорочить показания миссионеров. Человек, присутствовавший на одном из заседаний комиссии, пишет: «Эти рассказы, раскрывшие перед комиссией страшную правду о том, какими путями добывается каучук, могли бы тронуть каменное сердце!» В одном месте, посещенном комиссией, приказали кое-что упорядочить, но не успела комиссия отбыть восвояси, как положение стало еще более тяжким, чем было до ее посещения. Часть дела выполнена. Следующее на повестке дня — расследование положения в Конго державами, несущими ответственность за создание этого государства. Одной из таких держав являются Соединенные Штаты. Подобного расследования добиваются, при помощи петиции на имя конгресса, Лаймен Эббот, Генри Ван-Дайк, Дэвид Стар Джорден и другие видные американские граждане. — *Марк Твен.*

семь месяцев и четыре дня; если бы все эти скелеты сложить вместе, они заняли бы большую площадь, чем город Сент-Луис, включая и территорию Всемирной выставки; если бы эти скелеты разом хлопнули в ладоши, то леденящий душу треск был бы услышан на расстоянии...» Фу, черт, надоело! И не менее фантастичны их примеры, когда они хотят показать, какие деньги я выручил от перегонки негритянской крови. Пирамиды египетские из монет... пустыня Сахара, устланная ими... небо, заклеенное банкнотами настолько густо, что тень ложится на землю, погружая ее во мрак. И слезы, пролитые из-за меня... И сердца, разбитые мною... Нет, эти писаки не собираются оставить меня в покое! (*Погружается в раздумье.*)

Ничего... Зато я все-таки утер нос американцам! И то утешение. (*Насмешливо кривя губы, читает Указ президента о признании от 22 апреля 1884 года.*)

«...Правительство Соединенных Штатов выражает сочувствие и одобрение гуманным и благотельным целям (имеется в виду мой план захвата Конго!) и приказывает офицерам Соединенных Штатов на суше и на море салютовать этому флагу как флагу дружественного государства».

Надо полагать, янки теперь не прочь отказаться от своего решения, но я ведь тоже недаром держу в Америке своих агентов! Да и вообще я не боюсь: никакое государство и никакое правительство не могут себе позволить признать в своей ошибке! (*Самодовольно улыбаясь, начинает читать опубликованный доклад его преподобия У. М. Моррисона, американского миссионера в Свободном государстве Конго.*)

«Привожу несколько примеров многочисленных зверств, свидетельствующих о том, что король Леопольд ввел в систему и практикует по сей день грабежи и жестокости по отношению к этому несчастному народу. Подчеркиваю: король Леопольд, ибо он, *он один*, несет за это ответственность, будучи *абсолютным монархом*. Так он сам себя величает.

Когда в 1884 году наше правительство заложило основы Свободного государства Конго, признав его флаг, оно еще не ведало, что эта фирма, выступающая под маской филантропии, по сути дела, представляет собой короля Леопольда Бельгийского — одного из самых хитрых, безжалостных и бессовестных правителей, какие когда-либо занимали престол. Вдобавок Леопольд известен аморальностью в личной жизни, что прославил его и все его семейство на обоих континентах. Наше правительство, безусловно, не признало бы его флаг, если бы ему было известно, что Леопольд требует Конго в качестве личного владения, если бы оно понимало, что, уничтожив ценю моря крови и колоссальных расходов рабство африканцев в Америке, оно способствует созданию *абсолютной монархии и гораздо более тяжелой формы рабства в самой Африке*».

(*Со злым торжеством.*) Да, провел я этих янки! Теперь им стыдно и досадно. Никак не могут с этим примириться. Но для них это позор и по иной причине – более серьезной: им теперь не вычеркнуть из своих летописей того постыдного факта, что их тщеславная республика, самозванная защитница и поборница свободы, – единственная из всех демократий мира употребила свою власть и влияние, чтобы создать *абсолютную монархию!* (*Сердито смотрит на высокую стопку брошюр.*) Черт бы их побрал, этих назойливых мух – миссионеров! Изводят тонны бумаги! Вечно вертятся под ногами, шпионят, подглядывают, хотят все увидеть собственными глазами и поскорее записать. Вечно рыскают по стране, и туземцы привыкли уже считать их своими единственными друзьями, к ним идут со своим горем, им показывают раны и рубцы, которыми наградили их мои полицейские, им, плача, показывают обрубки рук, жалуясь, что руки у них были отрезаны за то, что они доставляли мало каучука. А эти руки приказано сдавать начальству, дабы оно было в курсе, что туземцы не остались без наказания. Один миссионер насчитал восемьдесят одну руку, подвешенную над огнем для просушки перед отправкой по назначению, и сразу же, конечно, записал это, а потом раззвонил на весь мир. Шляются по стране, шляются и все высматривают. И какой бы пустяк ни заметили, тут же спешат предать его гласности. (*Берет в руки брошюру под названием «Путешествие, совершенное в течение июля, августа и сентября 1903 года английским миссионером его преподобием А. Э. Скривенером». Читает.*)

«...Вскоре мы разговорились, и, даже без побуждений с моей стороны, туземцы стали рассказывать то, что мне уже приходилось неоднократно слышать. Они жили тихой и мирной жизнью, пока не появились из-за озера белые и не начали требовать от них разных услуг. Поняв, что это означает рабство, туземцы сделали попытку оградиться от непрошенных гостей, но не сумели устоять перед их устрашающими винтовками. Пришлось смириться и привыкать к новому положению. Сперва им приказали выстроить дома для солдат, и это они безропотно выполнили. Далее от них потребовали обеспечить питанием солдат и разных прихлебателей мужского и женского пола. И наконец, послали собирать каучук. Раньше туземцы этим не занимались. Хотя лес был недалеко – за несколько дней можно было до него дойти, – они не знали, что растущие там каучуковые деревья представляют какую-нибудь ценность. Им пообещали небольшую плату, все и ринулись собирать каучук. «Чудаки эти белые, – удивлялись они, – дают нам материю и бусы за сок диких деревьев!» Все радовались столь неожиданному счастью. Но весьма скоро плату снизили, а еще через некоторое время приказали доставлять каучук бесплатно. Туземцы пытались протестовать, тогда солдаты, к их великому изумлению, пристрелили нескольких, а остальных

бранью и тумаками заставили тотчас же отправиться в лес, пригрозив в противном случае перестрелять их тоже. Перепуганные люди пошли готовить кое-какую еду себе на дорогу, так как поход за каучуком должен был продлиться две недели. Но тут нагрянули солдаты и обнаружили, что они еще дома. «Как, еще не ушли?» Бах, бах! — и вот падает один, за ним другой, на глазах у жен и товарищей. Поднимается неистовый плач, люди просят отпустить их похоронить убитых, но им не разрешают. Всем немедленно отправляться на работу! Как, без пищи? Да, вот так! Несчастных угоняют в лес, не дав им захватить даже огнива. Многие умерли в лесах с голоду и погибли от непогоды, но еще больше пало жертвами свирепых солдат местного гарнизона. Несмотря на все усердие людей, сбор каучука падал, и многим это стоило жизни. Меня водили по всей местности, показывали, где прежде находились деревни их вождя. По точным подсчетам, здесь, в радиусе около четверти мили, жило семь лет тому назад две тысячи человек. Сейчас едва ли насчитывается двести, и они так угнетены и подавлены, что быстро вымирают.

Мы пробыли там до вечера в понедельник и успели побеседовать со многими людьми. В воскресенье несколько мальчуганов рассказали мне, что обнаружили какие-то кости, и на следующий день я попросил их показать мне эту находку. Недалеко от дома, где я остановился, прямо на траве, валялось много человеческих черепов, костей и целых скелетов. Я насчитал 36 черепов и заметил также немало скелетов без головы. Подозвав местного жителя, я спросил, что это означает. Он объяснил мне: «Пока белые вели с нами переговоры насчет каучука, солдаты перестреляли столько народу, что нам надоело хоронить, а очень часто нам это даже запрещали; приходилось оттащить мертвецов в траву и оставлять там. Тут их целые сотни, можете посмотреть». Но я уже повидал более чем достаточно и не в силах был больше слушать рассказы мужчин и женщин о пережитых ими ужасах. Болгарская резня — пустяки по сравнению с тем, что творилось здесь! Не знаю, как они покорились, — даже сейчас, вспоминая, поражаюсь их терпению! Слава богу, кое-кому удалось бежать. Я провел там два дня и должен признаться, что сдача каучука произвела на меня впечатление. Я наблюдал длиннейшие очереди, как в Бонго. Каждый человек держал под мышкой корзиночку, каждому насыпали в ведерко из-под каучука мерку соли, а старшему в артели швыряли еще два ярда ситцу. Я видел, как туземцы дрожат от страха, и это вкупе со всем остальным дало мне понять, каким террором их окружили и в каком рабстве их фактически держат».

Типичная манера: подглядеть, подслушать и сразу же бежать печатать любую дурацкую мелочь! Такой же точно и британский консул мистер Кейзмент. Нашел *дневник одного из моих*

государственных служащих, и, хоть он носит сугубо личный характер и не рассчитан на посторонних читателей, у мистера Кейзмента хватило бестактности перепечатать из него отрывки. (Читает одну из записей.)

«Каждый раз, когда капрал отправляется за каучуком, ему дают патроны, и все нестреляные он обязан вернуть, а за каждый стреляный — доставить отрубленную правую руку. Мистер П. рассказал мне, что, если иногда удается убить на охоте зверя, они, с целью отчитаться за израсходованный патрон, отрубают руку у живого человека. Чтобы я лучше понял объем этой деятельности, он сообщил мне, что в районе реки Мамбого израсходовано за 6 месяцев 6000 патронов; это означает, что 6000 человек было убито или ранено. Впрочем, даже больше, так как я не раз слышал, что солдаты убивают детей прикладами».

Иногда этот хитрюга-консул решает, что молчание внушительнее слов. В данном случае он предоставляет читателям сделать вывод, что тысяча убитых и раненых за один месяц — это очень много для такой маленькой точки, как концессия на реке Мамбого. На приложенной им географической карте огромного государства Конго эта речушка даже не обозначена, что без слов указывает на ее размеры. Кейзмент своим красноречивым молчанием как бы хочет сказать: «Если в таком маленьком уголке тысяча жертв, сколько же их тогда во всей колоссальной стране?» Настоящий джентльмен не унизился бы до таких уловок.

Перехожу к вопросу об увечьях. С критиками дело обстоит так: не успеешь дать ему сдачи, как он извернется и хватить тебя с другого конца. Верткие они, просто акробаты! Когда в Европе начали кричать, что мы калечим людей (отрубаем им руки, половые органы и т. д.), мы тут же нашли удачный способ парировать удар, надеясь мгновенно положить противника на обе лопатки и заставить их навсегда замолчать. Мы начали храбро валить этот обычай на туземцев — это, мол, их изобретение, мы только следовали их примеру. И думаете, мы выиграли этот раунд, заткнули им рты? Какое там! Они увернулись и употребили против нас новый приемчик: «Если король, исповедующий христианскую религию, способен найти себе моральное оправдание в том, что не он изобрел кровавые жестокости, а лишь подражает дикарям, так пусть он, бог с ним, тешится этим оправданием!»

Хитро орудует этот соглядатай-консул! (*Перелистывает брошюру под названием «Обращение с женщинами и детьми в государстве Конго. Что видел мистер Кейзмент в 1903 году».*) Всего лишь два года назад! Это он нарочно, с тонким расчетом сует под нос читателям дату! Для того чтобы опровергнуть заверения моего газетного синдиката, что я префратил свои жестокости в Конго, что все это давным-давно уже кончилось. С

каким наслаждением этот Кейзмент роется в мелочах, как злорадно носится со своими открытиями, упивается ими, обсаживает каждую глупость. Чтобы понять, к чему он стремится, вовсе не нужно штудировать эту снотворную книжицу, достаточно прочесть начало каждой главы. (*Читает.*)

«240 человек — *мужчин, женщин и детей* — обязаны еженедельно сдавать государству *тонну* высококачественных пищевых продуктов за царскую плату 15 шиллингов 10 пенсов, иначе говоря — даром!»

Неправда, это щедрая плата. Почти пенс в неделю на каждого черномазого! Консул нарочно преуменьшает, а ведь знает же отлично, что я мог бы и вовсе не платить — ни за продукты, ни за труд. Могу привести тысячу фактов в доказательство. (*Читает.*)

«Карательная экспедиция в деревню, запоздавшую с поставками. Убито 16 человек, в том числе три женщины и ребенок пяти лет, 10 человек взяты в качестве заложников, среди них ребенок, который по дороге умер».

Мистер Кейзмент обходит молчанием то обстоятельство, что мы *вынуждены* брать заложников, если люди не могут нам заплатить. Тогда семьи, сбежавшие в леса, продают кого-нибудь из своих в рабство и на эти деньги выкупают заложников. Кейзмент отлично знает, что я и сам бы рад это прекратить, если бы нашел лучший способ выколачивать из них долги. Ух! Еще один образчик такта: консул приводит свой разговор с туземцами.

«Вопрос. Откуда вам известно, что именно *белые* приказали расправляться с вами столь жестоко? Скорее можно поверить, что такие зверства совершали чернокожие солдаты, без ведома белых.

Ответ. Белые говорили солдатам: «Вы убиваете одних женщин, а мужчин не трогаете. Доставьте доказательства, что убили мужчин». Тогда солдаты, убивая наших... (он смущенно замялся, указывая на...) делали так и несли белым, и те им говорили: «Теперь мы верим, что вы убили *мужчин*».

Вопрос. Вы все это подтверждаете? И со многими убитыми это сделали?

Тут все закричали: «Нкто! Нкто!» — то есть очень много, очень много.

Несомненно, эти люди ничего не сочиняли. Такое волнение, такой гнев, такую ненависть на лицах симулировать было бы невозможно!»

Конечно, критику было необходимо раззвонить об этом: самоуважения ни на грош! Все его единомышленники набросились на меня, будто не понимая, что я сам не рад наказывать людей таким образом, а делаю это исключительно в назидание другим преступникам. Обычные меры наказания на глухых дикарей не действуют, не производят на них впечатления. *(Слова принимаются за чтение.)*

«Опустевший район: из 40 000 жителей осталось 8000».

Кейзмент не дает себе труда разьяснить, как это случилось. Он все нарочно окутывает тайной. Надеется, что читатели и все эти господа, такие, как лорд Абердин, Норбери, Джон Морли и сэр Гилберт Паркер, ратующие за реформы в Конго, подумают, что этих людей убили. А вовсе нет. Подавляющее большинство их скрылось. Забрали семьи и сбежали в лес, спасаясь от облав, и там вымерли с голоду. Разве мы могли это предотвратить?

Один из жалостливых критиков замечает: «Другие христианские правители хоть и взимают налоги со своих подданных, но зато дают им школы, органы правосудия, дороги, воду и свет, охраняют их жизнь; а король Леопольд облагает украденную им страну налогами, *но ничего не дает народу, кроме голода, горя, позора и рабства, кроме террора, торем, увечий и массового истребления*». Типичная манера критиков! Стало быть, я ничего не даю? А Евангелие, которое я посылаю оставшимся в живых? Ведь знают же это пасквильнты прекрасно, но скорее позволят вырвать себе язык, чем скажут правду! Я неоднократно повторял наказ, чтобы во время облав умирающим подносили целовать святой крест, и если это выполнялось, то я, несомненно, был смиренным орудием спасения многих душ. Ни у одного из моих хулителей не хватит порядочности рассказать об этом, но я прощаю им; всевышнему и так все известно, и в этом я черпаю утешение и поддержку». *(Кладет на место доклад, берет брошюру, раскрывает посередине и пробегает глазами страницу.)*

Вот он откуда пошел, этот разговор о «западне»! Еще один шпион-миссионер, его преподобие У. Г. Шепард! Беседовал с кем-то из моих чернокожих наемников после облавы и выманил у него кое-какие сведения. Вот что он тут рассказывает:

«— Я потребовал тридцать рабов отсюда и тридцать с другого берега, — сказал мне этот человек, — два слоновых клыка, две тысячи пятьсот комков каучука, тринадцать коз, десять штук домашней птицы, шесть собак и еще кое-чего.

— А по какой причине началось побоище? — спросил я.

— Я созвал на определенный день всех вождей с их помощниками и всех жителей — мужчин и женщин, пообещав закончить на этот раз переговоры. Когда они вошли через узенькие ворота (а забор был очень высокий, как здесь водится, из жердей, привезенных из других деревень), я потребовал

выполнения моего приказа и пригрозил, что в противном случае они будут убиты, но они отказались платить, тогда я велел запереть ворота, чтобы они не убежали, и мы их перестреляли. Но часть забора рухнула, и некоторым все-таки удалось спастись бегством.

– Сколько же вы убили народу? – поинтересовался я.

– Да немало. Желаете взглянуть?

Именно этого мне и хотелось.

– Думаю, что мы убили человек восемьдесят-девяносто; насчет других деревень не знаю: сам я туда не ездил, а посылал своих людей.

Вместе с ним мы вышли в степь, расстилавшуюся за лагерем. Там на траве лежали три трупа, зачищенные до костей, начиная от пояса.

– Кто это их так искромсал? – спросил я.

– Мои люди съели и их, – ответил он без запинки. Потом добавил: – Только те, у кого маленькие дети, не едят человеческого мяса, остальные не отказываются.

Слева от нас лежал труп рослого мужчины без головы, с огнестрельной раной на спине. (Все трупы были голые.)

– Куда девалась его голова? – спросил я.

– О, из нее сделали миску, тереть табак и диамбу.

Продолжая осмотр, мы бродили до вечера и насчитали сорок один труп. Остальные были употреблены на еду.

На обратном пути мы заметили труп молодой женщины, убитой выстрелом в затылок, без одной руки. Я попросил объяснения, и Мулунха Нкуса ответил, что им велят у всех отрубать правые руки и сдавать государству по возвращении из экспедиции.

– А не могли бы вы показать мне эти руки? – спросил я.

Он провел меня под навес, где тлел костер, а там я увидел все эти правые руки, висевшие над огнем; я насчитал 81.

У них в заключении томилось не меньше 60 женщин (Бена Пьянга). Я их видел. Мы считаем, что подвергли это преступление весьма тщательному расследованию. По нашему мнению, оно было совершено в соответствии с предварительным планом: «обобрать туземцев до нитки, загнать этих несчастных в западню и уничтожить».

Итак, *еще одна* подробность – людоедство! С оскорбительной назойливостью теперь заговорили о людоедстве. Причем клеветники не упускают случая подчеркнуть, что поскольку я самодержец и одного моего слова достаточно, чтобы любое дело прекратить, поскольку все, что совершается, совершается с моего соизволения и может быть причислено к *моим* действиям; иначе говоря, это делаю я, а рука моего агента, по сути дела, моя рука! Не удивительно, что меня изображают в королевской мантии, с короной на голове, жующим человеческое мясо и возносящим благодарственную послеобеденную молитву. О гос-

поди, когда добрым людям попадает такая писанина, как исповедь этого миссионера, они просто теряют покой. Начинают кошунствовать – сетовать на бога: как, мол, он терпит на земле такого дьявола? То есть меня! На их взгляд, это непорядок. Их в дрожь бросает при мысли, что за двадцать лет моего владычества число жителей Конго сократилось с 25 миллионов до 15. «Король, у которого на совести 10 миллионов убийств! – шипят они и добавляют: – Рекордсмен!»

А многие уверяют, что не 10 миллионов, а гораздо больше: мол, если бы не моя деятельность, то при естественном приросте населения в Конго было бы в настоящее время 30 миллионов, – значит, на моей совести еще 5 миллионов, а в общей сложности 15 миллионов. При этом вспоминают сказочку о человеке, убившем курицу, которая несла золотые яйца, – сколько бы она еще снесла, не перережь он ей горло! Таким-то образом я и вышел в рекордсмены! Вспоминают, что в Индии два в тридцать лет Царь-Голод уносит до 2 миллионов из ее 320 миллионов жителей, и весь мир содрогается от ужаса и проливает слезы; а потом смеют уверять, что миру не хватило бы слез, если бы я и Царь-Голод на 20 лет поменялись местами. Людская фантазия все пуще распаляется, и вот уже кто-то вообразил такое: двадцатилетний срок кончился, и Царь-Голод является ко мне и падает мне в ноги со словами: «Наставляй меня, о господин мой, теперь я уразумел, что я лишь скромный твой ученик!» Или такая картинка: приходит Смерть со своей косой и песочными часами, предлагает мне в жены свою дочь, хочет передать мне все свое дело, чтобы я его реорганизовал и возглавил. Возглавил всемирную фирму! Болезненная фантазия людей уже не знает удержу: начинают выискивать аналогии в мировой истории, штудируют биографии Аттилы, Торквемады, Чингисхана, Ивана Грозного и прочей подобной публики и, злорадно торжествуя, заявляют, что нет мне равного. Тогда принимают изучать знаменитые землетрясения, ураганы и бури, извержения вулканов и другие катастрофы и выносят решение: всем им далеко до меня! Но наконец они все-таки находят (так им по крайней мере кажется) одно подходящее сравнение и нехотя признают, что было такое бедствие, как я, – правда, одно-единственное – *всемирный потоп*. Ишь куда загнули!

Но это они всегда так. При малейшем упоминании моего имени они уже не могут оставаться спокойны, как не может стакан с водой контролировать свои чувства, когда в него всыпают зейдлицкий порошок. Какая только чужь не лезет им в голову! Один англичанин предложил заключить со мной пари – на какую угодно сумму, вплоть до 20 000 г и н е й, – что в течение двух миллионов лет никто из других приезжих не затмит меня в аду. Слепленный злобой, этот человек даже не соображает, сколь глупа его идея. Глупа и лишена делового расчета: ни он, ни я фактически не выиграем пари, ибо потершим колоссальные

убытки на процентах, которые за это время нарастут на наши ставки. Ведь к моменту истечения срока пари, при четырех-пяти сложных процентах, скопилось бы столько денег (мне и суммы-то не назвать!), что на них вполне можно было бы купить всю преисподнюю!

Другой сумасшедший рвется увековечить мое имя памятником из 15 миллионов черепов и скелетов и с пеной у рта хлопочет о своем невероятном проекте. Он уже все рассчитал и вычертил в масштабе. Этот мой памятник-мавзолей, сооруженный из черепов, должен быть точной копией пирамиды Хеопса: площадь основания — 13 акров, высота 451 фут. Меня этот маньяк намерен набальзамировать и установить на вершине пирамиды, в короне и королевской мантии, с «пиратским флагом» в одной руке и ножом мясника и наручниками — в другой. Пирамида должна быть воздвигнута в безлюдной местности, среди замшелых, заросших сорняком развалин сожженных деревьев, где в унылый вой ветра влетают стоны мертвецов, замученных голодом и пытками. От пирамиды будут отходить радиально 40 широких подъездных аллей, каждая длиной в 35 миль, обсаженных обезглавленными скелетами на расстоянии полутора ярдов друг от друга. Все скелеты, по плану, скованы между собой цепями, а цепи крепятся к запыстям при помощи старого испытанного средства — железных наручников, на которых красуется моя торговая марка: нож мясника, положенный поперек креста, и девиз: «Сим богатею». На каждой стороне аллеи 200 000 скелетов, то есть всего 400 000. Автор проекта не без удовольствия отмечает, что, если вытянуть все 15 миллионов скелетов в одну линию, они займут 3000-4000 миль, что равно расстоянию от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Бодрым тоном директора железнодорожной компании, сообщающего о блестящих перспективах строительства новых путей, он приводит такие данные: работая на полную мощность, я даю ежегодно 500 000 покойников, а значит, если мне будет отпущено еще 10 лет жизни, я обеспечу нужное количество черепов, чтобы добавить к пирамиде еще 175 футов, превратив ее в самое высокое архитектурное сооружение на свете, и нужное количество скелетов, чтобы продолжить трансконтинентальную линию (на сваях) на тысячу миль от берега в Тихий океан. Этот идиот подсчитал, сколько будет стоить добыча материалов из моих «широко разбросанных по стране неофициальных кладбищ» и перевозка их на место, а также само строительство пирамиды и величественных аллей: это обойдется в миллионы гиней; и знаете, что нашему психопату взбрело на ум? *Чтобы я все это финансировал!...!!! (Несколько раз пылко целует крест).* Он напоминает, что Конго приносит мне ежегодно многомиллионные доходы, а на осуществление его проекта, мол, требуется «только» 5 миллионов! Что ни день, то какой-нибудь маньяк пытается запустить руку в мой карман, но, правда, я на это не реагирую, меня не

проймешь! А *вот этот* – этот беспокоит меня, действует мне на нервы; бог знает, что еще взбредет в голову такому разболтанному субъекту!.. Еще чего доброго вспомнит Карнеги... Нет, нет, прочь такие мысли! Они отравляют часы моего бодрствования, мешают спать по ночам. Так ведь и с ума сойти недолго! *(Пауза.)* Хочешь не хочешь, а, видимо, придется купить Карнеги. *(Шагает взад и вперед, взволнованно бормочет, потом начинает опять читать брошюру консула Кейзмейта.)*

«Власти заморили голодом малолетних детей одной женщины и убили ее старших сыновей».

«Безжалостное уничтожение женщин и детей».

«Лишенные надежд, туземцы окончательно впали в апатию».

«Солдаты с каучуковых плантаций заковали женщин в железные воротники».

«Женщины отказываются рожать, потому что, имея на руках детей, трудно убежать и прятаться от солдат».

«Рассказ ребенка: «Мы все побежали в лес – я, мама, бабушка и сестра. Солдаты убили очень много наших... Вдруг они заметили в кустах мамину голову и подбежали к нам, схватили маму, бабушку, сестру и одного чужого ребенка, меньше нас. Все хотели жениться на моей маме и спорили между собой, а под конец решили убить ее. Выстрелили ей в живот, она упала, и я так ужасно заплакал, когда это увидел, – у меня теперь не было ни мамы, ни бабушки, один я остался. Их убили у меня на глазах».

Вообще-то, жаль, конечно, хоть они были и черномазые! Вспоминаю, когда мои дети были малы, они тоже имели привычку прятаться в кусты, заметив мое приближение. *(Читает.)*

«Вспоролли ребенку ножом живот...»

«Отрубив руки, понесли их белому офицеру и выложили в ряд для обозрения».

«Солдаты оставили пойманных детей умирать в лесу».

«Друзья пришли выкупать девушку, но караульные прогнали их, сказав, что белый человек хочет оставить ее для себя, так как она молодая».

«Из рассказа девушки-туземки: «По пути солдаты заметили ребенка и направились к нему с намерением убить; ребенок засмеялся, тогда солдат размахнулся и ударил его прикладом, а потом отрубил ему голову. На другой день они убили мою сводную сестру, отрубили ей голову, и руки и ноги, на которых были браслеты. Потом поймали другую мою сестру и продали ее племени у-у. Теперь она стала рабыней».

«Ребенок засмеялся!» *(Долгая пауза. Размышляет.)* О невинное дитя! Лучше бы он не смеялся, мне это как-то неприятно. *(Читает.)*

«Искалеченные дети».

«Власти одобряют работорговлю между племенами».

«Для уплаты громадных штрафов, наложенных на деревни за задержку принудительных поставок, туземцам приходится продавать в рабство детей и товарщицей».

«Родители вынуждены продать своего маленького сына».

«Вдова вынуждена продать свою маленькую дочь».

Черт побери этого дотошного брюзгу, что ж, по его мнению, должен был я делать? Дать поблажку вдове только потому, что она вдова? Будто он не знает, что нынче там, кроме вдов, почти никого и не осталось! Вдовы как таковые мне не мешают, я против них ничего не имею, но деловую сторону я должен помнить, мне тоже надо жить, хоть кое-кому это неуютно! (*Читает.*)

«Мужчин запугивают пытками жен и дочерей (чтобы они быстрее сдавали каучук и пищевые продукты). Стражник сообщил мне, что он захватил этих женщин и привел сюда (заковав в железные воротники и соединив цепью) по приказу своего начальника».

«По словам агента, его заставляли ловить главным образом женщин, так как тогда мужа спешили уплатить задолженность; но он не рассказал, где достают себе пропитание дети, у которых отняты родители».

«Партия пленников – 15 женщин».

«Женщины и дети обречены на голодную смерть в тюрьме».

Голодная смерть! Страшные, нестерпимые муки, длящиеся много, много дней и еще много, много дней. Силы тают постепенно, медленно иссякая... Да, это, пожалуй, самая страшная из всех смертей. Видеть, как проносят каждый день мимо тебя еду, а тебе не дают... Конечно, малыши плачут от голода, терзая этим материнское сердце!.. (*Вздыхает.*) Ох, что же делать, иначе нельзя, обстоятельства вынуждают нас поддерживать дисциплину. (*Читает.*)

«60 женщин распяты».

Вот уж бестактно и глупо! Христианский мир содрогнется, прочитав такое сообщение, начнет вопить: «Профанация святой эмблемы!» Да, тут уж наши христиане загудят! 20 лет меня обвиняли в том, что я совершал по 500 000 убийств в год, и они молчали, но профанация Символа – это для них вопрос серьезный. Они сразу встрепаются и начнут копать в моем прошлом. Гудеть будут? Еще как! Я, кажется, уже слышу нарастающий гул... Конечно, не следовало распинать этих женщин, разумеется, не следовало. Теперь мне самому это понятно, и я сожалею, что так случилось, искренне сожалею.

Как будто нельзя было попросту содрать с них кожу? (*Вздыхает.*) Но никто из нас об этом не подумал, – разве все предугадаешь? И кто из людей не ошибается?

Да, эти казни на кресте наделяют много шуму. Как уже не раз бывало, люди опять начнут спрашивать, неужто я надеюсь завоевать и сохранить уважение человечества, если буду по-прежнему посвящать свою жизнь грабегам и убийствам. (*Презрительно.*) Интересно знать, когда они от меня слышали, что я нуждаюсь в уважении человечества? Не принимают ли они меня за простого смертного? Уж не забыли ли они, что я король? Кто из королей ценил когда-нибудь уважение человечества? Я имею в виду – ценил по-настоящему, в глубине души? Если бы эти люди поразмыслили, они бы поняли, что королю просто нет смысла ценить чье-то уважение. Он вознесен на недостижимую высоту и, оглядывая лежащий перед ним мир, видит несметные сонмища жалких людишек, которые поклоняются десятку людей и терпят их гнет и эксплуатацию, а люди эти ничуть не лучше и не благороднее их и созданы по тому же подобию, вернее – из той же грязи. Послушать их *речи*, так вообразишь, что они киты, но король-то знает, что они не киты, а лягушки. История выдает их с головой. Если бы люди были *людьми*, разве допустили бы они, чтобы существовал русский царь? Или я? А мы существуем, мы в безопасности и с божьей помощью будем и далее продолжать свою деятельность. И род человеческий будет столь же покорно принимать наше существование. Кое-кто, может быть, состроит недовольную гримасу, произнесет зажигающую речь, но так и останется на коленях.

Вообще, зажигающие речи – одна из специальностей рода человеческого. Вот он взвинтит себя как следует, и кажется: сейчас запустит кирпичом! Но все, на что он способен, это... родить стишки. Боже мой, что за племя! (*Читает стихотворение* Б. Г. Нэйдела в «Нью-Йорк таймс».)

Царь – 1905 год

Обломок деспотий, картонный автократ,
Угрюмый отблеск гаснущих планет,
Свечи оплывшей тусклый, слабый свет
В лучах зари, что небо золотит,
Прогнивший плод, который портит сад,
Покинут богом, временем забыт.

Непрочный идол ледяных широт!
Ему безгласный молится народ,
Но идол слышит, как земля дрожит.
И сквозь тяжелый, цепенящий сон
Донесся гул: то гром загрохотал,
И, руша скалы, катится обвал,
И гибель царства льда со страхом чует он.

Красиво, внушительно; надо признать, что сделано яркими мазками. Этот ублюдок владеет кистью! Все же попадись он мне в руки, я бы его распял... *«Непрочный идол...»* Правильно, это точная характеристика царя: идол, и притом непрочный, мягкотелый, некое царственное беспозвоночное; бедный молодой человек – жалостливый, не от мира сего. *«Ему безгласный молится народ...»* Суровая правда, и выражено кратко, лаконично: в одной фразе заключены душа и ум человечества. 140 миллионов на коленях. На коленях перед маленьким жестяным божком. Поставьте их на ноги, соберите вместе, и они заполнят необъятное пространство, теряясь в безбрежной дали, – даже в телескоп не разглядишь, где конец этой покорной массы. Так как же может король ценить уважение человечества? Для этого нет оснований! Между прочим, занятное изобретение – род человеческий. Критикует меня и мою деятельность, забывая, однако, что без его санкции не было бы ни меня, ни моей деятельности. Он – союзник монархов и мощный наш защитник. Он – наша поддержка, наш друг, наш оплот. За это он удостоен нашей благодарности, глубокой и искренней, но не уважения, нет! Пусть брюзжит, ворчит, сердится – ничего, нас это не тревожит. *(Листает альбом, время от времени останавливается, чтобы прочесть газетную вырезку и высказаться по поводу нее.)* Как, однако, все эти поэты травят беднягу царя! Каждый поэт – французский, немецкий, английский, американский – готов его обляять. Самые лучшие и способные из этой братии, и притом самые злые, – это Свилбурн – кажется, англичанин – и парочка американцев: Томас Бейли Эддридж и полковник Ричард Уотерсон Гилдер, которых печатают сентиментальные журнал «Сенчюри» и газета «Луисвилл курьер джорнел». Эти вопят громче всех... куда это я заложил их сочинения, не нахожу... Если бы поэты умели не только лаять, но и кусаться, тогда бы, о!.. Хорошо, что это не так. Мудрому царю поэты не страшны, но поэты этого не знают. Невольно вспоминаешь собачонку и железнодорожный экспресс. Когда царский поезд с грохотом пронесется мимо, поэт выскакивает и мчится следом несколько минут, заливаясь бешеным лаем, а потом спешит назад в свою конуру, самодовольно оглядываясь по сторонам, уверенный, что напугал царя до смерти, а царь и понятия не имеет, что он там был! На меня они никогда не лают. Почему? Вероятно, мой Департамент взятки подкупает их. Да, наверное, это так, иначе кто, как не я, вызывал бы их яростный лай? Ведь материал-то первоклассный! А-а, вот, кажется, что-то и в мой огород! *(Читает волголоса стихотворение.)*

Кто право дал тебе душить надежду
И темный твой народ топить в крови?

.....
Какою властью тебе дана
Столь страшная, столь зрелая жестокость?

.....
Ужасно... Боже, ты, кто это видишь,
Избавь от изверга такого землю!

Нет, ошибся, это тоже адресовано русскому царю. Но иные люди могут сказать, что это подходит и ко мне, и притом довольно точно. «*Столь зрелая жестокость...*» Жестокость русского царя еще не созрела, но что касается моей, то она не только созрела, но уже и гниет! Никак им рот не заткнешь – они воображают, что это очень остроумно! «*Изверг!*» ...Нет, пусть эта кличка остается царю, у меня ведь уже есть своя. Меня давно называют чудовищем – это они очень любят, – преступным чудовищем. А теперь еще прибавили перцу: где-то выкопали доисторического динозавра длиной в 57 и высотой в 16 футов, выставили его в музей в Нью-Йорке и назвали Леопольд II. Однако меня это не трогает, от республики нечего ждать хороших манер. М-м... Кстати, а ведь на меня никогда не рисовали карикатур. Может быть, это потому, что злодеи-художники еще не нашли такого оскорбительного и страшного изображения, какое отвечало бы моей репутации? (*После размышления.*) Ничего не остается, как только кушить динозавра. Кушить его и изъять! (*Опять углубляется в чтение заголовков.*)

«НОВЫЕ ФАКТЫ КАЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ (ОТСЕЧЕНИЕ РУК)».

«ПОКАЗАНИЯ АМЕРИКАНСКИХ МИССИОНЕРОВ».

«СВИДЕТЕЛЬСТВО АНГЛИЙСКИХ МИССИОНЕРОВ».

Старая песня, нудное повторение и перепевы затасканных эпизодов: калечение, убийства, резня и так далее и тому подобное; от такого чтения клонит ко сну!

А вот еще непрошеное явление: мистер Морел со своими излияниями, которые он мог бы с успехом оставить при себе; вводит, разумеется для важности, курсив – такие, как он, жить не могут без курсива!

«Это сплошной душераздирающий рассказ о человеческих страданиях, и произошло это совсем недавно».

Он имеет в виду годы 1904 и 1905. Мне непонятно поведение этого человека. Ведь Морел – королевский подданный, и почтение к монархии должно было бы сдерживать его разоблачительный пыл в отношении меня. Морел хлопочет о реформах в Конго. Это одно уже характеризует его в достаточ-

Луиза Морган Силл в «Харперс уикли». – *Прим. автора.*

ной мере. Он издает в Ливерпуле листок «Вест-Африкен мейл», существующий на добровольные пожертвования разных сердобольных олухов, и каждую неделю эта газетка кипит, дымит и извергает зловоние, что должно означать последние известия о «зверствах в Конго» по образцу того, что стряпается вот в этой куче книжонок. Надо прикрыть эту газетку! Я изъял книгу о зверствах в Конго, когда она была уже отпечатана, а с газетой разделаться мне и вовсе просто!

(Разглядывает фотографии изувеченных негров, потом швыряет их на пол. Со вздохом.) «Кодак» – это просто бич. Наш самый опасный враг, честное слово! В былые дни мы просто «разоблачали» в газетах рассказы об увечьях, отбрасывая их как клевету, выдумку, ложь назойливых американских миссионеров и разных иностранных коммерсантов, наивно поверивших «политике открытых дверей в Конго», провозглашенной Берлинской хартией, и нашедших эти двери плотно закрытыми. С помощью газет мы приучили христианские народы всего мира относиться к этим рассказам с раздражением и недоверием и ругать самих рассказчиков. Да, в доброе старое время гармония и лад царили в мире. И меня считали благодетелем угнетенного, обездоленного народа. Как вдруг появляется неподкупный «Кодак», и вся гармония летит к чертям! Единственный очевидец за всю мою долготлетнюю практику, которого я не сумел подкупить! Каждый американский миссионер и каждый потерпевший неудачу коммерсант выписывает себе аппарат, и теперь эти снимки проникли повсюду, как мы ни стараемся перехватывать их и уничтожать. С 10 000 церковных кафедр, со страниц 10 000 газет идет сплошным потоком прославление меня, в категорической форме опровергаются все сообщения о зверствах. И вдруг – нате, скромный маленький «Кодак», который может уместиться даже в детском кармане, встает и бьет наотмашь так, что у всех разом отнимается язык... А это еще откуда отрывок? (Начинает читать.)

«Впрочем, оставим попытки рассказать о всех его преступлениях! Их список бесконечен, неисчерпаем. Страшная тень Леопольда лежит на Свободном государстве Конго, под этой тенью с невероятной быстротой чахнет и вымирает кроткий пятнадцатимиллионный народ. Это страна могил, Свободное кладбище Конго. Здесь все имеет царственные масштабы: ведь этот кошмарнейший эпизод в истории – дело рук *одного* человека, одной-единственной особы: короля бельгийского Леопольда. Он, и только он, несет личную ответственность за все бесчисленные преступления, запятнавшие историю государства Конго. Он там *полноправный* хозяин, абсолютный властелин. Достаточно было бы одного его приказа, и давным давно кончились бы все злодеяния, достаточно ему и сейчас сказать слово, и все будет прекращено. Но он этого слова не произносит. Для его кармана это невыгодно.

Удивительно наблюдать, как король огнем и мечом уничтожает страну и ее мирных жителей — и все во имя денег, исключительно во имя звонкой монеты. В жажде завоеваний есть нечто царственное — короли извечно предавались этому элегантному пороку; мы к этому привыкли и по привычке прощаем, усматривая в этом что-то благородное; *но жажда денег, жажда серебра и медяков, самых заурядных грязных денег* — не для того, чтобы обогатить свою страну, а чтобы набить *собственный кошелек*, — это ново! Это вызывает у нас гадливое чувство, презрительное осуждение. Мы не можем примириться с такими действиями, мы называем их гнусными, неприличными, недостойными короля. Как демократы, мы должны бы издеваться и хохотать, мы должны бы радоваться, когда пурпурную мантию марают в грязи; однако мы почему-то не радуемся. Вот перед нами этот страшный король, этот безжалостный король-кровопийца, ненасытный в своей безумной алчности, на высоком, до неба, памятнике собственных злодеяний, изолированный, оторванный от всего остального человечества, убийца в целях наживы, каких не было даже среди его касты — ни в древности, ни в наши дни, ни среди христиан, ни среди язычников; естественный, законный объект презрения для всех слоев общества — и низших и высших, человек, которого должны бы проклинать все те, кто не жалуется тиранов и трусов; и вот, как это ни удивительно, *мы предпочитаем не смотреть* — по той причине, что это король, и нам больно и неприятно, наш древний атавистический инстинкт страдает, когда монарх падает так низко, и мы не желаем слышать подробностей о том, как это произошло. А увидев их в газете, *мы с содроганием отворачиваемся*.

Правильно, вот это меня и спасает. И вы будете продолжать в том же духе. Я знаю человеческую породу.

ОШИБКА, ДОПУЩЕННАЯ В САМОМ НАЧАЛЕ

«Эта «цивилизаторская» деятельность явилась колоссальным, непрерывным истреблением людей...» «Все факты, доложенные нами депутатам этой палаты, вначале энергично опровергались, но постепенно они подтвердились документами и официальными текстами...» «Говорят, что практика отрубания рук противоречит инструкции, однако вы просите отнестись к ней снисходительно, мотивируя тем, что «мало-помалу» этот дурной обычай будет изжит; более того, вы утверждаете, что руки отрубали только у *наших* врагов, а если отрубали у тех, кто еще не умер, и эти бессовестные люди, выжив, шли показывать миссионерам свои обрубки, то всему виной была ошибка, допущенная в самом начале, когда живых приняли за мертвых...» *(Из дебатов в бельгийском парламенте в июле 1903 года.)*

ВОЕННАЯ МОЛИТВА

То было время величайшего волнения и подъема. Вся страна рвалась в бой – шла война, в груди всех и каждого горел священный огонь патриотизма; гремели барабаны, играли оркестры, палили игрушечные пистолеты, пучки ракет со свистом и треском взлетали в воздух; куда ни глянь – вдоль теряющихся вдаль крыш и балконов сверкала на солнце зыбкая чаща флагов; каждый день юные добровольцы, веселые и такие красивые в своих новых мундирах, маршировали по широкому проспекту, а их отцы, матери, сестры и невесты срывающимися от счастья голосами приветствовали их на пути; каждый вечер густые толпы народа затаив дыхание внимали какому-нибудь патриоту-оратору, чья речь задевала самые сокровенные струны их души, и то и дело прерывали ее бурей аплодисментов, в то время как слезы текли у них по щекам; в церквах священники убеждали народ верой и правдой служить отечеству и так пылко и красноречиво молили бога войны ниспослать нам помощь в правом деле, что среди слушателей не нашлось ни одного, который не был бы растроган до слез. Это было поистине славное, удивительное время, и те немногие опрометчивые люди, которые отваживались неодобрительно отозваться о войне и усомниться в ее справедливости, тотчас получали столь суровую и гневную отповедь, что ради собственной безопасности почитали за благо убраться с глаз долой и помалкивать.

Настало воскресенье – на следующий день войска выступали на фронт; церковь с утра была набита до отказа, здесь же находились и добровольцы, чьи юные лица горели в предвкушении ратных подвигов; мысленно они уже были там – вот они наступают, упорно, все быстрее и решительнее, стремительный натиск, блеск сабель, враг бежит, паника, пороховой дым, яростное преследование, капитуляция! – и вот они снова дома: вернулись с войны закаленные в боях герои, долгожданные и обожаемые, в золотом сиянии победы! С добровольцами сидели рядом их близкие, гордые и счастливые, вызывая зависть друзей и соседей, не имевших братьев и сыновей, которых они могли бы послать на поле брани добыть отчизне победу или же пасть смертью храбрых. Служба шла своим чередом: священник прочел военную главу из Ветхого завета, потом первую молитву; загудел орган, сотрясая здание; молящиеся поднялись в едином порыве, с бьющимся сердцем и блестящими глазами, и в церкви зазвучал могучий призыв:

Господи, грозно на землю взирающий,
Молнии, громы послушны тебе!

Затем последовала «долгая» молитва. Никто не мог бы припомнить ничего равного ей по страстности и проникновен-

ности чувства и по красоте изложения. Просили в ней больше всего о том, чтобы всеблагой и милосердной отец наш оберегал наших доблестных молодых воинов, был бы им помощью, опорой и поддержкой в их подвигах во имя отчизны; чтобы он благословлял их и охранял в день битвы и в час опасности, держал их в своей деснице, дал им силу и уверенность и сделал непобедимыми в кровавых схватках; чтобы помог он им сокрушить врага, даровал им, их оружию и стране вечный почет и славу...

В эту минуту в церковь вошел какой-то пожилой незнакомец и неторопливо, беспшумной поступью направился по главному проходу к алтарю. Глаза его были устремлены на священника, высокую фигуру облекала одежда, доходившая до пят, и седые волосы пышной гривой падали на плечи, обрамляя изборожденное морщинами лицо, неестественное, даже мертвенно-бледное. Все с недоумением смотрели на него, а он, молча пройдя между скамей, поднялся на кафедру и выжидаяще стал рядом со священником. Смежив веки и не догадываясь о присутствии незнакомца, священник продолжал читать свою волнующую молитву и закончил ее страстным призывом: «Благослови наше воинство, даруй нам победу, господи боже наш, отец и защитник земли нашей и оружия!»

Незнакомец дотронулся до его плеча, жестом приказал ему отойти — что изумленный священник не замедлил исполнить — и занял его место. Несколько мгновений он сурово оглядывал потрясенных слушателей, и глаза его горели прозрачным огнем, потом низким, глухим голосом начал:

— Я — посланец престола, несущий вам слово господне!

Прихожане стояли как громом пораженные; незнакомец если и заметил их испуг, то не обратил на него ни малейшего внимания.

— Всевышний услышал молитву своего слуги, вашего пастыря, и готов ее исполнить, если таково будет ваше желание после того, как я, его посланец, разъясню вам ее смысл, точнее — полный ее смысл. Ибо, как и во многих других людских молитвах, вы, сами того не подозревая, просите о неизмеримо большем, чем вам кажется, когда вы молитесь, — если, конечно, вы заранее все не обдумали.

Слуга божий и ваш прочел молитву. Подумал ли он, прежде чем прочитать ее? И одна ли это молитва? Нет, их две: одна — которую он произнес вслух, и другая — которой не произнес. И обе достигли ушей того, кто слышит все просьбы — высказанные и невысказанные. Поразмыслите над этим — и запомните. Если станете просить благословения своим делом и поступкам, будьте осторожны, ибо в эту минуту вы непреднамеренно можете навлечь проклятье на соседа. Если вы молитесь о ниспослании дождя, ибо он нужен полям вашим, — тем самым вы, быть может, молитесь о бедствии для соседа, чья земля не нуждается во влаге и дождь испортит ему урожай.

Вы слышали молитву вашего слуги – ту ее часть, которую он произнес вслух. Господь послал меня к вам, чтобы я облек в слова другую ее часть – то, о чем пастор и все вы в глубине сердца молча молили его. Не разумея и не думая, о чем молитесь? Дай бог, чтобы это было так. Вы слышали слова: «Даруй нам победу, господи боже наш!» Этого достаточно. Вся молитва, которую вы произносили здесь вслух, заключена в этих многозначительных словах. Уточнения излишни. Моля о победе, вы молили и о многих не упомянутых вами следствиях, которые сопутствуют победе, должны ей сопутствовать, не могут не сопутствовать. И вот до слуха отца нашего небесного дошла и невысказанная часть молитвы. Он повелел мне облечь ее в слова. Внемлите же!

Господи боже наш, наши юные патриоты, кумиры сердец наших, идут в бой – пребудь с ними! В мыслях мы вместе с ними покидаем покой и тепло дорогих нам очагов и идем громить недругов. Господи боже наш, помоги нам разнести их солдаты снарядами в кровавые ключья; помоги нам усеять их цветущие поля бездыханными трупами их патриотов; помоги нам заглушить грохот орудий криками их раненых, корчащихся от боли; помоги нам ураганом огня сровнять с землей их скромные жилища; помоги нам истерзать безутешным горем сердца их невинных вдов; помоги нам лишить их друзей и крова, чтобы бродили они вместе с малыми детьми по бесплодным равнинам своей опустошенной страны в лохмотьях, мучимые жаждой и голодом, летом – палимые солнцем, зимой – дрожащие от ледяного ветра, вконец отчаявшиеся, тщетно умоляющие тебя развернуть перед ними двери могилы, чтобы они могли обрести покой; ради нас, кто поклоняется тебе, о господи, разве в прах их надежды, сгуби их жизнь, продли их горестные скитания, утяжели их шаг, окропи их путь слезами, обagri белый снег кровью их израненных ног! С любовью и верой мы молим об этом того, кто есть источник любви, верный друг и прибежище для всех страждущих, ищущих его помощи со смиренным сердцем и покаянной душой. Аминь.

(Помолчав немного.) Вы молились об этом; если вы все еще желаете этого, – скажите! Посланец всевышнего ждет.

Впоследствии многие утверждали, что это был сумасшедший, ибо речь его была лишена всякого смысла.

ПИСЬМО АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ

Эндрю Лэнгдону,
углеторговцу.
Буффало, штат Нью-Йорк.

Управление ангела-хранителя,
подотдел прошений.
20 января.

Имею честь поставить Вас в известность, что Ваш последний акт самопожертвования и благотворительности занесен на отдельную страницу книги, именуемой «Золотые деяния челове-

ческие». Отличие это, если позволено будет заметить, не только является чрезвычайным, но почти не имеет прецедента. По поводу Ваших молитв за неделю, истекшую 19 января сего года, имею честь Вам сообщить:

1. О похолодании с последующим повышением цен на антрацит на 15 центов за тонну. – Удовлетворено.

2. О росте безработицы, с последующим снижением заработной платы на 10%. – Удовлетворено.

3. О падении цен на мягкий уголь, которым торгуют конкурирующие фирмы. – Удовлетворено.

4. О покаянии человека (включая и его семью), открывшего в Рочестере розничную продажу угля. – Удовлетворить в следующих размерах: дифтерит – два случая (один со смертельным исходом); скарлатина – один случай (осложнение на уши, глухота, психическое расстройство).

Примечание. Этот человек является служащим Нью-Йоркской центральной железнодорожной компании; было бы правильнее молиться о покаянии его нанимателей.

5. О том, чтобы черт побрал бесчисленных посетителей, надоедающих Вам просьбами о предоставлении работы или какого-либо вида помощи. – Задержано для дальнейшего рассмотрения. Эта молитва находится в противоречии с другой от того же числа, о которой будет сказано ниже.

6. О ниспослании насильственной смерти соседу, который бросил камнем в Вашу кошку, когда та вопила у него под окном. – Задержано для дальнейшего рассмотрения. Находится в противоречии с другой молитвой от того же числа, о которой будет сказано ниже.

7. «Пропади они пропадом, эти миссионеры!» – Задержано для дальнейшего рассмотрения, на том же основании, что и предыдущие.

8. О росте месячной прибыли, достигшей в декабре истекшего года 22 230 долларов, до 45 000 долларов в январе этого года и далее в той же пропорции, что было бы «пределом Ваших желаний». – Удовлетворено, с оговоркой относительно последнего замечания.

9. О циклоне, который разрушил бы шахтные постройки и затопил бы шахты Северо-Пенсильванской угольной компании.

Примечание. Циклоны временно отсутствуют, ввиду зимнего сезона. Их можно с успехом заменить взрывом рудничного газа, о чем, в случае Вашего согласия на замену, следует вознести особую молитву.

Эти 9 молитв названы здесь как наиболее существенные. Остальные 298 за неделю, истекшую 19 января, касающиеся судьбы отдельных лиц по классу А, удовлетворены оптом, с тем лишь ограничением, что в 3 из 32 случаев, когда Вы требуете немедленной гибели, смерть заменена неизлечимым заболеванием.

Перечисленным исчерпывается список Ваших молитв, отно-

сящихся, согласно принятой у нас классификации, к *тайным молениям сердца*. По понятным причинам молитвы этого рода рассматриваются нами в первую очередь.

Остальные Ваши молитвы за истекший период относятся к разряду *гласных молений*. В этот разряд входят молитвы, произносимые на молитвенных собраниях, в воскресной школе и дома – в семейном кругу. Мы определяем важность молитв этого рода в зависимости от места, которое лицо, возносящее их, занимает в нашей таблице. В соответствии с принятой у нас классификацией, мы делим христиан на две основные категории: 1) христиане по призванию; 2) христиане по названию. Обе категории в свою очередь подразделяются по калибру, подклассу и виду. Окончательная оценка выражена в каратах – от 1 до 1000.

В балансовой ведомости за последний квартал 1847 года Ваши показатели таковы:

Основная категория	Христианин по призванию.
Размеры	0,25 максимально возможной величины.
Подкласс	Человек духовный.
Вид	Избранные, серия А, раздел 16.
Ценность	322 карата.

В балансовой ведомости за только что истекший квартал, то есть по прошествии сорока лет, Ваши показатели другие:

Основная категория	Христианин по названию.
Размеры	0,06 максимально возможной величины.
Подкласс	Человек животный.
Вид	Избранные, серия Я, раздел 1547.
Ценность	3 карата.

Я имею честь обратить Ваше внимание на то, что вы деградировали по всем показателям.

Перехожу к ответам на Ваши гласные моления. Замечу в скобках, что, имея в виду поощрять христиан Вашего калибра и приближающихся к Вам, мы обычно удовлетворяем даже те из Ваших молений, которые никогда не были бы удовлетворены, если бы с ними обратились христиане более высокого калибра, – впрочем, они с ними и не обращаются.

Молитва о том, чтобы всевышний в своей благодати послал тепло бедному и нагому. – Отказано. Произнесено на молитвенном собрании. Находится в противоречии с тайным молением сердца № 1. Согласно существующей практике нашего ведомства, тайным молениям сердца, вознесенным христианами по названию, отдается преимущество перед их гласными молениями.

Молитва о ниспослании лучшей доли и обильной пищи «изнуренному сыну труда, чьи неутомимые и истощающие усилия обеспечивают удобства и радости жизни для более

счастливых смертных, обязывают нас неустанно и деятельно оберегать его от обид и несправедливостей со стороны алчного и скаредного и дарить его благодарной любовью». — Отказано. Произнесено на молитвенном собрании. Находится в противоречии с тайным молением сердца № 2.

Молитва «Да почиет благословение божие как на тех, кто поступает вопреки нашим интересам, так и на их семьях. Да будет сердце наше свидетелем, что процветание их вселяет в нас блаженство и удесятеряет нашу радость». — Отказано. Произнесено на молитвенном собрании. Находится в противоречии с тайными молениями сердца № 3 и 4.

Молитва «Не дай, господи, погибнуть чьей-либо душе по слову или делу нашему». Произнесено при совместной молитве в кругу семьи. Получено за пятнадцать минут до тайного моления сердца № 5, с которым находится в серьезном противоречии. — Предлагается отказаться от одной из молитв или привести их к единству.

Молитва «Помилуй, господи, всех тех, кто обидел нас и причинил ущерб дому нашему». Произнесено при совместной молитве в кругу семьи. По-видимому, должна включать и человека, бросившего камнем в кошку. Получено за несколько минут до тайного моления сердца № 6. — Предлагается устранить противоречие.

«Пусть великий подвиг миссионеров, благороднейший труд, когда-либо выпадавший на долю смертных, процветает и ширится без границ и без края в странах, населенных язычниками и пребывающих, к стыду нашему, во тьме духовной». Молитва, произнесенная без всякой надобности и невпопад на заседании Американского Бюро. Получено почти на полсутки ранее тайного моления сердца № 7. — Наше управление не ведает миссионерами и не имеет никакого касательства к деятельности Американского Бюро. Мы готовы удовлетворить одну из этих молитв, но не можем удовлетворить обе. Со своей стороны рекомендуем снять ту, которая была произнесена в Американском Бюро.

Я вынужден уже в двадцатый раз официально предупредить Вас относительно замечания к тайному молению сердца № 8. — У всякой шутки должен быть предел.

Из 464 пожеланий, содержащихся в Ваших гласных молениях за неделю и выше не названных, удовлетворены лишь два, а именно: 1) «Чтобы тучи проливали дождь на землю». 2) «Чтобы солнце светило по-прежнему». Оба пункта так или иначе предусмотрены божественным промыслом, и Вы можете почерпнуть удовлетворение в том, что его не нарушили. Из 462 пожеланий, в которых Вам отказано, 61 относится к произнесенным Вами в воскресной школе. В связи с этим напоминаю Вам еще раз, что молитвы в воскресной школе, исходящие от христиан по названию Вашего калибра — у нас он обычно именуется калибром Джона Ванемейкера, — нами не удовлетво-

ряются. Мы принимаем их просто оптом, по числу слов, выпущенных в единицу времени. Чтобы выполнить норму, требуется произнести не менее 3000 слов за 15 секунд. 4200 из возможных 5000 – недурной результат для мастеров по молитвам в воскресной школе. Такой результат приравнивается к двум песнопениям и букету от молодых девиц в камере бандита перед исполнением смертного приговора.

Остающиеся 401 из Ваших молений рассматриваются нами как простое колебание воздуха. Из подобных молений мы образуем встречные ветры, чтобы затруднять ход кораблей, принадлежащих нечестивцам. Однако даже для малых результатов они требуются в таком количестве, что, как правило, мы их не зачитываем. Я хотел бы добавить к этому официальному уведомлению несколько слов лично от себя. Когда люди Вашего типа совершают доброе дело, мы оцениваем его в тысячу раз выше, чем если бы оно было совершенно праведным человеком: мы учитываем затраченное усилие. Ваша превосходная репутация здесь зиждется на том, что способность к самопожертвованию у Вас развита намного сильнее, чем можно было бы ожидать. Много лет тому назад, когда Ваше состояние не превышало еще 100 000 долларов и Вы послали 2 доллара наличными Вашей бедной родственнице, вдове, обратившейся к Вам за помощью, многие здесь, в раю, просто не верили этому сообщению, другие же полагали, что ассигнации были фальшивые. Когда эти подозрения отпали, мнение о Вас сильно повысилось. Годом или двумя позже, когда, в ответ на вторую просьбу о помощи, Вы послали бедняжке 4 доллара, достоверность этого сообщения уже никем не оспаривалась, и разговоры о Вашем добродетельном поступке не смолкали в течение многих дней. Прошло еще два года, вдова снова воззвала к Вам, сообщая о смерти младшего ребенка, и Вы отправили ей 6 долларов. Это укрепило Вашу славу. Все в раю спрашивали друг у друга: «Ну как, слышали, что сделал Эндрю?» Вас к этому времени уже называли здесь любовно: «Эндрю». В последующие годы Ваши доброхотные даяния были постоянной темой разговоров, и благодарная память о Вас не остывала в наших сердцах. Весь райский сонм наблюдает Вас по воскресеньям, когда Вы едете в церковь в своем нарядном экипаже, а когда Вы подносите руку к церковной кружке, ликующий крик неизменно проносится по небесному пространству, достигая даже отдаленных пламенеющих стен преисподней: «Еще пять центов от Эндрю!»

Но вот наступил апогей Вашей славы. Несколько дней назад вдова написала Вам, что ей предлагают место учительницы в отдаленной деревушке, но у нее нет денег на дорогу. Чтобы доехать туда с двумя детьми, оставшимися в живых, ей необходимо 50 долларов. Вы подсчитали чистую прибыль от Ваших трех угольных шахт за истекший месяц – 22 230 долларов, прикинули, что в текущем месяце она возра-

стет до 45 000—50 000 долларов, взяли перо и чековую книжку и выписали ей *целых 15 долларов!* О щедрая душа! Да будет имя Ваше благословенно ныне и вовеки! Я не знаю в раю никого, кто не пролил бы слез умиления. Мы пожимали друг другу руки и лобызались, воспевая хвалу Вам, и, подобный грому, раздался глас с сияющего престола, чтобы деяние Ваше было поставлено выше всех известных доселе примеров самопожертвования, как смертных, так и небожителей, и было занесено на отдельную страницу книги, ибо Вам решиться на этот поступок было тяжелее и горше, чем десяти тысячам мучеников проститься с жизнью и взойти на пылающий костер. Все твердили одно: «Чего стоит готовность благородной души, десяти тысяч благородных душ пожертвовать своей жизнью по сравнению с даром в 15 долларов от гнуснейшей и скареднейшей гадины, которая когда-либо оскверняла землю своим присутствием!»

И как они были правы! Авраам, проливая слезы, приготовился упокоить Вас в своем лоне и даже наклеил ярлычок: «Занято и оплачено». А Петр-ключарь, проливая слезы, сказал: «Пусть он только прибудет, мы устроим факельное шествие». И когда стало доподлинно известно, что Вас ждет райское блаженство, небывалое доселе ликование поднялось в раю. В аду — тоже.

(Печать)

Ангел-хранитель. (Подпись.)

БИБЛЕЙСКИЕ ПОУЧЕНИЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ТАКТИКА

Перемены, которым подвергались цивилизации и национальный характер, никогда не проходили без самого активного участия религии. Так было на протяжении всей истории человечества и, без сомнения, будет во все времена. По крайней мере до тех пор, пока человек, путем медленной эволюции, не превратится в нечто действительно прекрасное и возвышенное, на что потребуются еще миллиарды лет.

Христианская Библия, по существу, представляет собой аптеку. Ассортимент ее снадобий остается неизменным, меняются лишь методы их применения. В течение восемнадцати веков эти изменения были едва заметны. Метод оставался аллопатическим — аллопатическим в его самой грубой и жестокой форме. Тупой и невежественный эскулап день и ночь не покладая рук вливал в своего пациента гигантскими, невероятными дозами самые омерзительные лекарства, какие только можно было разыскать на аптекарском складе. Он пускал ему кровь, ставил банки, давал рвотное и слабительное, вызывал слюнотечение,

никогда не предоставляя пациенту возможности оправиться от болезни и восстановить природные силы. В состоянии такого духовного недуга он держал его восемнадцать веков, и за все это время пациенту не выпало ни одного светлого дня. Что касается запаса медикаментов, то он всегда состоял поровну из губельных или расслабляющих ядов и целебных, успокаивающих лекарств. Впрочем, духовный эскулап, исходя из многолетней практики, прибегал всегда лишь к первым и в результате мог нанести своему пациенту один вред. Что он и делал.

Не так давно, уже в нашем столетии, в методах лечения произошли значительные перемены. Правда, это имело место в основном, или вернее, только в Англии и в Соединенных Штатах. В других странах пациент в наше время либо по-прежнему пользуется средневековыми средствами, либо совсем обходится без врача.

В странах английского языка перемены, наблюдаемые в нашем столетии, были вызваны тем, что пациент взбунтовался против методов лечения; во всяком случае, эскулапом эти перемены предусмотрены не были. Пациент решил лечить себя сам, и эскулап увидел, что количество больных катастрофически падает. Тогда, чтобы не остаться без работы, он решил видоизменить свой метод. Делал он это постепенно, с большой неохотой и лишь в тех случаях, когда обстоятельства вынуждали его. Прежде всего он прекратил ежедневную выдачу ада и вечного проклятия и прописал больному принимать их только через день. Потом он стал применять их все реже и реже. Когда же он ограничился воскресеньями и решил, что на этом можно остановиться, появился гомеопат, заставил его отказаться от ада и вечного проклятия вовсе и ввел вместо них христианскую любовь, утешение, милосердие и сострадание. Уж эти-то всегда имелись в избытке в церковной аптеке, и их золотые этикетки особенно бросались в глаза среди мерзких слабительных, рвотных и ядов, рядом с которыми они красовались на длинных полках. И не фармацевтов надо обвинять в том, что они не применялись, – просто таковы были методы лечения. Для церковного эскулапа, жившего пятьдесят лет назад, все его предшественники на протяжении восемнадцати веков были только знахарями; для современного церковного эскулапа его предшественник, живший пятьдесят лет н а з а д, – такой же знахарь. Чем станет когда-нибудь церковный эскулап в глазах человека, который сам для себя будет духовным врачом? Если только не остановится и не окажется выдумкой эволюция, которая была реальностью еще в те времена, когда Земля, Солнце и все планеты солнечной системы представляли собой лишь летучую дымку метеорной пыли, то совершенно ясно, какая судьба уготована нынешнему церковному эскулапу.

Методы, к которым прибегают церковники, – весьма любопытны, а история их – занимательна. Во все времена римская церковь имела своих рабов, покупала и продавала их, санкци-

онировала работорговлю, поощряла ее. Долгое время спустя после того, как некоторые христианские народы освободили своих рабов, церковь все еще продолжала владеть ими. Но разве можно сомневаться в том, что церковь не могла поступать иначе, — ведь все это делалось ею в соответствии с волей господина, а она была его единственным представителем на земле, полномочным и непогрешимым толкователем его Библии. Существовало Священное писание, которое можно было толковать только так, а не иначе; церковь всегда была права: она лишь поступала так, как предписывала ей Библия. Уверенная в своей правоте, церковь на протяжении многих веков ни разу не возвысила голос против рабства. Сегодня мы наконец слышим, что папа римский объявил работорговлю грехом и даже посылает в Африку специальную экспедицию, чтобы приостановить захват новых рабов. Итак, догматы остались те же, изменилась лишь тактика. Почему? Да потому, что человечество решило подправить Библию. Сама церковь никогда не упускает случая пристроиться в хвост событий и приписать себе чужие заслуги. Именно так она поступает и в данном случае.

Христианская Англия поддерживала и одобряла рабство в течение 250 лет, а ее святые отцы взирали на это, временами принимая в работорговле активное участие, а временами оставаясь в стороне. Можно, конечно, утверждать, что интересы, которые Англия преследовала в этом деле, были христианскими интересами и что вся работорговля носила чисто христианский характер. Больше чем кто-либо, Англия приложила усилий для того, чтобы возродить работорговлю после долгого застоя, и в конце концов продажа рабов стала как бы христианской монополией, иными словами — оказалась в руках только христианских стран. Английские парламенты поддерживали работорговлю и покровительствовали ей. Два английских короля состояли пайщиками компаний по продаже рабов. Первый английский профессиональный охотник за рабами, Джон Хокинс, память о котором чтут до сих пор, произвел во время своей второй экспедиции такие опустошения, так успешно нападал на туземные деревни, предавая их огню, увеча, уничтожая, захватывая и продавая в рабство их безобидных жителей, что восхищенная королева пожаловала ему звание рыцаря — то самое звание, которым когда-то награждали наиболее достойных, совершивших подвиги во славу христианства. Новоевропейский рыцарь с чисто английской откровенностью и грубоватым простодушием начертал на своем гербе коленопреклоненного, закованного в цепи негритянского раба. Деятельность сэра Джона была истинно христианским изобретением, и в течение четверти тысячелетия эта кровавая и страшная монополия оставалась в руках христиан. С ее помощью разрушали жилища, разлучали семьи, порабощая отдельно мужчин и женщин, разбивали бесчисленное число человеческих сердец — и

все это лишь для того, чтобы христианские нации могли процветать и жить в довольстве, чтобы могли строиться христианские церкви, а проповедь кроткого и милосердного Спасителя могла распространиться по всей земле. Хотя прежде этого никто и не подозревал, теперь ясно, что название корабля сэра Джона таило в себе скрытое пророчество. Ведь это судно называлось «Иисус».

Однако настал день, когда один неполноценный английский христианин восстал против рабства. Любопытный факт: когда христианин восстает против укоренившегося зла, это почти всегда христианин неполноценный, принадлежащий к какой-нибудь второстепенной, всеми презираемой секте. Разгорелась ожесточенная борьба, но в конце концов от работорговли пришлось отказаться. Библейские поучения остались, изменилась тактика.

А затем случилась обычная вещь. Посетивший нашу страну англичанин – один из тех, что всегда видят соринку в чужом глазу, – воздел к небу свои набожные ручки, придя в ужас от нашего рабства. Горе его не поддавалось описанию, слова были полны горечи и презрения. Правда, он оплакивал именно наших рабов, которых было менее полутора миллионов, в то время как его Англия по-прежнему имела в своих заморских владениях двенадцать миллионов рабов, но это не умерило его воплей, не остановило его слез, не смягчило сурового осуждения. Тот факт, что каждый раз, когда наши предки пытались избавиться от рабства, именно Англия ставила нам всяческие преграды и разбивала все наши планы, не имел для него никакого значения: ведь все это уже стало достоянием истории и даже не заслуживало упоминания.

Но наконец и мы обратились в другую веру и тоже начали поднимать голос против рабства. Повсюду обнаружили люди с мягким сердцем, в любом уголке страны при желании можно было найти хотя бы мельчайший призрак растущей жалости к рабу. В любом уголке – кроме церкви. Правда, в конце концов не выдержала и церковь. Ведь она всегда так поступала. Сначала вела отчаянную и упорную борьбу, а затем делала то же, что и всегда, – старалась ухватиться за хвост событий. Рабство пало. Писание, оправдывавшее его, осталось, изменилась лишь тактика. Вот и все.

На протяжении многих веков существовали ведьмы. Так, во всяком случае, утверждала Библия. И именно она приказывала уничтожать их. Поэтому церковь, в течение 800 лет исполнявшая свои обязанности лениво и неохотно, эту свою святую миссию принялась осуществлять всерьез – с помощью виселиц, орудий пытки и пылающих костров. За девять веков повседневной усердной работы церковь засадила в тюрьмы, подвергла пыткам, повесила и сожгла целые армии ведьм, дочиста отмыв весь христианский мир их нечистой кровью.

Но неожиданно стало известно, что никаких ведьм нет и

никогда не было. Тут уж не знаешь, смеяться или плакать. Кто же открыл, что ведьм не существует? Может быть, церковники? Нет, эти никогда не делали никаких открытий. В Салеме священник с трогательным упорством продолжал цепляться за Священное писание, призывающее уничтожить ведьм, даже после того, как прихожане, решившись на этот раз забыть о Библии, со слезами на глазах раскаялись в тех преступлениях и жестокостях, которые их заставили совершить. Священнику хотелось еще криво, еще обличений, еще жестокостей, и именно не осененные святостью прихожане – вот кто остановил его руку. В Шотландии священник убил ведьму уже после того, как суд признал ее невиновной. А когда более сострадательные гражданские власти предложили изъять отвратительные статьи, направленные против ведьм, из свода законов, явились попы и просьбами, слезами и проклятиями пытались вынудить их не делать этого.

Ведьм нет. Но Библия, которая признает их существование, остается. Изменилась лишь тактика. Нет никакого адского огня, а Библия все пугает им. Оказался небылицей первородный грех, но Библия продолжает утверждать, что он есть. Более двухсот статей, каравших смертью, исчезло из свода законов, но Библия, породившая их, остается.

Разве не достоин внимания тот факт, что из всего множества библейских изречений, к которым прикасалось уничтожающее перо человека, он ни разу не вычеркнул ни одного доброго и полезного? А если так, значит, можно надеяться, что при дальнейшем развитии просвещения человек в конце концов сумеет придать своей религиозной тактике какое-то подобие благопристойности.

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

Вопрос. Как удалось компании «Стандард ойл» поднять свои прибыли до 60 процентов основного капитала?

Ответ. При помощи высоких ввозных пошлин.

Вопрос. Что нужно сделать, чтобы снизить цены на нефть наполовину и свести прибыли «Стандард ойл» к 10 процентам?

Ответ. Отменить ввозные пошлины.

Вопрос. Кто ввел эти пошлины?

Ответ. Большинство американского народа, отдавшее свои голоса республиканской партии.

Вопрос. Кто поддерживает эти пошлины и обеспечивает «Стандард ойл» шестидесятипроцентные прибыли?

Ответ. Большинство американского народа, отдавшее свои голоса республиканской партии.

Вопрос. По чьей милости мы платим двойную цену за нефть?

Ответ. По милости большинства американского народа, отдавшего свои голоса республиканской партии.

Вопрос. Кто поклялся выбить «Стандард ойл» с захваченных ею позиций?

Ответ. Ее создатель и хранитель – стоящая у власти республиканская партия.

Вопрос. Нельзя ли побороть «Стандард ойл», взыскав с нее штраф в размере полугодичной или даже годичной прибыли?

Ответ. Нет.

Вопрос. Почему?

Ответ. Потому, что тогда «Стандард ойл» поднимет еще выше цены на нефть и взыщет штраф с американского народа. Штрафуя народ, не подорвешь «Стандард ойл».

Вопрос. Народ возмущен. Народ найдет способ побороть «Стандард ойл»?

Ответ. Вы заблуждаетесь. Есть только один верный способ побороть «Стандард ойл». Народ знает, что мог бы с успехом воспользоваться этим способом, но он также знает, что у компании есть близкий друг и могущественный покровитель, который не даст ее в обиду.

Вопрос. Вы имеете в виду правительство и республиканскую партию?

Ответ. Да.

Вопрос. Вы утверждаете, что единственный верный способ борьбы – это отмена ввозных пошлин? Вы действительно уверены, что это снизит цены на нефть наполовину?

Ответ. Я ручаюсь.

Вопрос. Так почему же правительство не заступится за народ и не отменит пошлину?

Ответ. Не задавайте смешных вопросов.

КОММЕНТАРИИ

Обширное наследие Твена-публициста пока собрано и издано далеко не полностью. При жизни писателя его статьи, эссе и памфлеты обычно не включались в отдельные издания произведений Твена, и первые сборники публицистики, являвшейся одной из основных сфер его творческой деятельности, начали появляться лишь в конце 10-х годов («Что такое человек? И другие эссе», 1917; «Европа и другие края», 1923, и т. д.). Литературным секретарем и биографом Твена А. Б. Пейном в 20-е годы было предпринято так называемое «дефинитивное издание» полного собрания сочинений писателя, однако в действительности оно не являлось ни полным, ни дефинитивным, поскольку ряд текстов подвергся существенной редакторской правке, а другие произведения просто не были включены в эти тома. Это показал сборник «Марк Твен за работой» (1942), составленный Б. Девото и впервые познакомивший читателей с целым рядом замечательных произведений Твена-эссеиста.

Многие образцы твеновской сатиры стараниями родственников писателя, а также Пейна, выступавшего в роли его литературного душеприказчика, десятилетиями оставались в архиве либо были опубликованы в урезанном варианте, причем из них устранялись страницы, наиболее резкие в социально-критическом отношении. По сей день о некоторых произведениях Твена, особенно ясно свидетельствующих, насколько последовательно он выступал как непримиримый критик социальных уродств американской жизни, приходится судить лишь по небольшим отрывкам, увидевшим свет в специальных литературоведческих периодических изданиях или сборниках и фактически неизвестным широкому читателю. То же самое относится и к ряду твеновских памфлетов антирелигиозного характера.

Прошло более полувека со дня смерти писателя, прежде чем в США началась более или менее систематическая публикация материалов из его архива. Некоторые из этих публикаций приобрели первостепенное значение для понимания творческого пути Твена. Это книга «Письма с Земли» (1962) — завершенное сатирическое произведение, в

форме серии памфлетов высмеивающее догматику христианства и ту общественную роль, которую играла церковь в эпоху Твена. Это полный текст последней повести Твена «Таинственный незнакомец» (1969), представляющий собой три самостоятельных варианта единого сюжета, в основе которого лежит одна и та же философская коллизия, связанная с пониманием природы и сущности человека (прежде печатался отредактированный Пейном первый вариант, к которому без достаточных на то оснований были добавлены фрагменты рукописи более позднего времени). Это предпринятое в 1959 г. Ч. Найдером переиздание твеновской автобиографии, впервые напечатанной Пейном в 1924 г. (и то и другое издание, впрочем, не являются полными). И наконец, это подготовленные тем же Ч. Найдером два сборника публицистики Твена: «Жизнь, как я ее понимаю» (1961) и «Полное собрание эссе» (1963).

В настоящем издании учтены публикации твеновского наследия, относящиеся к последним двум десятилетиям, и впервые на русском языке печатается ряд эссе, статей и памфлетов, затерянных в американской периодике рубежа XIX–XX веков. Ряд произведений, включенных в сборник, не входил в наиболее полное советское издание Твена – двенадцатитомное собрание сочинений, вышедшее в 1959–1961 гг.

ЭССЕ

ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ МАЛЬЧИКА

Впервые – «Гэлакси», май 1870 г. Включено Твеном в книгу «Скетчи» (1875).

Переехав в 1864 г. из Невады в Сан-Франциско и став репортером местной газеты «Колд», Твен неоднократно сталкивался с примерами расизма и насилия в отношении рабочих-иммигрантов, вербуемых в Китае для строительства Южно-тихоокеанской железной дороги. Редакция «Колд» отказалась поместить статью Твена, в которой был описан судебный произвол над двумя работниками китайской прачечной. Это привело к разрыву отношений между Твеном и крупнейшей калифорнийской газетой. Той же теме посвящен известный сатирический рассказ Твена «Друг Голдсмита снова на чужбине».

Стр. 26. *Аргус* – в античной мифологии стоглазый гигант, стерегущий возлюбленную Зевса Ио, превращенную Герой в корову.

САНДВИЧЕВЫ ОСТРОВА

Впервые – «Нью-Йорк трибьюн», 6 и 9 января 1873 г. На Гавайских (Сандвичевых) островах Твен побывал в 1866 г. и часто использовал впечатления от этой поездки в своих публичных выступлениях, имевших большой успех.

Стр. 29. ... *еще до рождения капитана Кука*. – Гавайские острова были открыты в ходе третьей тихоокеанской экспедиции знаменитого английского мореплавателя Джеймса Кука (1728–1779), предпринятой в 1776–1779 г. Кук погиб в стычке с гавайцами.

Стр. 40. *Давайте присоединим эти острова!* – Твен саркастически прогнозирует реальные события. В 1893 г., инсценировав путч против правителя Гавайев Лилиукалани, США путем интервенции завладели островами, четыре года спустя официально аннексировав архипелаг.

Стр. 41. *Барнеум*, Финеас Тейлор (1810–1891) – известный американский антрепренер, прославившийся красочностью и изобретательностью подготовленных им цирковых программ.

... дадим им судьбу Пратта... — Намек на скандальный судебный процесс в Сан-Франциско, когда за взятку судья вынес оправдательный вердикт по делу об убийстве, которое было доказано многочисленными свидетельствами.

... можем дать им Твида. — См. комментарий к памфлету «Исправленный катехизис».

... наградить их Вудхаллом и сестрами Клафлин. — Сестры Виктория (1838–1927) и Теннесси Селеста (1846–1923) Клафлин были известными пропагандистками спиритизма и вместе с мужем Виктории Каннингем Вудхаллом с 1868 г. выпускали журнал «Вудхалл энд Клафлин уикли», где делились с читателями своими откровениями, вызывавшими неизменные насмешки Твена. Учрежденной ими торговой фирме, которая распространяла брошюры спиритического содержания, а также «эликсир жизни», якобы исцеляющий от всех болезней, покровительствовал мультимиллионер К. Вандербилт.

Трейл, Джордж Фрэнсис (1829–1904) — американский судовладелец, чьи пароходы обслуживали линию Сидней — Бостон с заходом в Гонолулу. В 1872 г. выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, объявив, что представляет интересы независимых.

ПЕЧАТНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Впервые — «Нью-Йорк джорнэл», 18 января 1886 г. Вошло в сборник «Речи», 1910 г. Произнесена на банкете в честь 180-летия со дня рождения Б. Франклина.

Стр. 42. *Того-то я знал хорошо.* — Твен имеет в виду ганнибальского типографа и издателя Эмента, у которого он начинал свою профессиональную деятельность после смерти отца в 1847 г.

«РЫЦАРИ ТРУДА» — НОВАЯ ДИНАСТИЯ

Речь в клубе «В понедельник вечером» (г. Хартфорд), произнесенная 22 марта 1886 г. Впервые опубликована в «Нью-ингленд ревью», сентябрь 1957 г.

«Рыцари труда» — крупнейшее профсоюзное объединение в США тех лет, основано в 1869 г., насчитывало около 725 тысяч членов. Возникнув вскоре после окончания Гражданской войны 1861–1865 гг., организация долгое время оставалась нелегальной, что не мешало ей возглавлять наиболее крупные стачки и другие выступления рабочего класса страны.

Стр. 44. *Дайте власть дагомейскому царьку...* — Формально Дагомея оставалась независимым государством до 1892 г., когда стала французской колонией.

... *невообразимый ад своей Сибири...* — Интерес Твена к политической жизни России был давним и устойчивым; об этом свидетельствуют его встречи и переписка с народниками Н. Чайковским и С. Степняком-Кравчинским, а также отразившиеся впоследствии на страницах романа «Янки при дворе короля Артура» (1889) впечатления от лекций известного публициста Дж. Кеннана (1845–1924), в 1885–1886 гг. предпринявшего поездку по Сибири, где он встречался со многими политическими ссыльными и обследовал состояние царских тюрем.

Константин I Великий (ок. 285–337) — император Рима в 306–337 гг. *Эдуард IV* (1442–1483) — английский король в 1461–1483 гг. *Ричард III* (1452–1485) вступил на английский престол в 1483 г. Все они отличались крайней жестокостью в подавлении недовольства своей

политикой. *Ричард II* (1367–1400) с помощью вероломной уловки подавил крупнейшее в средневековой Англии восстание народных масс, возглавленное Уотом Тайлером.

Стр. 46. *Лоуэлл*, Джеймс Рассел (1819–1891) – американский поэт, публицист-аболиционист; занимал демократические позиции.

Стр. 47. *Те, от чьего имени говорил рабочий-печатник...* – Имеется в виду руководитель филладельфийского союза типографских рабочих Джеймс Уэлш, выступивший в январе 1886 г. в конгрессе как представитель всей организации «Рыцари труда».

У ГРОБНИЦЫ СВЯТОГО ВАГНЕРА

Впервые – «Нью-Йорк сан», 6 декабря 1891 г.

Стр. 53. *Улик* (точнее – Улих), Теодор (1822–1853) – композитор и музыковед, страстный пропагандист искусства Вагнера, который посвятил ему оперу «Лозэнгрин».

Стр. 56. Генерал Улисс *Грант* (1822–1885) – во время Гражданской войны главнокомандующий армии северян, в 1869–1877 гг. был президентом США. Твен приобрел у вдовы Гранта рукопись его воспоминаний и выпустил книгу в организованном им издательстве, однако расходы по изданию этих двух томов не окупились, что послужило одной из основных причин финансового краха, побудившего писателя в 1895 г. предпринять утомительное кругосветное путешествие с публичными выступлениями, гонорар от которых шел в погашение долгов.

Стр. 58. *Материя*, Амалия (1845–1918) – основная исполнительница женских партий в байрейтской труппе; в сезонах 1884 и 1885 гг. выступала на сцене нью-йоркской «Метрополитен-опера». *Альваро*, Джакомо – певец, исполнивший главные партии в ряде опер Вагнера.

Стр. 59. *Маркграфиня Вильгельмина...* – сестра прусского короля Фридриха II, маркграфиня байрейтская Фредерика Софи (1709–1775), чьи «*Мемуары*» считаются одним из памятников просветительской литературы.

МАРИЕНБАД — ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ

Впервые – «Нью-Йорк сан», 7 февраля 1892 г.

ШВЕЙЦАРИЯ — КОЛЫБЕЛЬ СВОБОДЫ

Впервые – «Нью-Йорк сан», 15 марта 1892 г.

Стр. 71. *Рутли* (точнее – Грютли) – местность неподалеку от Невшателя. В 1307 г. Вернер Штауффахер, Арнольд фон Мельшталь и еще 33 представителя кантонов дали здесь клятву освободить родину от владычества Габсбургов. Предания, отразившие борьбу швейцарцев в XIV в. за свою независимость, питают и легенду о Вильгельме *Телле*: должностное лицо австрийцев Геслер принудил знаменитого стрелка Телля стрелой сбить яблоко с головы собственного сына, и Телль, выполнив этот приказ, следующей стрелой убил Геслера, что послужило сигналом к началу народного восстания.

Стр. 72. ... *срубил Вашингтон вишню или нет.* – Предание рассказывает, что первый американский президент Джордж Вашингтон (1732–1799) с детства отличался необыкновенной честностью; срубив однажды вишневое дерево, росшее в саду его родителей, он тут же раскаялся в своем поступке и рассказал о нем отцу.

... в *Муртене, в Грандсоне*... — под Муртенем и у Грандсона в 1476 г. швейцарские войска, участвовавшие в бургундских войнах на стороне короля Людовика XI, разбили армию герцога Карла Смелого.

Стр. 73. *Фридолин* — полудеядарный ирландский святой, живший в VII в.

... «чуда», подобно тому, что свершилось в наши дни в Лурде. — Города Лурд в предгорьях Пиренеев знаменит своими бальнеологическими источниками, что послужило почвой для легенд о исцелениях верой и сделало этот город местом паломничества католиков; о «чудесах», совершаемых в Лурде, писал Золя в своем антиклерикальном романе «Лурд».

Стр. 76. *Коклинг Роско* (1829–1888) — американский юрист и политический деятель.

ЛЮБОПЫТНАЯ СТРАНИЧКА ИСТОРИИ

Впервые — «Харперс мэгэзин», октябрь 1914 г. Вошло в книгу «Что такое человек? И другие эссе» (1917).

Стр. 85. ... *президент Французской республики*, — Сади Карно, убитый в Лионе итальянским анархистом Казерно в 1894 г.

... *свои Равошали, свои Анри и Вайяны*... — Твен упоминает имена политических деятелей Франции и людей, причастных к так называемому «делу Дрейфуса», офицера-артиллериста, обвиненного в 1894 г. в шпионаже. Лидер бланкистов Вайян выступил с разоблачениями провокационного характера «дела Дрейфуса», в котором одну из ключевых ролей сыграл капитан французского генштаба Анри, помогший скрыться истинному немецкому агенту Эстергази и вместе с другим военным чиновником, Равошале, переложивший тяжесть обвинения на Дрейфуса (впоследствии, когда выяснилась истина, Анри покончил с собой или, по другой версии, был отравлен в тюрьме).

ЮБИЛЕЙ КОРОЛЕВЫ ВИКТОРИИ

Впервые — «Нью-Йорк джорнэл», 22–23 июня 1897 г.

Стр. 86. *Недавняя коронация русского царя*. — Твен подразумевает трагедию на Ходынском поле в Москве во время коронации Николая II (1896).

Стр. 87. *Альфред* (ок. 849–900) — король Уэссекский, многое сделавший для объединения англосаксов в единое государство. *Вильгельм I (Завоеватель)* — герцог Нормандии, в 1066 г. после победы при Гастингсе ставший английским королем.

Стр. 91. *Пафр*, Томас — английский долгожитель, умерший в 1635 г., когда ему, по преданию, было 152 года.

... *посредством международного авторского права*. — Бернская конвенция, подписанная в 1886 г. и с тех пор многократно дополнявшаяся и уточнявшаяся, заложила основы авторского права, покончив с практикой «пиратских» изданий, от которых пострадали многие авторы, перепечатываемые в других странах без гонорара и обычно с грубыми искажениями текста.

Стр. 91–92. ... *изобретение Америкой арбитража*... — В действительности арбитраж как способ разрешения межгосударственных споров применялся еще в Древней Греции. На протяжении XIX в. арбитраж несколько раз использовался в конфликтах между Англией и США: для урегулирования территориальных и имущественных споров после войны между двумя странами в 1812 г., для возвращения в США ценностей

и морских судов южной Конфедерации, оказавшихся в Англии после окончания Гражданской войны, для раздела зон морского и пушного промысла в Беринговом проливе и прилегающей акватории, для уточнения морских торговых путей и т. д. Твен имеет в виду так называемое «дело Алабамы»; по окончании Гражданской войны США предъявили Англии претензии за ущерб, причиненный морскими судами (в частности, капером «Алабама»), построенными в Англии для южан-конфедератов.

Стр. 92. ... *впервые в истории применил при операции обезбоживание...* — На самом деле разные формы анестезии известны с древности. Как научная проблема анестезия впервые изучена выдающимся английским химиком и физиком Хамфри Дэви (1778–1829) в конце XVIII в. Врач-дантист Хорейс Уэллс использовал обезбоживание в своей практике с 1844 г. 10 октября 1846 г. У. Т. Г. Мортон провел в Массачусетском госпитале (Бостон) операцию с применением эфира (удаление опухоли из полости рта), на которой присутствовали представители общественности и печати. Мортон и был признан изобретателем анестезии. Термин принадлежит современнику Твена, американскому поэту и врачу Оливеру Уэнделлу Холмсу.

... *право организовывать профессиональные союзы...* — В Англии жесткие юридические ограничения деятельности рабочих объединений были введены с конца XVIII в. под предлогом войны с революционной Францией. Отмена запрета на профсоюзную деятельность была произведена актом парламента в 1824 г. В 1871 г. английским тред-юнионам было предоставлено право так называемого «юридического лица», а в 1875 г. был проведен закон, легализовавший мирное пикетирование.

Стр. 94. *Баварский принц Руперт* (1869–1955), впоследствии командовавший немецкими силами на Западном фронте в годы первой мировой войны; со стороны матери, принцессы Людвиги, происходил от Стюартов и почитался английскими роялистами законным наследником престола.

Стр. 95. *Сесиль Родс* (1853–1902) — один из наиболее последовательных и агрессивных приверженцев колониальной экспансии Англии. Возглавляя крупную компанию по добыче алмазов в Южной Африке, с 1890 г. стал премьер-министром Капской колонии, организовал захват и присоединил к Британской империи земли, названные Родезией. По его указанию в 1895 г. был подготовлен договор в Трансваале с целью провозглашения его «независимости» от буров. Агент Родса Джеймсон со специальным отрядом вторгся в Трансвааль на помощь мятежникам, но был разбит.

Барнато (Айзекс Барнет, 1852–1897) — английский финансист, глава одной из крупнейших горнодобывающих компаний в Южной Африке, с 1888 г. действовал в тесном сотрудничестве с прежним своим конкурентом Родсом. Известен филантропическими начинаниями, представлявшими собою завуалированную форму упрочения колониального гнета.

МОЯ ПЕРВАЯ ЛОЖЬ И КАК Я ИЗ НЕЕ ВЫПУТАЛСЯ

Впервые — «Нью-Йорк уорлд», 10 декабря 1899 г.

Стр. 97. ... *мистер Чемберлен пытается сфабриковать войну в Южной Африке.* — Джозеф Чемберлен (1836–1914), в ту пору английский министр колоний, был одним из вдохновителей второй англо-бурской войны 1899–1902 гг.

Стр. 101. *Брайант*, Уильям Каллен (1794–1878) – американский поэт-романтик; цитируется его стихотворение «Поле битвы».

Карлейль, Томас (1795–1881) – английский историк и философ, один из основных трудов которого посвящен Французской революции 1789 г.

Стр. 102. ... *Мильтон в своей «Песне последнего менестреля»*. – В действительности это знаменитое стихотворение принадлежит Вальтеру Скотту, о чем Твен, не выносивший шотландского писателя, конечно, хорошо знал.

СВЯТАЯ ЖАННА Д'АРК

Впервые – «Харперс мэгэзйн», декабрь 1904 г.

Эссе примыкает к книге Твена «Жизнь Жанны д'Арк», завершённой им в 1896 г. Работая над ней на протяжении ряда лет, Твен изучил материалы двух судебных процессов: руанского, осудившего Жанну на казнь как колдунью, и предпринятого в 1456 г. оправдательного, на котором выступали оставшиеся в живых сподвижники Орлеанской девы. В конце XIX в. клерикализм особенно упорно стремился использовать образ Жанны для пропаганды своих идеологических установок, чему способствовала и канонизация Девы в качестве католической святой. Эти попытки во многом объясняют то внимание, которое оказывает Жанне в те годы мировая литература (помимо Твена, к изображению Жанны обращаются тогда Бернард Шоу и Анатолий Франс, создавшие произведения подчеркнуто антиклерикальной направленности). Для Твена Жанна, о которой он, по собственному свидетельству, случайно прочел чей-то биографический очерк еще подростком в Ганнибале, неизменно оставалась примером высшего духовного благородства.

УБИЙСТВО, ПОТЯСАЩЕЕ ВСЕХ

Впервые – «Что такое человек? И другие эссе», 1917.

Отклик Твена на убийство австрийской императрицы в Женеве 10 сентября 1898 г. представителем одной из анархических итальянских организаций остался неопубликованным при его жизни. Статья переключается с памфлетом «Любопытная страничка истории» и отражает неприятие писателем терроризма и анархизма, чему способствовали многие политические события тогдашней европейской жизни. Живя с 1898 до осени 1900 г. преимущественно в Австрии, Твен активно откликался на внутрисполитические конфликты империи, вступавшей в период своего кризиса и разложения.

Стр. 118. *Подлог храма Артемиды Эфесской*. – Храм Артемиды, построенный приблизительно в VI в. до н. э. и считавшийся одним из чудес света, многократно подвергался разрушениям и был сожжен в 356 г. до н. э.

СЕМИДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Впервые – «Харперс уикли», 23 декабря 1905 г.

Стр. 121. *Хоуэллс*, Уильям Дин (1837–1920) – американский писатель, друг Твена и автор книги воспоминаний о нем.

Стр. 125. *Король Леопольд II* Бельгийский (1835–1909), одновременно являвшийся главой формально самостоятельного государства Конго, был одним из самых жестоких последователей колониализма. См. в наст. сборнике «Монолог короля Леопольда».

БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Впервые — «Харперс базар», ноябрь 1905 г.

СОВЕТ МОЛОДЫМ

Впервые — «Речи», 1923. Датируется приблизительно началом 80-х годов.

Стр. 133. ... *памятник человеку, открывшему анестезию...* — См. Комм. к стр. 92.

ПРЕДСТАВЛЯЯ СОБРАВШИМСЯ ДОКТОРА ВАН-ДАЙКА

Впервые — «Речи», 1910. Датируется 1906 г.

Стр. 135. Гвен перечисляет имена крупнейших ученых и изобретателей: Ричард *Аркрайт* (1732–1792) — английский инженер, изобретатель современной модели ткацкого станка; Джеймс *Уатт* (1736–1819) изобрел паровую машину; Джордж *Стефенсон* (1781–1848) создал первый паровоз; американский инженер Эли *Уитни* (1765–1825) разработал способ перегонки хлопкового масла; Роберт *Фултон* (1765–1815) изобрел пароход; философ и писатель, лидер американского Просвещения Бенджамин *Франклин* (1706–1790) известен и как естествоиспытатель, создавший первый громоотвод; Сэмюэл Финли Бриз *Морзе* (1791–1872) разработал телеграфный код и схему электромагнитного телеграфного аппарата; Элиас *Хой* (1819–1867) — американский инженер, создатель швейной машины; Томас Алва *Эдисон* (1847–1931) своей лампочкой накаливания и первой общественной электростанцией произвел переворот в области использования электричества; Александр *Грехем Белл* (1847–1922) создал телефонный аппарат, один из самых ранних образцов которого был установлен в кабинете Гвена в Хартфорде.

НОВАЯ ПЛАНЕТА

Впервые — «Харперс уикли», 30 января 1909 г.

Стр. 138. Планету Нептун открыли в 1846 г. независимо друг от друга французский ученый Урбен Жак *Леверрье* (1811–1877) и английский астроном Джон Кауч *Адамс* (1819–1892), основывавшийся на вычислениях английской переводчицы Лапласа и ученого-математика *Мэри Сомервилль* (1780–1872). Уильям Генри *Пиккеринг* (1858–1938) — американский ученый-астроном, известный своими работами в области изучения Марса и Луны.

ПАМФЛЕТЫ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОММОДОРУ ВАНДЕРБИЛЬТУ

Впервые — «Паккардз мансли», март 1869 г. Pamфлет направлен против мультимиллионера Корнелиуса Вандербильта (1794–1877), составившего состояние преимущественно на строительстве железных дорог.

Стр. 141. ... *махинацию с акциями «Эри»...* — в 60-е гг. происходила ожесточенная борьба между Вандербилтом и его основными конкурентами Джеймсом Гулдом и Джимом Фиском за контрольный пакет акций железнодорожной компании «Эри-Гудзон».

Стр. 142. *Я помню, как ругали и проклинали вас ... пассажиры, добравшиеся до Панамского перешейка...* — В конце 1867 г. Твен пароходом, принадлежавшим одной из фирм Вандербильта, отправился из Сан-Франциско в Нью-Йорк. По пути из-за антисанитарного состояния судна вспыхнула холера, и несколько пассажиров умерли.

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ГОВЯЖЬЕГО КОНТРАКТА

Впервые — «Гэлакс», май 1870 г.

Стр. 145. Генерал Уильям Текумсе *Шерман* (1820–1891) — герой Гражданской войны, совершивший в 1864 г. рейд по тылам южан, во многом решивший исход кампании.

ЗАГАДОЧНЫЙ ВИЗИТ

Впервые — «Буффало экспресс», 15 марта 1870 г. Вошло в «Речи», 1875 г.

ИСПРАВЛЕННЫЙ КАТЕХИЗИС

Впервые — «Нью-Йорк дейли трибьюн», 27 сентября 1871 г.

В памфлете нашел отражение громкий скандал, связанный с разоблачением верхушки нью-йоркской организации демократической партии (Таммани-холл — ее центр), обличенной в хищении из городского бюджета свыше 200 млн. долларов. Твен пародирует евангельские предания о Христе и двенадцати апостолах. Уильям Марси *Твид* (1823–1878) — глава Таммани-холла и сенатор — в 1873 г. был отдан под суд, когда оказалось более невозможным скрывать темные аферы этого деятеля, чье имя стало нарицательным, как синоним мошенника. «Апостолами» в памфлете выступают следующие лица: мэр Нью-Йорка в 1868–1872 гг. А. О. *Холл*; городской инспектор Нью-Йорка *Коттли*, на суде пытавшийся выгораживать себя и свалить всю вину на Твида; санитарный инспектор нью-йоркского порта Дж. М. *Капхольд*, наживший состояние взятками с иммигрантов; вице-президент и казначей компании «Эри-Гудзон» *Фиск*; президент этой компании *Гулд*; замешанный в скандале с Твидом *Вандербильт*; деятель республиканской партии О. С. *Уайтесс*, уличенный в получении взятки от Твида; тесно связанные с Таммани-холлом строительный подрядчик *Харви* и торговец мебелью и коврами Дж. *Ингерсол*; губернатор штата Нью-Йорк в 1868–1872 гг. Дж. Т. *Хоффман*; член Верховного суда США Дж. *Барнард*, который с 1861 г. находился в полной зависимости от регулярно выплачивавшего ему гонорар за услуги Твида.

Стр. 156. «*Альманах простака Ричарда*» — нравоучительный альманах, издававшийся Б. Франклином с 1732 по 1757 г. и содержавший в себе основные положения, из которых составил идеал «честного предпринимателя» как порождения американской общественной системы; «*Путь паломника*» (1678–1684) — религиозно-аллегорическое сочинение Джона Беньяна (1628–1688), пользующееся огромным авторитетом в странах английского языка.

«*Сорока разбойниками*» называли продажный нью-йоркский муниципалитет.

АМЕРИКАНЦЫ И АНГЛИЧАНЕ

Речь, произнесенная Твеном на банкете по случаю Дня независимости 4 июля 1872 г. Впервые — «Речи», 1875 г.

Стр. 156. ... *путем арбитража*. — См. Комм. к стр. 91–92.

Мотли, Джон Лотроп (1814–1877) – американский историк; Помрой, Сэмюэл Кларк (1816–1891) – сенатор, замешанный в скандале с Твидом.

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ, ЗАПИСАННАЯ СЛОВО В СЛОВО, КАК Я ЕЕ СЛЫШАЛ

Впервые – «Атлантик мансли», ноябрь 1874 г. Вошло в «Речи», 1875 г.

ПОСЛАНИЕ ОРДЕНУ «РЫЦАРЕЙ СВЯТОГО ПАТРИКА»

Впервые – в ежегодном отчете ордена за 1876 г.

Св. Патрик (VI в.), по преданию, изгнал из Ирландии всех змей. Орден «Рыцарей Святого Патрика» – буржуазная филантропическая организация в США, учреждена в 1852 г.

ПЛИМУТСКИЙ КАМЕНЬ И ОТЦЫ-ПИЛИГРИМЫ

Речь на банкете общества «Новая Англия» в Филадельфии 22 декабря 1881 г. Опубликовано в ежегодном отчете общества за 1881 г. Вошло в «Речи», 1910 г.

Стр. 163. *«Мейфлауэр»* («Майский цветок») – корабль, на котором в 1620 г. к заливу Массачусетс, неподалеку от Плимута, прибыла первая группа переселенцев из Англии – сектантов, бежавших от религиозных гонений. 22 декабря отмечается «День праотцев» – праздник, проводимый «Обществом выходцев с «Мейфлауэра»

Стр. 164. *Квакеры* – протестантская секта, отрицающая церковную обрядность. Составляли один из основных потоков первых переселенцев из Англии в колонию Нового Света. В дальнейшем обосновались преимущественно на Среднем Западе США.

Стр. 165. *Уильямс*, Роджер (ок. 1604–1684) – богослов, сформулировавший основные положения баптистского вероучения. Эмигрировал в Новый Свет в 1631 г.

ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА

Впервые – «Норт америкен ревью», ноябрь 1902 г., январь и февраль 1903 г.

Памфлет направлен против Мэри Беккер Эдди, объявившей, что постоянное чтение Евангелия открыло ей конечную истину о мире и единственный способ врачевания как душевных, так и телесных недугов. Это шарлатанское учение, имевшее миллионы последователей, постоянно было предметом насмешек Твена (см., в частности, повесть «Таинственный незнакомец»).

Стр. 180. ... *одно «чудесное» исцеление от паралича...* – Жена Твена Оливия Лэнгдон в возрасте шестнадцати лет получила серьезную травму и два года была прикована к постели.

КИТАЙ И ФИЛИППИНЫ

Впервые – «Нью-Йорк джорнэл», декабрь 1900. Вошло в «Речи», 1910 г.

Один из первых твеновских памфлетов, обличающих империалистическую внешнюю политику США на рубеже XIX–XX вв. Китай в то время был одной из основных арен соперничества империалистических держав, рассматривавших эту страну как богатый источник сырья и

рынок сбыта. В 1899 г. в Северном Китае вспыхнуло восстание, возглавленное тайным обществом Ихэцзюань («Кулак во имя справедливости и согласия») и вошедшее в историю как боксерское восстание. Отряды повстанцев заняли Пекин, после чего началась интервенция вооруженных сил Германии, Японии, США, Англии, Франции, Италии, Австро-Венгрии и царской России. Как повод для вмешательства использовались случаи насилия над европейскими и американскими миссионерами, фактически служившими делу порабощения китайского народа. Восстание было жестоко подавлено к середине 1901 г.

Филиппины вплоть до конца XIX в. были испанской колонией. Нараставшее национально-освободительное движение переросло в вооруженную борьбу против метрополии. США обещали признание независимости Филиппин, подписав с руководителем движения Агinaldo тайный договор. Осенью 1898 г. началась испано-американская война, через три месяца закончившаяся капитуляцией Испании. По мирному договору, подписанному в Париже, Испания уступала Филиппины США за 20 млн. долларов. Поняв вероломство своих мнимых союзников, филиппинцы оказали сопротивление американским колонизаторам, но в результате недолгой и жестокой войны США установили над этой страной свой протекторат, фактически превратив ее в свою колонию.

Реакция Твена на все эти события отражена в памфлетах «Человеку, Ходящему во Тьме», «В защиту генерала Фанстона», «Военная молитва» и других шедеврах его антимпериалистической публицистики.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КУКУРУЗНОЙ ЛЕПЕШКИ

Впервые – сборник «Европа и другие края», 1923 г. Датирован 1900 г.

Стр. 185. ... была ... убеждена, что в серебре – спасение... – Твен подразумевает популистское движение, приобретшее широкий размах в 90-е годы и выражавшее интересы фермерских масс. Популисты настаивали на прогрессивном подоходном налоге и чеканке наряду с золотыми монетами серебряных денег, что было невыгодно финансовым олигархиям. Популистскую программу отстаивал на президентских выборах 1900 г. демократический кандидат Брайан, обещавший в случае избрания обеспечить независимость Филиппин (в дальнейшем Брайан отрекся от своих радикальных взглядов и снискал себе печальную славу мракобеса, выступив в 1923 г. обвинителем на так называемом «обезьяньем процессе», когда судили школьного преподавателя, излагавшего на своих уроках основы дарвинизма). Победил на выборах, однако, республиканец Мак-Кинли, ставленник Рокфеллера и других монополистов.

СОЕДИНЕННЫЕ ЛИНЧУЮЩИЕ ШТАТЫ

Впервые (со значительными сокращениями) – сборник «Европа и другие края», 1923 г. Написано в 1901 г.

Стр. 190. *Хобсон*, Ричард Пирсон – офицер флота США; во время испано-американской войны затопил у входа в гавань Сантьяго на Кубе угольное судно, заблокировав в бухте испанский флот.

ЧЕЛОВЕКУ, ХОДЯЩЕМУ ВО ТЬМЕ

Впервые – «Норт америкен ревью», февраль 1901 г. В том же году памфлет был издан отдельной брошюрой, распространявшейся на

митингах, организуемых общественной организацией «Антиимпериалистическая лига», представлявшей собой умеренно либеральный кружок, куда входили и некоторые крупные американские бизнесмены, например Э. Карнеги. По воспоминаниям Дэна Берда, иллюстратора первого издания «Янки при дворе короля Артура», Твен, которого он встретил вскоре после написания памфлета, сказал ему: «Я читал эту штуку Хоуэллсу, и тот говорит, что я должен ее напечатать... Еще он говорит, что сначала я должен повеситься. Я его спросил, зачем же вешаться, и он поясняет: затем, чтобы избавить публику от лишних хлопот». Памфлет вызвал резкие возражения задетых им миссионеров и церковников, которым Твен адресовал свой «Ответ критикам-миссионерам», помещенный в «Норт америкен ревью» в апреле того же года.

Стр. 195. *Учебник истории Маколема* – мистификация Твена; такого учебника не существует.

Стр. 198. *Чемберлен* – см. Комм. к стр. 97.

... *эта война не просто грабелж...* – Вторая англо-бурская война, целью которой со стороны Англии была аннексия богатых южноафриканских земель.

Стр. 201. *Дьюи*, Джордж (1837–1917) – американский адмирал, командующий флотом США во время испано-американской войны. Нанес сокрушительное поражение испанской эскадре в Манильской бухте.

Стр. 205. *Китченер*, Горацио (1850–1916) – английский военачальник, командовал англо-египетским экспедиционным корпусом, подавившим в 1898 г. народное восстание в Судане. Во время второй англо-бурской войны командовал вооруженными силами англичан.

Макафтур, Артур (1845–1912) – военный губернатор Филиппин по окончании грабительской войны США с этой республикой.

Стр. 206. *Гражданская комиссия*, состоявшая из промышленников и политических деятелей, была направлена на Филиппины после аннексии с целью насадить среди местной буржуазии проамериканские настроения.

Стр. 207. *Крокер*, Ричард – один из руководителей «Таммани-холла» (см. Комментарии к «Исправленному катехизису»), известный своим взяточничеством.

ДЕРВИШ И ДЕРЗКИЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Впервые – сборник «Европа и другие края», 1923 г. Написано в 1901 г.

О ПАТРИОТИЗМЕ

Впервые – сборник «Европа и другие края», 1923 г.

Написано в начале 900-х годов.

Стр. 210. *Мексиканская война* – аннексия Техаса, Калифорнии, Невады и других территорий, осуществленная США в результате захватнической войны с Мексикой в 1846–1848 гг.

В ЗАЩИТУ ГЕНЕРАЛА ФАНСТОНА

Впервые – «Норт америкен ревью», май 1902 г.

Стр. 211. ...*знаменательная дата.* – День рождения Вашингтона.

Стр. 213. ... *целое столетие — без одного года...* — Вашингтон умер в 1799 г., а в 1898 г. произошла испано-американская война.

Стр. 217. ... *протянул руку своему убийце...* — Президент Мак-Кинли был смертельно ранен 6 сентября 1901 г. в Буффало анархистом из подпольной террористической организации и умер неделю спустя.

Стр. 222. *Вейлер*, Валериано (1839–1930) — испанский губернатор Кубы в 1895–1897 гг.

ДОБРОЕ СЛОВО САТАНЫ

Впервые — «Нью-Йорк джорнэл», август 1905 г.

НАЛОГИ И МОРАЛЬ

Впервые — «Нью-Йорк», 22 января 1906 г. Вошло в «Речи», 1910 г.

Стр. 224. *Таскиги* — индустриальный институт для негров (штат Алабама); его возглавлял известный идеолог негритянской буржуазии Букер *Вашингтон* (ок. 1858–1915).

СОЗДАНИЕ ПАРТИИ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Впервые — сборник «Европа и другие края», 1923 г. Написано в 1906 г. Предлагаемый Твеню проект избирательной реформы носит характер утопии, что не мешает писателю трезво и саркастически оценивать реальную систему выборов в США.

МОНОЛОГ ЦАРЯ

Впервые — «Норт америкен ревью», март 1905 г.

Стр. 231. *Тейфелсдрек* — герой пародийного романа Томаса Карлейля (см. Комм. к стр. 101) «Sartor Rezartus» («Перекроенный портной», 1833), профессор немецкого происхождения, автор трактата «Одежда, ее происхождение и значение».

Стр. 233. *Бобриков Н. И.* — с 1898 г. генерал-губернатор Финляндии, постоянно нарушавший финляндскую конституцию; убит в 1904 г. террористом Е. Шаумяном. *Плеве В. К.* — с 1902 г. министр внутренних дел и шеф жандармов; убит в 1904 г. эсером Е. Сазоновым.

Массовый расстрел невинных людей... — События в Петербурге 9 января 1905 г., «кровавое воскресенье»

МОНОЛОГ КОРОЛЯ ЛЕОПОЛЬДА В ЗАЩИТУ ЕГО ВЛАДЫЧЕСТВА В КОНГО

Впервые — отдельно изданной брошюрой, Бостон, 1905 г. Распространялся «Ассоциацией за реформы в Конго». Через два года в Брюсселе выпущен анонимный памфлет «Ответ Марку Твену», содержащий попытки отвести обвинения, предъявленные писателем бельгийскому королю Леопольду II (см. Комм. к стр. 125). Протекторат Леопольда над Конго был утвержден Берлинской международной конференцией по африканским колониальным вопросам в 1885 г. С 1908 г. Конго объявлено бельгийской колонией, которой эта территория фактически являлась и в ту пору, когда носила имя «Свободного государства Конго». Крупнейшие американские компании Рокфеллера и Моргана были тесно связаны с администрацией Леопольда деловыми контактами и экономическими интересами.

Стр. 237. *Морли*, Джон (1838–1923) – английский государственный деятель и публицист; занимал в 1886 г. пост министра по делам Ирландии, а в 1905 г. – министра по делам Индии.

Стр. 241. *Болгарская резня* – жестокие расправы турок над болгарскими повстанцами в ходе старозагорского (1875) и апрельского (1876) народных восстаний, приведших к русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и освобождению Болгарии.

Стр. 248. *Карнеги*, Эндрю (1835–1919) – стальной магнат, миллиардер, примыкал к «Антиимпериалистической лиге», оказывал ей некоторую материальную поддержку.

Стр. 251. *Свилбурн, Эдридж, Гилдер...* – Леопольд искажает фамилии английского поэта Суинберна и американского писателя Томаса Бейли Олдрича, а также называет американского поэта Ричарда Уотсона Гилдера.

Стр. 252. *Морел*, Эдмунд Д. (1873–1924) – создатель «Ассоциации за реформы в Конго» (1904 г.).

ВОЕННАЯ МОЛИТВА

Впервые – сборник «Европа и другие края», 1923 г. Написано в 1905 г.

ПИСЬМО АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ

Впервые – «Харперс мэгэзин», февраль 1946 г. Написано, по одним предположениям, в конце 60-х годов, по другим – в 1887 г.

Стр. 257 *Эндрю Лэнгдон* – родственник жены Твена Оливии Клеменс.

Стр. 260. *Американское Бюро* – бюро христианских заграничных миссий; основано в 1810 г., во времена Твена стало одним из важных каналов колониальной экспансии США.

Ванемейкер, Джон (1838–1922) – американский капиталист, снискавший известность своим ханжеством.

БИБЛЕЙСКИЕ ПОУЧЕНИЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ ТАКТИКА

Впервые – сборник «Европа и другие края», 1923 г. Год написания не установлен.

Стр. 264. *Хокис*, Джон (1532–1595) – английский адмирал; регулярно совершал плавания к берегам Гвинеи, вывозя большие партии рабов, удостоен рыцарского звания.

Стр. 265. ... *неполноценный английский христианин...* – Уильям Уилберфорс (1759–1831), возглавлявший в парламенте борьбу за запрещение работорговли.

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ

Впервые – сборник «Марк Твен – непотухший вулкан» (1940). Год написания неизвестен.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- А**
Агинальдо, Эмилио 203, 204, 214–222
Агинальдо, Бальдомеро 214
Адамс, Джон Кауч 144
Альвари, Джакомо 58
Альфред Великий 87
Анри, Бернар 79
Аркайт, Ричард 135
Астор, Джон Джейкоб 144
Атила 246
- Б**
Бакстер, Ричард 134
Барнард, Джордж 155–156
Барнато (Барнет), Айзекс 95
Барнум, Финеас Тейлор 41
Белл, Александр Грэхем 135
Блейн, Джеймс Гиллеспи 45, 46, 47
Бобриков Н. И. 233
Брайант, Уильям Каллен 101
- В**
Вагнер, Рихард 49–60, 110
Ван-Дайк, Генри 134, 137, 238
Вайян, Эдуар 79
Вандербильт, Корнелиус 140–145, 155
Ванемейкер, Джон 260
Вашингтон, Букер Тальяферро 227
Вашингтон, Джордж 72, 96, 102, 108, 135, 155–156, 162, 203, 206, 211, 212, 213, 214, 219, 221
Вейлер, Валериано 222
- Виктория, королева Великобритании 85–95
Вильгельм I Завоеватель 87
Вильгельмина (Фридерика Софи), маркграфиня Байрейтская 59
Вудхалл, Каннинг 41
- Г**
Галилей, Галилео 47
Гаррис, Роджер 39, 40, 41
Гаррисон, Уильям Ллойд 47
Генрих V, король Англии 87, 88
Геслер, Ульрих 71
Гете, Иоганн Вольфганг 65
Гилдер, Ричард Уотсон 251
Грант, Улисс Симпсон 56, 214
Гулд, Джей 41, 155–156
Гумбольдт, Александр 40
Гутенберг, Иоганн 42
Гюго, Виктор 55
- Д**
Джеймсон, Леандр 95
Джорден, Дэвид Стар 238
Дрейфус, Альфред 97
Дьюн, Джордж 201–202
Дюнуа, герцог Орлеанский 108
- Е**
Елизавета I Тюдор 92
- Ж**
Жанна д'Арк 88, 103–113
- И**
Иван IV (Грозный) 246
Ингерсол, Джеймс 155

Калакауа, Давид 37
Камехахека V, король Гавайев
33, 35, 38–40
Карл Великий 73
Карл I, король Англии 157
Карлейль, Томас 101, 102
Карнохэн, Дж. М. 155–156
Карнеги, Эндрю 248
Киплинг, Джозеф Редьярд 126
Кишера, Жан 103
Клафлин, Виктория 41
Клафлин, Теннесси Селеста 41
Китченер, Горацио 205
Колумб, Христофор 208
Конклинг, Роско 76
Константин, император Рима 44
Конфуций 26
Кошон, епископ Бове 107–109
Кук, Джеймс 29, 38

Леверрье, Урбен Жак 138
Леопольд II, король Бельгии 125,
235–254
Линкольн, Авраам 135, 206, 214
Лонгфелло, Генри Уордсворт 156
Лоуэлл, Джеймс Рассел 46
Луналио, Уильям 34–36
Лэнгдон, Эндрю 257
Людвига, принцесса Баварская
94
Лютер, Мартин 47

Макартур, Артур 205, 215
Мак-Кинли, Уильям 198, 201, 217
Маллиган, Джеймс 46
Марк Аврелий 118
Матерна, Амалия 58
Мильтон, Джон 102
Морел, Эдмунд Д. 252
Морзе, Сэмюэл Финли 135
Морли, Джон 237, 244
Мотли, Джон Лотрон 156

Наполеон I (Наполеон Бонапарт)
105, 110, 200
Николай II 230–235

Олдрич, Томас Бейли 251

Паркер, Гилберт 244
Парр, Томас 91
Пастер, Луи 42
Петр Великий 44

Пиккеринг, Уильям Генри 138
Плеве В. К. 233
Помрой, Сэмюэл Кларк 156

Равошаль, Гастон 79
Рафаэль Санти 110
Ричард II, король Англии 44
Ричард III, король Англии 44
Робертсон, Уильям 134
Родс, Сесиль Джон 95
Рокфеллер, Джон Дэвисон
222–223
Руперт, принц Баварский 94

Сомервилль, Мэри 138
Стефенсон, Джордж 135
Суннберн, Алджернон 251

Тальбот, Джон 105
Тель, Вильгельм 70–72
Торквемада, Томас 246
Трейн, Джордж Фрэнсис 41
Твид, Уильям 41, 155–156

Уайлдмен, Эдвин 214, 218
Уатт, Джеймс 135
Уильямс, Роджер 165
Уитни, Эли 135
Улик (Улих), Теодор 53
Уэллс, Хорейс 92

Фанстон, Фредерик 211–222
Фиск, Джим 30, 155–156
Фиск, Джон 226–227

Франклин, Бенджамин 135, 155,
156
Фридолин 73, 74
Фултон, Роберт 135

Харди, Роберт 80–83
Харви, Эндрю 155
Хобсон, Ричмонд Пирсон 190
Хоккинс, Джон 264–265
Холл, Абрам Оуки 155–156
Хоу, Элиас 135
Хоуэллс, Уильям Дин 121
Хоффман, Джон Томсон 155

Цезарь, Гай Юлий 120

Чемберлен, Джозеф 97, 198, 201,
202
Чезарио (Казерио) В. 79

Черчилль, Уинстон Леонард
Спенсер 181
Чингисхан 246
Чоуэт, Уильям 123, 124

Шекспир, Уильям 103, 110, 184
Шенк, Роберт 157–158

Шерман, Уильям Текумсе
145–147
Штауффахер, Вернер 72

Эббот, Лаймен 238
Эдисон, Томас Алва 110, 135
Эдуард IV, король Англии 44

СОДЕРЖАНИЕ

А. Зверев. Атакующий смех	5
---------------------------------	---

ЭССЕ

Возмутительное преследование мальчика. <i>Пер. М. Абжиной</i>	25
Сандвичевы острова. <i>Пер. А. Дурново</i>	28
Печатных дел мастер. <i>Пер. Н. Ромм</i>	42
«Рыцари труда» – новая династия. <i>Пер. М. Лорие и А. Старцева</i> ...	43
У гробницы святого Вагнера. <i>Пер. А. Дурново</i>	49
Мариенбад – фабрика здоровья. <i>Пер. А. Дурново</i>	60
Швейцария – колыбель свободы. <i>Пер. А. Дурново</i>	70
Любопытная страничка истории. <i>Пер. И. Бернштейн</i>	79
Юбилей королевы Виктории. <i>Пер. А. Дурново</i>	85
Моя первая ложь и как я из нее выпутался. <i>Пер. А. Барановой</i>	96
Святая Жанна д'Арк. <i>Пер. А. Дурново</i>	103
Убийство, потрясшее всех. <i>Пер. М. Загота</i>	113
Семидесятый день рождения. <i>Пер. М. Загота</i>	121
Безвыходное положение. <i>Пер. И. Бернштейн</i>	126
Совет молодым. <i>Пер. М. Загота</i>	131
Представляя собравшимся доктора Ван-Дайка. <i>Пер. В. Лимаповской</i>	134
Новая планета. <i>Пер. А. Дурново</i>	138

ПАМФЛЕТЫ

Открытое письмо коммодору Вандербильту. <i>Пер. М. Абжиной</i>	140
Подлинная история великого говяжьего контракта. <i>Пер. А. Старцева</i>	145
Загадочный визит. <i>Пер. Н. Бать</i>	151
Исправленный катехизис. <i>Пер. А. Старцева</i>	154
Американцы и англичане. <i>Пер. В. Лимаповской</i>	156

Правдивая история, записанная слово в слово, как я ее слышал. <i>Пер. Н. Чужовского</i>	158
Послание ордену «Рыцарей святого Патрика». <i>Пер. В. Лимановской</i>	161
Плимутский камень и отцы-паллигрымы. <i>Пер. В. Лимановской</i>	162
Христианская наука. <i>Пер. Т. Русской</i>	166
Китай и Филиппины. <i>Пер. Б. Носика</i>	181
С точки зрения кукурузной лепешки. <i>Пер. А. Ильф</i>	182
Соединенные Линчующие Штаты. <i>Пер. Т. Кудрявцевой</i>	186
Человеку Ходящему во Тьме. <i>Пер. В. Лимановской</i>	193
Дервиш и дерзкий незнакомец. <i>Пер. В. Лимановской</i>	207
О патриотизме. <i>Пер. Е. Элькинд</i>	209
В защиту генерала Фанстона. <i>Пер. В. Лимановской</i>	211
Доброе слово Сатаны. <i>Пер. В. Лимановской</i>	222
Налоги и мораль. <i>Пер. М. Загота</i>	224
Создание Партии Решающего Голоса. <i>Пер. М. Загота</i>	227
Монолог царя. <i>Пер. В. Лимановской</i>	230
Монолог короля Леопольда в защиту его владычества в Конго. <i>Пер. В. Лимановской</i>	235
Военная молитва. <i>Пер. Т. Кудрявцевой</i>	255
Письмо ангела-хранителя. <i>Пер. А. Старцева</i>	257
Библейские поучения и религиозная тактика. <i>Пер. Э. Боровика</i>	262
Обучение грамоте. <i>Пер. А. Старцева</i>	266
Комментарии	268
Именной указатель	282

ЗАРУБЕЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПУБЛИЦИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

ВЫШЛИ В СВЕТ:

- А. Р. Вильямс (США)**
- А. Моруа (Франция)**
- Я. Гашек (Чехословакия)**
- Э. Хемингуэй (США)**
- Ж. Р. Блок (Франция)**
- Ф. С. Фицджеральд (США)**
- Т. Кайко (Япония)**
- Г. К. Честертон (Англия)**
- М. Иванов (Чехословакия)**
- А. Карпентьер (Куба)**

ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ:

- Ч. П. Сноу (Англия)**
- Ф. Мориак (Франция)**
- Э. Э. Киш (Австрия)**

Марк Твен
ДАРЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Составитель
Зверев Алексей Матвеевич

ИБ № 14714

Редактор *А. Н. Панкова*

Художник *В. И. Левинсон*

Художественный редактор *В. А. Пузанков*

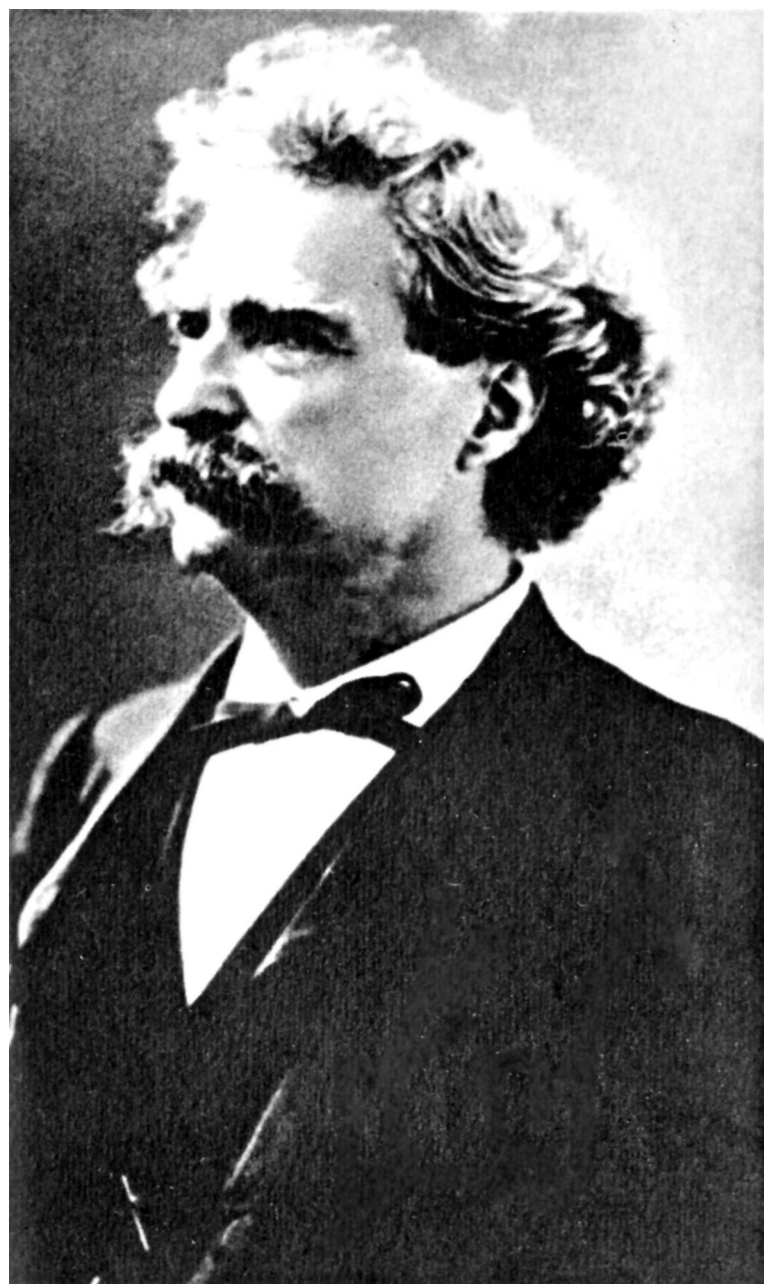
Технический редактор *Л. Ф. Шкелевич*

Корректор *Н. И. Шарганова*

Сдано в набор 08.09.84. Подписано в печать 11.04.85. Формат 84x 108/32. Бумага № 1. Гарнитура баскервиль. Печать высокая. Услови. печ. л. 15,12 + 0,42 печ. л. вклеск. Усл. кр.-отт. 15,85. Уч.-изд. л. 18,55. Тираж 50 000 экз. Заказ № 3746. Цена 85 к. Изд. № 39734

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 119847, ГСП, Москва, Г-21, Zubovskiy bulvar, 17.

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова» Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28.





Дом, где родился Марк Твен. Флорида.



Порт Гонолулу.



На «Скачущей лягушке» к славе.





MALE LOBBYIST \$3,000.



HIGH MORAL SENATOR \$3,000.



CHAIRMAN OF COMMITTEE, \$10,000.



FEMALE LOBBYIST \$3,000.

Карикатуры из прижизненных изданий Твена.

К эссе «Открытое письмо коммодору Вандерbiltу» (первый справа).

К эссе «Юбилей королевы Виктории».

К роману «Позолоченный век». Под портретами сенаторов и членов конгресса проставлены цены.

«Беспристрастные судьи» (карикатура времен Твена).





Расстрел демонстрантов в Чикаго,
4 мая 1886 г.



«Работорговец».
(Портрет Дж. Гулда из
книги «Янки при дворе
короля Артура».)



Твен, преследуемый буржуазной прессой (шарж относится ко времени публикации памфлетов).



Твен в 1905 г.

Марк ТВЕН

Правда необычнее вымысла — для некоторых. Но мне она ближе.

Можно, наверное, доказать цифрами и фактами, что нет более типично американской категории преступников, чем члены конгресса.

Милостью божьей в нашей стране есть такие неоценимые блага, как свобода слова, свобода совести и благоразумие никогда этими благами не пользоваться.

Наше самое ценное достояние — братство всех людей; вернее — то, что от него осталось.

Марк Твен. Календарь Простофили Вильсона. Новый календарь Простофили Вильсона.